

Цена свободная

Индекс 70250

«ДН» — 2016

Романы, повести:

Мария АНУФРИЕВА. Существо. Роман

Заир АСИМ. Книга дней. Повесть

Валерий БОЧКОВ. Коронация зверя. Роман

Хамид ИСМАЙЛОВ. Пляска бесов, или Большая игра. Роман

Марина МОСКВИНА. КРИО. Роман. Книга вторая

Юрий СЕРЕБРЯНСКИЙ. Новая повесть

Дмитрий СТАХОВ. Свет ночи. Роман

Арсен ТИТОВ. Период. Повесть

Сергей УТКИН. История болезни. Повесть в рассказах

Илья ФАЛИКОВ. Марина Цветаева: «Твоя неласковая ласточка». Проза.doc

Левон ХЕЧОЯН. Чёрная книга, тяжёлый жук. Роман. С армянского

Виктория ЧЕМБАРЦЕВА. Письма с Ковчега. Повесть об Армении

Архив:

Лев АННИНСКИЙ — Игорь ДЕДКОВ. Из переписки 1973–1987 гг.

Александр ГЛАДКОВ. Из дневников и переписки с Надеждой МАНДЕЛЬШТАМ

Новые сочинения: Валерия БЫЛИНСКОГО, Дмитрия ВЕРЕЩАГИНА, Андрея ВОЛОСА, Эльчина ГУСЕЙНБЕЙЛИ, Елены ДОЛГОПЯТ, Натальи КЛЮЧАРЁВОЙ, Алексея КОЛОБРОДОВА, Ильи КОЧЕРГИНА, Фарида НАГИМА, Владимира НЕКЛЯЕВА, Дмитрия НОВИКОВА, Светланы ПЕТРОВОЙ, Мариам ПЕТРОСЯН, Сергея РЯЗАНЦЕВА, Романа СЕНЧИНА, Александра СНЕГИРЁВА, Владимира ТОРЧИЛИНА, Александра ХУРГИНА, Дмитрия ШЕВАРОВА, Евгения ШКЛОВСКОГО

Новые имена: участники Форума в Липках, Волошинского фестиваля, фестиваля «Литературный ковчег» и наши собственные открытия

Новые стихи и переводы: Шамшада АБДУЛЛАЕВА, Сухбата АФЛАТУНИ, Ефима БЕРШИНА, Германа ВЛАСОВА, Андрея ГРИЦМАНА, Алексея ИВАНТЕРА, Игоря ИРТЕНЬЕВА, Александра КАБАНОВА, Инны КАБЫШ, Бахыта КЕНЖЕЕВА, Григория КРУЖКОВА, Марины КУДИМОВОЙ, Инги КУЗНЕЦОВОЙ, Виктора КУЛЛЭ, Станислава ЛИВИНСКОГО, Ларисы МИЛЛЕР, Олеси НИКОЛАЕВОЙ, Александра ОРЛОВА, Натальи ПОЛЯКОВОЙ, Геннадия РУСАКОВА, Юрия РЯШЕНЦЕВА, Анны САЕД-ШАХ, Владимира САЛИМОНА, Олега ХЛЕБНИКОВА, Вячеслава ШАПОВАЛОВА, Санджара ЯНЫШЕВА и других авторов

Следите за новыми рубриками:

«ДРУЖБА НА ВЫРОСТ» (писатели — детям)

«БИБЛИОНАВТИКА» Ольги БАЛЛА

«ЛИТЕРАТУРНЫЙ БАРОМЕТР» Евгения АБДУЛЛАЕВА

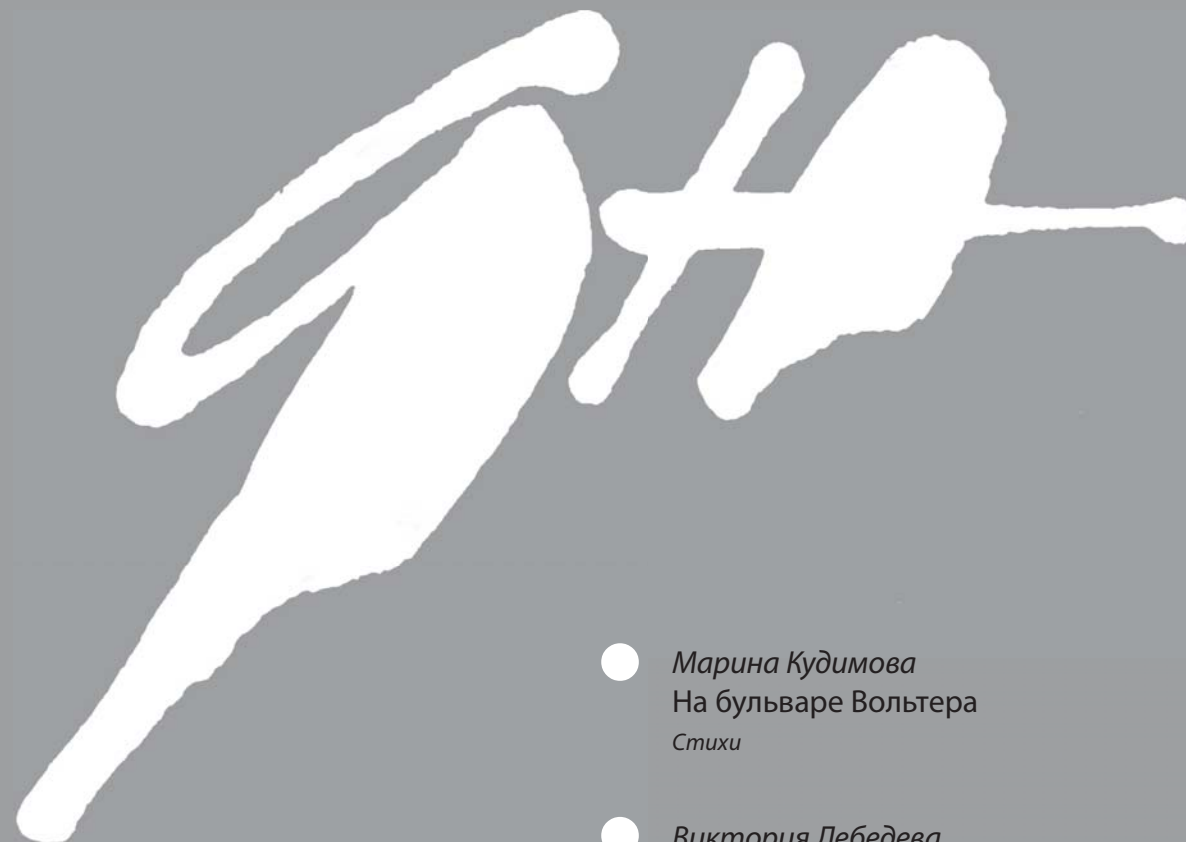
ISSN 0012-6756. Дружба народов, 2016, № 4, 1—256



ДРУЖБА НАРОДОВ

ISSN 0012-6756

ДРУЖБА НАРОДОВ 4/2016



4 '2016

- **Марина Кудимова**
На бульваре Вольтера
Стихи
- **Виктория Лебедева**
Без труб и барабанов
Роман
- **Игорь Шкляревский**
Как учитель сочинял стихи
- **Елена Долгопят**
Земля и небо
Рассказы
- **Евгений Абдуллаев**
Требуется «негр»
Литературный барометр

**Независимый
литературно-
художественный
и общественно-
политический
журнал**

**Основан
в марте 1939 года**

Адрес редакции:
117218, Москва,
ул. Кржижановского, дом 13 стр. 2,
журнал «Дружба народов».
Телефон (многоканальный):
8-499-519-02-12.

**E-mail: dn52@mail.ru,
http://magazines.russ.ru/
druzha/
LIVEJOURNAL: http://druzba-
narodov.livejournal.com/**

Юридическая поддержка:
Congress Consulting.
Свидетельство о регистрации
№ 73 от 14.09.1990 г.
в Министерстве печати
и массовой информации РСФСР.
Свидетельство о регистрации
товарного знака № 288681.
Зарегистрировано в
Государственном реестре
товарных знаков и знаков
обслуживания РФ
12 мая 2005 г.



Отпечатано в ОАО «Можайский
полиграфический комбинат»,
143200, г. Можайск, ул. Мира, 93;
www.oaomprk.pf тел.: (495)745-84-28;
(49638)20-685

**Редакция не имеет возможности
рецензировать и возвращать
рукописи.**

**Во всех случаях полиграфического
брака в экземплярах журнала
обращаться в типографию, указанную
в выходных сведениях.**

**При перепечатке наших материалов
ссылка на журнал «Дружба народов»
обязательна.**

Сдано в набор 20.02.2016.
Подписано в печать 25.03.2016.
Формат бумаги 70 x 108 ¹/₁₆
Печать офсетная.
Усл.-печ. л. 22,4. Усл. кр.-отт. 23,1.
Уч.-изд. л. 21. Тираж 2000 экз.
Заказ 2685. Цена свободная.

Дружба народов 4'2016

Редакционная коллегия

Главный редактор Александр
ЭБАНОИДЗЕ

Лев
АННИНСКИЙ

Леонид
БАХНОВ

Ирина
ДОРОНИНА

Зам. главного редактора Наталья
ИГРУНОВА

Галина
КЛИМОВА

Владимир
МЕДВЕДЕВ

Ответственный секретарь Сергей
НАДЕЕВ

Зам. главного редактора Александр
СНЕГИРЕВ

Редакционный совет

Рамазан
АБДУЛАТИПОВ

Сухбат
АФЛАТУНИ

Муса
АХМАДОВ

Ольга
БАЛЛА

Алла
ГЕРБЕР

Денис
ГУЦКО

Иван
ДЗЮБА

Александр
КЛЯЧИН

Валентин
КУРБАТОВ

Ольга
ЛЕБЕДУШКИНА

Захар
ПРИЛЕПИН

Кнут
СКУЕНИЕКС

Сергей
ФИЛАТОВ

Ренат
ХАРИС

Вячеслав
ШАПОВАЛОВ

ЭЛЬЧИН

Леонид
ЮЗЕФОВИЧ

СОДЕРЖАНИЕ

Проза и поэзия

Марина КУДИМОВА. На бульваре Вольтера. Стихи	3
Виктория ЛЕБЕДЕВА. Без труб и барабанов. Роман	7
Александр КЛИМОВ-ЮЖИН. В середине земли. Стихи	61
Елена ДОЛГОПЯТ. Земля и небо. Рассказы	65
Владимир ПУЧКОВ. Небесная пропасть ума. Стихи	81
Ольга БРЕЙНИНГЕР. В Советском Союзе не было аддерола. Роман	84
Ольга СУЛЬЧИНСКАЯ. Мы вместе едем в скором времени. Стихи	154
Евгений АЛЁХИН. Восхождение. Повесть	157

Публицистика

ЛАБОРАТОРНЫЕ ОПЫТЫ

Александр ЗАГРИБЕЛЬНЫЙ. Дон Кихот и чёрная дыра	173
---	-----

Вадим ЖИЖИН. «В заветном исчезающем молчанье...»

История души и судьба страны в письмах детского врача	189
---	-----

Нация и мир

Алексей ЛИСАЧЕНКО. Немного Кубы минувшей весной. Путевые заметки	202
--	-----

Жизнь в слове

Игорь ШКЛЯРЕВСКИЙ. Как учитель сочинял стихи	233
--	-----

Литературный барометр

Евгений АБДУЛЛАЕВ. Требуется «негр»	235
---	-----

Книжный развал

Александр КОТЮСОВ. Тринадцать писем читателям	238
Даниил ЧКОНΙΑ. Стихотворенье без слов	241
Мария БУШУЕВА. Счастливое совпадение	245
Екатерина РАТНИКОВА. Поэзия паломничества	247
Вадим ДЬЯКОВЕЦКИЙ. Не стоит земля без праведника... ..	249

Дружба на вырост

«Перелистываю журнал, всё нравится...» Из почты «ДН»	251
--	-----

Эхо

Джохар Дудаев: трагедия в трех актах. Рубрику ведет Лев АННИНСКИЙ	252
---	-----

Summary	256
---------------	-----

Марина Кудимова

На бульваре Вольтера

* * *

Сколько чудес в закромах Твоих, Боженька!
Видела ужака. Видела ёжика.

Видела белку с йодистой шкуркой,
Видела дядьку с породистой курткой.

Прошрое видела с тёмною страстью,
С тягою к счастью.

Коротко зналась с любовной разрухой,
С мёртвой разлукой.

Слов не хватило, жалость осталась —
Поиздержалась, проназывалась.

Малая малость скудного суржика:
Видела ёжика, видела ужака.

Больничная симфония

О чём по ночам трубы твои трубят, о, больница?
Водопровод канализации вторит и ею чреват.
Как спится тебе, как пол твой мокрый лоснится,
Как стены твои закрашены, и кто вообще виноват?

Кисель в границах Испании размазался по халату,
Дух сконфужен, как Цезарь, которого предал Брут.
А пациентка в деменции ищет то ли палату,
То ли иную пристань, где родичи не орут.

Кудимова Марина Владимировна — поэт, прозаик, переводчик, публицист, литературовед. Родилась в Тамбове, там же в 1973 году окончила пединститут. Печатается с 1969 года. Автор нескольких книг стихов, в том числе «Черёд» и «Целый Божий день» (обе — 2011), «Голубятня» (2013), «Душа-левша» (2014). Переводит поэтов Грузии и народов России. Лауреат премий им. Маяковского, Дельвига, «Венец» и др. Живет в Переделкино.

Ищет она, обмишуливается, и начинает казаться ей,
Будто симфония рушится, будто уже вот-вот
От виолончельного вентиля, от скерцо канализации,
Как менуэт, оторвётся безумный водопровод.

На выручку практиканточка из базового медучилища
Придёт, лягушачью кожу кровавой ваткой скребя.
Поскольку у большинства из нас нет и не будет чистилища,
Пусть и эту оказию она возьмёт на себя.

Мышцы кардиологии, травмы травматологии...
Если колоть наскучит, можно и расчленить.
Вмиг забудет больница про ягодицы пологие,
Вдевая в иглу одноразовую судеб наших полинить.

И мы вместе с ней запамтуем и самое сокровенное,
И номер своей палаты, и кой теперь будет год...
О, больница клиническая, подкожная, внутривенная!
Скоро подъём и завтрак, а там, глядишь, и обход.

* * *

То ли рылом не вышли, то ль нос не дорос
До высокого духа...
«Мы несчётливы», — пробормотала впроброс
На дороге старуха.

Не у ней ли война забрала мужика,
Сына сверзила водка?
Подсчитает, возможно, потом, а пока
Смотрит ясно и кротко.

«Мы несчастливы», — это бы всякий признал,
Если б сразу налили:
Пылкий оригинал, шепотной маргинал,
Отпрыск звонких фамилий.

Но когда говорит обречённый молчать
По неписаной роли,
С мироздания слетает седьмая печать,
Как сургуч с бандероли.

Вопросит ли Господь, намекнёт ли Аллах
На удел наш дурацкий,
«Мы несчётливы», — скажет сирийский феллах
И кебабщик иракский.

Тянет специей Мекки и прелым сенцом
Вифлеемского хлеба.
Не поморщившись, примем открытым лицом
Капли Божия гнева.

Соединены тонким таким волоском
И надеждой за гробом,
Если даже отличны добытым куском
Да худым гардеробом,

До безличия смертно похожи в крови,
В наготе и разрухе
Выражением той же дремучей любви,
Что у русской старухи.

«Мы несчётливы», — пишет в последней графе
Вся инкогнита терра...
Посидим подшофе в обречённом кафе
На бульваре Вольтера.

Парихны

Разбираю бытийное лего,
Разгребаю пласты до корней.
Я любила дождливое лето,
Но тебя я любила сильнеей.

Были праведны и незаконны
Воспалённые ночи и дни.
Как чешуйки лепидодендрона,
Под рукой каменеют они.

Соскребаю ошмётки с поддона,
Штемпель с почты и пулю с виска.

Я любила других обыдённо,
А тебя — от звонка до звонка.

Но в назойливом поиске рифмы
Лезет в голову всякая дрянь.
Я нащупала слово «парихны» —
Это воздухоносная ткань.

И в свирельный её промежуток
Проникает накопленный звук,
И не так совершенен и жуток
На две трети очерченный круг.

* * *

Он душу младую в объятиях нёс...
М.Лермонтов

Штурман знает направление ветра,
Но и смертник знает ремесло...
Девочку одну на километры
От черты разброса отнесло.

Повседневно, буднично и скучно
Средь пустыни рухнул самолёт.
Ключья пассажиров пали кучно —
Девочка продолжила полёт.

Прослезились даже камни вади —
Пересохших русел древних рек...
Девочка, скажи мне, Бога ради,
Почему так хладен человек?

Вот и я пень пнём стою средь мира
На неразличаемом пути...
И, пускай ты дочь не Иaira,
Не снижайся, девочка, лети!

Может, где-то там, южнее Газы,
В море впал Египетский поток,
Чтобы стали мы нежнее глаза
И нужней, чем воздуха глоток.

Чтобы вспоминала обыдень я,
Как в своё небесное жильё
Девочка летит в сопровожденье
Ангела-хранителя её.

Прощание с Питером

Что бы ты выбрал — «Сапсан» или Твиттер,
Если бы выбор имел?
Как ни противься, но выпадет Питер
В калейдоскопе химер.

Вытяни номер счастливый — и велкам
В этот кладбищенский тур.
Мельком по Лавре и Волкову, мельком
Кариатид педикюр.

Мост ли Литейный водою летейской
Моет пролёт разводной
Иль зубочисткою адмиралтейской
Зуб расковырян больной,
Как ни вернёшься, души нарастанье
Мает и тает вовне,
Как ни уедешь, всё площадь Восстанья
Видишь в разымчивом сне.

Виктория Лебедева

Без труб и барабанов

Роман

Начинающий писатель не может придумать название для романа и приходит к опытному за советом.

— В романе трубы есть? — спрашивает опытный писатель.

— Нет.

— А барабаны?

— Тоже нет.

— Чего проще. Назови «Без труб и барабанов».

Бородатый литературный анекдот

Часть 1

Немного мела и чернил

Телефон звонил и звонил. Звук был тихий, почти невесомый. Он ввинтился в сон и стал разрушать его изнутри, заражая тревогой и неудобом. Рука затекла, болели суставы. И опять напала невралгия, будь неладна, так что не повернуть головы. «Старость не радость», — подумала Ольга. Подумала весело, без отчаяния. Не разлепляя глаз, нащарила на тумбочке мобильник. Наощупь нажала кнопку, поднесла к уху и только сейчас поняла, что звонок идет с первого этажа. Звук оборвался.

В окна проливалось яркое весеннее солнце, подсвечивая листья бегонии на подоконнике. Ольга опять зажмурилась и попыталась лечь поудобнее — так, чтобы не беспокоить больную шею. Не тут-то было. Где-то внизу зазвонило с новой силой.

— Мартин! — громко позвала Ольга. — Мартин!

Виктория Лебедева — прозаик, литературный редактор. Родилась в поселке Купавна Московской области. Окончила Московский институт радиотехники, электроники и автоматики и Литературный институт им. А.М.Горького. Лауреат премии Союза писателей Москвы «Венец» (2003), дипломант премии «Рукопись года» в номинации «сюжет» (2012). В 2014 году сборник «В ролях» вошел в лонг-лист премии «Ясная Поляна». Автор книг «В ролях», «Девайсы и гаджеты» и др. Живет в Москве.

Журнальный вариант.

Никто не ответил.

Ольга накинула халат. Сунула ноги в тапочки. Телефон внизу снова замолчал, но ложиться уже не было смысла. Надо было разогнуться — вот так, потихонечку, помассировать спину непослушными руками, немножко расправить плечи и попытаться повернуть голову. Ольга сделала несколько наклонов вперед и вбок. Между лопатками ощутимо хрустнуло, и боль в шее отпустила. Так-то лучше!

Снизу снова послышался назойливый звук. Ну что ты будешь делать!

На городской телефон никто не звонил уже лет сто. И помимо воли Ольга начала беспокоиться. От свербящего звука дом казался пустым и гулким. Даже кошки запропастились куда-то. И где, интересно, Мартин?

Одиночество накатило, еще более жестокое от теплого солнца, бьющего в окна, от молчаливого порядка, в котором находились все предметы в доме. Телефон звонил и звонил, и чем ближе подходила Ольга, тем надсаднее был звук, как будто звенело внутри головы, а не снаружи.

— Мартин! — позвала она, заглядывая в спальню мужа.

Кровать была аккуратно заправлена. На тумбочке двумя ровными стопками лежали журналы — отдельно автомобильные, отдельно научные. Между ними помещался кожаный очешник — и можно было не сомневаться, что очки находятся именно внутри, а не валяются где-нибудь в доме.

Ольга прикрыла дверь и стала медленно спускаться, вцепившись в перила, — лестница была крутовата. Раньше она не замечала этого и легко порхала вверх-вниз, а теперь вот хватается что есть силы, словно находится не дома, а на корабельном трапе в открытом море. Ольга не помнила, когда это началось. Года полтора назад, может быть, два. В первый раз списала на давление, на усталость, потом привыкла. Стала даже шутить, командуя неловким ногам: «Левой-правой, левой-правой!» — Мартин никогда не одобрял этих шуточек. Но сейчас она просто шла вниз, и оттого, что торопилась на звук, еще острее ощущала, как медленно движется.

Ей было не по себе. Поэтому, добравшись до места, трубку подняла не сразу, а некоторое время примерялась, будто решала, как ловчее взять, чтобы разом утихомирить, не выпустить из дрожащих рук.

Голос она узнала сразу. Хотя слышала его в последний раз... когда?.. Таня звонила ей, дай Бог памяти... К чему обманывать себя, Таня никогда не звонила. И не писала. Ни единого разочка за прошедшие сорок лет. И даже когда умер папа, Ольга узнала об этом случайно — и так поздно, что не успела на сороковины.

— Могу я услышать Ольгу Александровну? — строго спросила трубка.

И помимо воли вместо «здравствуй» Ольга пролепетала испуганно:

— Танечка, что случилось?

Глава 1

Тане выбрали имя без всякого литературного умысла. И спустя три года, решившись на второго, ждали, конечно, мальчика. Но родилась девочка. В досаде ли, или просто было у папы такое чувство юмора, он предложил назвать младшую Ольгой, чтобы вышло в честь знаменитых пушкинских сестер. Жене

мысль неожиданно понравилась. Ей казалось, это выйдет интеллигентно и оригинально. И младшую назвали действительно Олей.

С тех пор родители неосознанно искали в дочерях соответствия литературным образам. Танечка была темненькая, а Оленька — светлая шатенка. И это было правильно. Танечка не очень любила подвижные игры, а Оля вечно носилась как угорелая. И это было правильно. Танечка часто плакала, а Оля была хохотушка. И это было тоже правильно. Но чем старше становились сестры, тем меньше оставалось навязанного книжного сходства. Таня уже годам к двенадцати обещала вырасти в замечательную красавицу. Она была куда ярче и привлекательнее Оли — выше и стройнее, и кожа ее была светлей, и волос гуще, и голос звонче, и четче капризный изгиб верхней губы. А хохотушка Оля, чем вырасти недалеко и ветреной, с первого класса проявила усидчивость и интерес к учебе.

Впрочем, учились обе на «отлично». Таня, что называется, корпела. Тетрадки ее возили в районо как образец прилежания, выставляли на школьном стенде напротив раздевалки. Тетрадки и правда впечатляли. Четкие и крупные округлые буквы крепко держались друг за дружку, все с одинаковым наклоном — и не то чтобы кляксы, помарочки в них не было (а случись такая беда, Таня готова была вырвать страницу, даже переписать всю тетрадь). Оля училась легко и весело, как будто играла. Математика вечно была исчеркана как попало, и по многочисленным исправлениям легко было проследить, откуда и куда идет мысль; торопливые буквы немножко приплясывали, а почерк менялся, как у соседа по парте. Но учителя ей прощали. Потому что у Оли была «золотая голова». И не только в математике. Математика что? То ли дело литература и немецкий! А ботаника? А рисование?!

Обе сестры были яростными общественницами.

Таню непременно выбирали председателем совета отряда, а когда она вступила в комсомол, быстро дослужилась до комсорга школы. Таня верила, что жить надо правильно. Как герои-молодогвардейцы. Как Гагарин. Как Ленин, когда он был маленьким. И если каждый — каждый! — станет правильно жить, тогда и наступит всеобщее счастье. Оля о всеобщем счастье, конечно, тоже думала (а кто тогда не думал?), но не так масштабно. И общественная работа была для нее такой же игрой, как все остальное. Потому была не председатель и не командир, а бессменная редколлегия, рисующая плакаты и сочиняющая стихи к праздникам.

Так и жили. Между собой не ссорились. С родителями ладили. Обыкновенная советская счастливая семья. Папа служил мастером на заводе «Красный путь», мама там же работала в поликлинике, бабушка заведовала заводской библиотекой. Собственно, на «Красном пути» трудился весь Военград. И школа, где учились девочки, была как бы при заводе, и детский сад, и ясли, и небольшая местная больничка, и кинотеатр, и клуб, и даже почта. Производство было, разумеется, секретное. И, разумеется, весь Военград прекрасно знал, что «Красный путь» выпускает танки.

Таня сразу для себя решила, что учиться пойдет в технический вуз. Заводу необходимы хорошие специалисты. Чтобы стать по-настоящему хорошим специалистом, нужно учиться в столице. И после школы Таня, конечно, поступила. И, конечно, после института стала кем хотела. Оля про столицу как-то не думала, а работать хотела всеми сразу: медсестрой, как мама, и мастером, как

папа, и инженером, как Таня, и библиотекарем, как бабушка. И художницей. И космонавтом. И переводчицей. И актрисой. И кондитером. И продавщицей газировки у кинотеатра. Все работы хороши — выбирай на вкус. Можно бы сказать, что младшая любила жить, а старшая любила жить правильно, — но это было бы слишком просто. В том, как жила категоричная Таня, не было ровно никакой показухи, а лишь наивная искренность и желание осчастливить целый мир, — ведь это было время, когда патриотизм и энтузиазм не считались чем-то неприличным.

Они занимали на двоих десятиметровую комнату с окном во двор, вечно занавешенным елью напротив. Кровати стояли по правой стеночке, сходясь изголовьями, и, засыпая, можно было секретничать и делиться новостями — только это случалось редко, все-таки три года разницы. Таня относилась к младшей сестре немного свысока. Не потому, что у Тани был плохой характер или Оля давала повод. Это делалось по праву старшинства. А Оля, по праву младшей, всегда тянулась к Тане и все-все ей прощала.

Неорганизованность Оли не могла не раздражать аккуратистку Таню. Однажды, в воспитательных целях, она провела посреди комнаты меловую границу — и по одну сторону остались Танина безупречная кровать, письменный стол с симметрично разложенными тетрадками и учебниками, стул и шифоньер, а на Олиной половине сгрудились в беспорядке все куклы и кубики, все книжки, все платья, наспех стянутые через голову, весь «природный материал», оставшийся от поделок по труду, все карандаши, когда-то закатившиеся по углам. Проводя границу, Таня кривила тонкие губы и пинала на половину сестры все, что плохо лежит, — брезгливо так, мыском. А потом сказала, подражая классной руководительнице: «Мне этот бардак не нужен!» Но Оля, кажется, даже не заметила преподанного урока. Подгребла к себе карандаши, из-под кровати выудила кусок ватмана и стала рисовать. Она расселась на полу, потурецки скрестив худые ноги, и от усердия высунула язык. Таня, признаться, растерялась. Нет бы осознать и исправить, нет бы обидеться в конце концов! А она сидит и рисует, будто и границы никакой нету.

— Ты чего это?! — спросила Таня, все еще пытаясь держать тон.

— Парусник! — весело отозвалась Оля, приподнимая лист и растягивая за края.

И действительно, это был парусник. Он шел по волнам — трехмачтовый, невесомый, и флаги развевались, и паруса пузырились над палубой... Таня молча вышла из комнаты и вернулась с мокрой тряпкой. Стерла мел. Ей было двенадцать, Оле девять. Кажется, в детстве это был единственный инцидент, отдаленно напоминающий ссору.

Таня бы ужасно удивилась, узнав, как хорошо запомнила Ольга ту границу на полу. На жалких два метра неровной меловой линии оказались нанизаны сорок с лишним лет воспоминаний. Но это уже потом, а пока речь о детстве, которое было одинаково счастливым у обеих. Сестры жили-были и счастья своего не ощущали — как не ощущают сердца, пока оно не заболит или не заколотится от волнения.

Тане и без Оли было кого перевоспитывать. Например, хулиган и троечник Петухов, и второгодник Гришин, гроза младшекласников, и смазливая Юленька Галкина, способная думать об одних нарядах. Всех их необходимо было «подтянуть», чтобы класс не позорили.

Потому Юленька была назначена в лучшие подруги и звана в дом, где просиживала до вечера и больше списывала, чем «подтягивалась». Она, впрочем, была добрая и незлобивая, просто ленивая и нелюбознательная.

Потому троечник Петухов прятался в ближайшей подворотне, если Таня вдруг шла ему навстречу, а если дело было в школе, тогда, разумеется, спасался в туалете.

Сложнее было с Гришиным. Строго говоря, это был не второгодник, а третьегодник. Повторил он два класса — сначала шестой, потом седьмой. За Гришина Таня взялась особо. Прямо с 1 сентября, когда это «счастье» свалилось на голову седьмого «А». Тане исполнилось четырнадцать, и это была настоящая барышня-красавица. Гришину стукнуло шестнадцать, и это был сформировавшийся хулиган, из числа отпетых.

Ах, как боролась Танечка за Гришина! Но ему хоть кол на голове теши. Долгих два года, пока Танечка боролась, он знай мямлил и только пялился чуть ниже того места, где краснел новенький комсомольский значок спасительницы. Впрочем, не обижал. И шпане в обиду не давал никогда. Потому что вполне предсказуемо влюбился в Танечку — неразрешимой любовью человека, недостойного счастья, которое на него свалилось. Худо-бедно Танечка дотянула Гришина до восьмого класса и хотела забрать с собой в девятый, чтобы был под присмотром, да только учителя не дали. Гришин уехал в Свердловск, поступил в ремесленное — и через полгода получил срок по двести шестой, за какое-то не особо крупное, но и непростительное хулиганство. Танечка винила себя и очень мучилась.

Впрочем, быстро объявилась достойная замена — Михеев Бронислав. Это уже в девятом. Папу Бронислава перевели на «Красный путь» откуда-то с юга, и медный загар Бронислава, «дельты» и «трапеции» Бронислава, наплаванные в теплом море, выгоревшие добела кудри Бронислава произвели на старшеклассниц неизгладимое впечатление. Увы, оказалось, что этот херувим и Аполлон — хронический лоботряс. И опять Танечка принимала меры, и опять не очень успешно, а Бронислав, что логично, тоже влюбился — и это дополнительно мешало ему учиться по-человечески.

Мама роптала на такие знакомства. А папа лишь посмеивался. Ты бы, говорил, доча, в учительницы шла. Зачем тебе в технику лезть? На что упрямая Таня кивала, мол, почетная профессия учителя, да, но упорно зубрила неподатливую физику. Училка — слишком просто. Ей ли искать легких путей?

Меж тем за Таней пытались ухаживать лучшие парни Военграда, спортсмены и комсомольцы, даже сын директора «Красного пути», избалованный девичьим вниманием футболист Костик. Но ни у одного из соискателей, даже у Костика, не было шансов. Потому что спасти и «подтягивать» их не требовалось.

Когда Оля немножечко подросла, она все выпытывала у сестры, что привлекает ее в асоциальных типах. Неужели ей приятно с ними общаться? А Таня только пожимала безупречными округлыми плечами — она не понимала, где граница между «приятно» и «необходимо». За лояльность и доброту к несимпатичным людям Оля очень уважала старшую сестру. Сама она так не умела — и общалась всегда только с теми, кто был ей интересен. А это были такие мальчишки и девочки, которые, как сама Оля, относились к жизни с энергичным любопытством. Они пели в школьном хоре, ходили в походы, сажали деревья,

строили шалаши, собирали макулатуру и металлолом, помогали пенсионерам, как в книжке «Тимур и его команда», занимались в кружках и секциях. Что их объединяло? Во-первых, никого из них не нужно было спасать. Они бы сами кого хочешь спасли.

Таня окончила десятилетку с золотой медалью и поступила в институт инженеров транспорта. Там тоже было за кем присматривать. Все-таки техническая специальность, на троих барышень — семнадцать оболтусов, впервые хлебнувших общежитской самостоятельности, а вместе с нею открывших для себя табак, алкоголь и, кому повезет, секс.

Когда Таня поступила и уехала, отец очень гордился и очень горевал. Таня была «папина». Не в том смысле, что он ее больше любил. Просто она была ему как-то понятнее. Даже эти ее операции по спасению «утопающих»... Он был из той редкой категории взрослых, которые до старости помнят себя юными и беспомощными — вот именно беспомощными, потому что юность — это и есть самое тяжелое человеческое время, когда ничего еще не знаешь и ото всего зависишь, а кажется, будто познал все и во всем прав. Когда-то он сам был таким же хулиганом и троечником. И кто знает, как сложилась бы его жизнь, не начнись война. Как-то сразу стало не до глупостей, все повзрослели в то лето, даже самые отвязные. Но подобного способа взросления он не пожелал бы и врагу. Вот не будь войны, а будь у него, наоборот, в юности такая Танечка — тоже ведь неплохо все могло сложиться.

Оля была «мамина». Внешне это почти не проявлялось, но понимали друг друга с полуслова. И если маме вдруг требовалась помощь, просить никогда не приходилось — Оля была тут как тут. Мела и мыла с песней, так же весело и легко, как перед этим мусорила. А пироги? Что могло быть интереснее строительства настоящего домашнего пирога? Таня сестру не одобряла. Она тоже до отъезда делала по дому все необходимое, но без огонька, а потому что *надо*. И приговаривала, что это, мол, пережиток, а вот наступит светлое будущее, и уж тогда изобретут для хозяйства специальную машину. Мама улыбалась. Поживет девочка, помыкается, дом свой обустроит — повыветрится из головы дурь. Папа был согласен — изобретут. Раньше вон на кобыле пахали, а теперь? То-то! А Оля просто делала и все. И чего ж не сделать-то? Подумаешь!

Скучала ли Оля по старшей сестре? Пожалуй, нет. Скучать, тосковать не было ей свойственно. Но вот ведь странно — в комнатке, которая теперь принадлежала ей одной, навела было хаос — а он не прижился. Прибежит она из школы, вытряхнет учебники на стол, начнет переодеваться — и не дает эта куча покоя. Делать нечего — подходила, складывала аккуратно. Как Таня. А еще Оля покрывало стала разглаживать на кровати, чтобы без складочек, и для карандашей завела специальную банку. Больше тоска по старшей сестре никак не проявлялась.

Старшей же сестре было вовсе не до Оли. Новые предметы, люди, общественные обязанности — за этой суетой и на сон-то времени не хватало. Сначала Таня исправно писала, два раза в неделю. Потом решила, что это мешанство. И стала писать раз в две недели. А студенческая жизнь набирала обороты. Как-то Таня обсчиталась, как-то отвлеклась — и письма стали приходить в Военград лишь по праздникам. Родители были обижены, а зря.

Вовсе она их не забыла! Ведь в сутках жалких двадцать четыре часа. И еще... появился один человек, с Таниного курса. Он нуждался в спасении больше всех вместе взятых.

Мама стала быстро стареть. Появились вдруг складочки в уголках губ и сеточка в уголках глаз, истончилась кожа и заострился нос, и выглядела теперь мама как будто невыспавшейся — всегда. Оля обнимала ее за шею и осторожно вела пальчиком от сизой припухлости под нижним веком до подбородка — и замирала.

— Совсем бабка делаюсь, да? — спрашивала мама весело.

Оля яростно мотала головой и еще крепче обнимала — так что дышать делалось трудно.

— Пусти! Ну пусти! Задушишь! — сопротивлялась мама.

— Ты у меня самая-самая лучшая! — шептала Оля.

— И ты у меня! — мама целовала Олю в лоб. — Это нормально... Со всеми женщинами в моем возрасте... вырастешь — поймешь...

Но Оля не хотела понимать, зачем у мамы становятся старое лицо и утомленный вид.

— Вот вырасту — и изобрету лекарство от старости! — обещала она. И действительно начала готовиться в медицинский.

«Красный путь» расширился, и работы у мамы прибавилось, так что она поначалу списывала на усталость. Ну и «по женским» вполне мог начаться переход на зимнее время. Она худела, бледнела и буквально засыпала на ходу, но чтобы болело где-то, это нет — поэтому, когда поставили диагноз, было поздно что-то предпринимать. Между впервые произнесенным словом «рак» и похоронами оказалось жалких четыре месяца. Никогда больше Оля не чувствовала себя такой беспомощной и такой непростительно бесполезной.

Папа стал как деревянный. В том, как он поднимался утром, припадая на искалеченную ногу, как собирался на работу и завтракал, не осталось ни одного живого движения. Чистая механика. На жену он старался не смотреть. Не подходил к ней. Не заговаривал. Не из черствости. И не от слабости — это был сильный человек, солдат. Смерти повидал. Он бы и не такое снес — но только не с матерью своих дочерей. Слишком больно.

Познакомились в сорок четвертом в госпитале. Никакого героизма и романтики в их отношениях не было. Никто никого не выносил с поля боя, не сидел у постели умирающего, и с первого взгляда они не влюбились. И все-таки Верочка спасла его. Потому что он тогда не хотел жить. Совсем.

Вроде бы дело повернуло на победу, но вдруг накрыла такая апатия, что не пошевелиться. Нога быстро заживала, неделя-другая — и добро пожаловать в строй. Но внутренних сил для войны Саша в себе не находил. Он бы никому не признался. Он бы пошел, куда пошлют, только... Его бы послали, и он бы пошел. И дошел бы. И там, куда прибыл, потихоньку пустил бы пулю в лоб, из табельного оружия.

Тогда и появилась Верочка. И Саша, надо сказать, ей не понравился.

Другие солдатики были люди как люди. А этот лежал, глаза в потолок, с койки не поднимался. И добро бы серьезное что, а тут ранение под коленку, навывлет — тьфу, а не ранение! Другим-то, может, руки-ноги ампутировали, и то ничего, держались. Тоже мужик! Верочка старалась не подходить к Саше и не

смотреть в его сторону. И он на нее не смотрел. И не звал никогда. А когда уколы надо было, подлетала Верочка, презрительно губы поджав, да как зыркнет, да как всадит... А ему об стену горох. А глаза такие, знаете... как у артиста.

В общем, не выдержала однажды. Сдали девичьи нервы. Зачерпнула холодной воды кружкой железной, подошла гордая — и выплеснула ту воду пациенту на голову. По волосам потекло, по шее, по подбородку. На мгновение во всем мире выключили движение и звук, остановилось время. А потом этот — мокрый, растерянный, бледный, — потом он взял и улыбнулся...

Это после была любимая семейная шутка — про живую воду.

А теперь Верочка умирала. Глупо. Непоправимо! Медики, они же как сапожники без сапог — всех-то вылечат, а про себя думают, что неуязвимые...

Стояла осень. Весь Военград оказался засыпан красным и желтым, рябиной и кленом, небо было высокое и прозрачное, солнце жарило почти как летом — и от этого несоответствия становилось еще больнее. Оля начала десятый класс.

Папа потерянный слонялся по квартире и боялся заходить в спальню жены. Она тогда уже не вставала, а только приговаривала, мол, повезло — девочки взрослые, выдюжат. И улыбалась через силу. От этой улыбки Оле хотелось выть. Но держалась. И так же через силу улыбалась в ответ. Они за всю жизнь друг другу так много не улыбались, как в те месяцы. Весь уход, вся домашняя работа легли на Олю. Потому что папа не мог. Правда не мог. Таких мужчин бессилие парализует.

Таню ждали на ноябрьские. Но она не приехала. Про болезнь матери она, конечно, знала. Но так, как знают на большом расстоянии: что-то где-то происходит нехорошее, не с тобой. Но ты-то жив и в порядке. И никаких плохих предчувствий, зловещих примет, ничего. И тревоги нет особенной, некогда студенту тревожиться, у него одних учебников от пола до потолка. А страшное слово Тане не сказали. Все надеялись, может, ошибка. Потому увиделись сестры на похоронах. И у Оли плакать уже сил не было, а на Таню зато было страшно смотреть — так она рыдала. Смерть такое дело — сколько ни говори «нормально» и «все там будем», но это до первого прецедента.

Для Тани мамина смерть выглядела как монтаж. Конец лета — и мама почти здорова, просто немного усталая, собирает в дорогу домашние заготовки и пирожки с капустой, а Таня отпирается. Осень — и пара тревожных писем из дома, достаточно торопливых и бережных, чтобы воспринять их как начало трагедии. А потом хлоп — середина декабря, и какое отношение эта восковая кукла в деревянном ящике имеет к маме, всегда подвижной и веселой, *живой*?! Верните, верните время, и я там, в прошлом, все починю!

Примерно так чувствовала Таня и глотала слезы, которые лились не переставая три дня. И на всю жизнь затаила обиду — на папу, который толком не объяснил, на каменную Олю, не проронившую ни слезинки... на собственную мизерную роль статистки и плакальщицы.

С тех пор каждый вращался как бы вхолостую, сам по себе. Они еще соприкасались шестеренками, но от этого не происходило никаких созидательных действий, одно трение.

Таня была не из тех, кто способен силой фантазии втащить себя в чужую шкуру. Она пыталась как-то действовать, поддерживать сестру и отца, но все казалось неуместным. Менее всего они нуждались в деятельной заботе. Им хотелось отдыха и тишины. А Таня, пытаясь, как все случилось и что было

сделано, словно бы ковыряла едва затянувшуюся ранку. И если папа оглушен был настолько, что Таню почти не слышал, то Оля так не умела. Каждое лишнее слово ранило. Она стала ускользать от старшей сестры, убегать. Находила миллион причин исчезнуть из дома.

Январь был удивительно холодный для их широт и снежный, сугробы у подъезда казались выше головы. Оля открывала дверь, делала шаг и невольно смотрела под ноги — ей мерещились похоронные еловые лапы, ведущие от дома прочь, словно следы гигантского чудовища. Дворник давно смел их, но они стояли перед глазами — правая, левая, шаг и другой, — зверь уходил и уносил с собой маму, далеко за реку, за корпуса «Красного пути» на погост Военграда — и закапывал в ледяную нору. Оля шла по городку куда глаза глядят и находила себя уже на мосту, откуда могилы на холме были хорошо видны. Военград был еще невелик, и кладбище казалось крошечным, необжитым. А родных тут было уже двое — бабушка и мама — на этом крошечном пятачке! Оля надолго останавливалась и смотрела через перила на лед. Весной он вскроется, и вода потечет на север, а пока под черными промоинами не было видно течения, одна пустота. Именно здесь она решила, что никогда не станет врачом. Потому что какой в этом смысл, если уже не спасти самого родного человека? Учебники по биологии и химии были брошены. Но этого никто не заметил. С тех пор как умерла мама, каждый сделался сам по себе.

Раздосадованная Таня, так и не осознавшая до конца всей тяжести горя, уехала: она пропустила сессию, а на носу был новый семестр. Папа выглядел обыкновенно, только не шутил больше. Вернувшись с работы, он садился на табурет в кухне, включал радио на полную громкость и так сидел. Не ел до тех пор, пока Оля не приносила ему дымящуюся тарелку и не вкладывала в руку ложку. Механически жевал. Отодвигал от себя грязное и опять сидел. До тех пор, пока не становилось пора спать и Оля не прогоняла его в комнату. А где-то через месяц, вернувшись из школы, Оля не обнаружила двуспальной железной кровати и стола, на который клали маму. Вместо кровати был ровный яркий прямоугольник нестертого пола. В углу комнаты, которая казалась огромной, стояла сложенная раскладушка. Оля ни о чем не спросила, папа ничего не объяснил. Они только обменялись долгими взглядами и отвели глаза, как будто извинились друг перед другом.

Человеческое горе — величина относительная. Таня не очень глубоко его почувствовала и поняла это как свою душевную ущербность, хотя это было всего лишь неведение, и стыдилась — потому старалась предъявить горе всем и каждому, словно хотела компенсировать внешним шумом внутреннее тихое удивление, которое испытывала вместо приличного случаю отчаяния. Преподаватели очень жалели Таню и легко простили ей все зимние хвосты. Оля, наоборот, старалась сберечь каждое лишнее движение — только бы не расплескать хрупкий покой, наступивший после нескольких месяцев постоянного страха. Оля выглядела спокойной, даже равнодушной, с самого дня похорон, это вызывало невольную укоризну. И когда она немножко запустила химию, химичка не преминула вывести за второе полугодие четверку — и, выводя ее в журнале, а потом в дневнике, ощущала справедливость своего поступка. Все дело было в знании. Оле очень не хватало мамы, но она знала — маме так лучше. Потому что те несколько месяцев... Это ведь тоже была не жизнь. А отец... На следующее лето отец неожиданно женился на заводской буфетчице. Таня

восприняла это как предательство и долго не писала домой, до самого окончания института. А Оля поняла и поддержала отца. Да и какое было ей дело до буфетчицы, к тому времени она уже училась в институте, что же отцу одному-то? На его месте она бы поступила так же — попыталась бы заполнить пустое место, чтобы не ощущать больше космической сосущей дырки внутри. Это как протез. Оторвало человеку ногу, и на ее место приставили неказистую деревянную культю. Заменяла она настоящую ногу? Нет. Но при культе хоть как-нибудь идешь, а попробуй отстегни ее да проскачи целый день на одной ноге.

Глава 2

Принято считать, что горе мешает сосредоточиться. Будто в горе человек мало на что способен. Но люди разные, и горе у них разное. Оля, оберегая горе внутри себя — лишь бы не стронуть его с места, стала предельно сосредоточенной, ведь только учеба помогала ей не думать о маме, о смерти.

Поэтому школу окончила, за вычетом инцидента с химией, легко. И, конечно, на «отлично».

И тут случилась странная вещь.

Когда Таня окончила ту же школу на «отлично», ею все гордились. А Оля... В том, как легко она доучилась, было что-то не совсем приличное для сироты. То есть ей бы все равно поставили эти пятерки, но это должен был быть акт сострадания, а Оля не давала повода для сострадания. И вместо того чтобы отдать должное ее силе и способностям, учителя невольно испытывали неприязнь. Не только не хотелось помочь, а наоборот, подмывало как-нибудь позакovskyристее придраться, отступить подальше от школьной программы и посмотреть, где же у этого странного ребенка предел, болевой порог, за которым началась бы ожидаемая всеми растерянность, а с нею — повод для сострадания... Впрочем, Оля едва ли замечала эти придиры. Она боялась, что внутри шевельнется пережитое, она была точна как никогда — и от этого неуязвима.

Папе было не до Оли. Как она боялась раздражить свою боль, так же он культивировал чувство вины перед умершей женой. Чем дальше, тем скрупулезнее он подсчитывал, как мало помог ей, пока еще было можно. Даже стакана воды — пресловутого стакана воды! — не подал ни разу... Их семья началась двадцать лет назад со стакана воды, живой водой окатила его покойница Верочка, чтобы запустить жажду жизни, которая и сейчас не иссякла несмотря ни на что, но ему-то где было взять такую живую воду, чтобы поднести ей, мятущейся на четвертой стадии? Не было такой воды, не было ответа. Потому казалось: проще не подходить, не разговаривать, не сочувствовать, и тогда, может быть, мир застынет, болезнь отступит. Вера звала слабым голосом: «Сашенька! Саша!» А Саша замирал около двери и притворялся, будто его нет дома, лишь бы не видеть, что сделалось с Верочкой, с ласковой ямочкой на правой щеке, с завитушкой волос над бровью... В этом состоянии вины он и сошелся с буфетчицей — сам не заметил как. Она, впрочем, была славная женщина.

Оля к тому времени была уже в Москве и зачислена на первый курс.

Это тоже вышло как-то само собой. Ей было все равно, куда поступать. Наверное, позови ее Таня в свой институт, Ольга бы послушалась. Но Таня не

позвала. А зато Танина бойкая соседка по комнате взхлеб рассказывала, как одноклассница поступила на переводчика. Оля слушала эту болтовню вполуха, но когда Таня строго спросила, куда сестра подает документы, машинально ответила — на переводчика... Таня хотела возразить, но растерялась и не нашла нужных слов.

Таня считала, что тратить время на чужие языки — блажь. Пол-Европы и так учится по-русски, и со временем все они станут совсем наши, как Белоруссия или Казахстан, а в буржуйских языках проку мало: что там переводить, когда граница на замке, а замок тот куда как надежен. Таня так сестре и сказала. Мол, непатриотичная какая-то профессия. То ли дело тяжелое машиностроение, или там нефтедобыча. Но Ольга вдруг уперлась — хочу учить языки и все тут.

Таня относилась к гуманитарному образованию свысока. Гуманитарии — они ведь ничего не производили. Кроме учителей, которые производили рабсилу, способную обслуживать добрые механизмы. Все остальное, по мнению Тани, было от лукавого. Так она и объявила сестре. Впрочем, сильно не отговаривала. У всех этих гуманитарных вузов была дурная слава. Считалось, что попасть туда честным путем невозможно. Таня поэтому не верила, что благное намерение младшей сестры оправдается. Подаст документы, получит одну какую-нибудь четверочку и не доберет балла. А там и август. Можно будет устроить ее в нормальное место, на вечерний.

Но Оля поступила. На кафедру немецкого, французского и испанского.

Ее зачислили, дали койку в общежитии, и наступило трудное время полного бездействия. Пустоту между смертью и собой оказалось нечем заполнить. Оля по инерции листала учебники, а потом шла гулять в город. Таня каникулы пропустила, чтобы встретить ее и на время поступления подстраховать, помочь советом, подставить плечо — спасти. Но даже сейчас оказалось, что Олю нужно не спасать, а лишь не беспокоить. Вторая трещинка пролегла между сестрами. Оля, впрочем, этого не заметила — когда держишь в себе горе, стараясь не выплеснуть, не очень-то замечаешь людей вокруг.

Можно подумать, будто Оля была закрытым человеком, а Таня жила — душа нараспашку. Или, наоборот, Ольге приписать крайнюю ранимость, а Тане привесить ярлычок равнодушной показушницы. Но это была бы неправда. Для Тани смерть матери стала внезапным ударом, а Оля проследила медленное умирание. Может быть, поэтому Таня так легко и стремительно раздала свое горе, выболтала и выплакала каждому, кто готов был выслушать и пожалеть. Оля, скопившая сумму горя по копейке, не знала, как снять с себя этот груз. Ее горе состояло из таких мелких мелочей, что ими невозможно было делиться. Она к лету сделалась совсем прозрачная, Оля. По школьной привычке заплетала волосы в косички — только озорные кудряшки за ушами не слушались, не зачесывались. Носила прошлогодние платья, которые сделались немного великоваты в талии, а выше довольно туго натянулись, и не замечала, как неловко это выглядит. А главное — она в то лето почти не улыбалась. И что она была без улыбки? На себя не похожа.

Оля выходила из общежития и ехала в главный корпус — потому что других дорог не знала. Как-то не думалось о том, что можно пойти посмотреть Кремль или Большой театр. Просто шла да шла, выходила на набережную и там долго стояла, смотрела на воду — как в Военграде. Оле нравилась Москва. Здесь ее никто не знал. Никто не подходил, не заглядывал в лицо, пытаясь на глазок определить

сумму горя, не угрожал хрупкому покою — и постепенно Оля почувствовала, что вес горя уменьшается. Когда локти затекали и стоять делалось тяжело, она шла вслед за мутной водой и выходила к Новодевичьему. На той стороне реки торчали упрямые удочки и дымили заводские трубы, а тут была тишина. Это кладбище почему-то не пугало, а завораживало. Примиряло. Оно ничем не напоминало военный крошечный погост. Здесь было покойно и зелено, и птицы заливались над головой, и теплое солнце сочилось сквозь листву, здесь лежали великие — это тоже примиряло Олю со смертью мамы, потому что вот ведь были какие, а умерли, все умирают, никуда от смерти не деться...

Сестры виделись редко. Так и не реализовав себя в роли наставницы, Таня переключила внимание на оболтуса-однокурсника, с которым билась не первый год. Олю не нужно было спасать, а однокурсник погибал на глазах. Это был тихий мальчик из Бодайбо, не вынесший испытания большим городом. Родители, гордые тем, что сын учится в столице, не скупилась и слали ему столько денег, что почитай весь курс на этом паразитировал. Мальчик был постоянно подшофе и едва не вылетел с третьего курса. С грехом пополам вытягивали его всем миром, на шпаргалках, на подсказках, но оставался один хвост, которым и занялась Таня. Это помогало не думать ни о смерти мамы, ни об отдалившейся младшей сестре, ни о предательстве отца, который сообщил письмом, что женится, и еще имел наглость позвать на свадьбу.

Меж тем Оля в маленькой полуподвальной галантерее купила шерстяные нитки, спицы и крючок. Шерсть была трех цветов — зеленого, серого и коричневого. Современный психолог определили бы такую гамму как депрессивную. Но Оля выбрала ее вовсе не потому, что ей было плохо. Цвета ярче и теплее мгновенно разбирали, устраивая очереди не на жизнь, а на смерть. Вот и досталось Оле — что было. Ну и ладно! Медленное плетение петель баюкало и обезболивало, и вот уже сплелись серые уютные носочки и варежки, вот явилась зеленая ладная жилетка, и на подходе был толстый коричневый свитер с широким горлом.

Знакомство Тани с будущим мужем было предопределено ее характером. Оля познакомилась со своим благодаря своеобычному русскому разгильдяйству. А было так: 1 сентября младшекурсников погрузили в автобусы и повезли на картошку. Колонна двигалась весело, с песнями. Один автобус звенел в четыре гитары. Песен этих Оля не знала, но скоро стала подпевать, повторяя заразные припевы. Везли их в Рязанскую область, в пионерский лагерь колхоза-миллионера. Летом пионеры тут без дела не сидели — собирали морковь, редиску и кабачки. Теперь школьники отбыли учиться, настала очередь студентов. Пора было снимать капусту, картошку и кормовую свеклу.

Следом за колонной гуманитариев шла другая. Ехали по-спартански, в тентовых грузовиках. Тоже пели, но брали двумя октавами ниже. Колонна везла будущих энергетиков, физиков-теоретиков, прикладных математиков, радиотехников, машиностроителей. Это была самая типичная компания — за вычетом трех человек. Их рассадили по кабинам, и глаз с них не спускали. Они были вполне обычные молодые люди. Немножко старше своих товарищей. Немножечко слишком добротны одетые. Немножечко слишком спокойные. Два чеха и один словак из ЧССР. По всем правилам этим троим нечего было делать на картошке.

Три представителя братской Чехословакии приехали по обмену, и ждали их

не к 1 сентября, а к 10 октября, когда колхозные работы будут окончены и запущен учебный процесс. А тремя месяцами раньше была зачислена в деканат секретарем племянница ректора, особа крайне рассеянная — и еще незамужняя, поэтому мысли ее были, увы и ах, не о работе. Усилиями новой сотрудницы в Прагу отправился вызов, куда вкралась ошибочка в дате. Ошибочка обнаружилась в конце августа, когда три ничего не подозревающих иностранных рекрута прибыли. Ректор был в бешенстве, но племянницу, конечно, не уволил. Зато остальным штатным сотрудникам было строго-настрого велено «взять под контроль».

Все схватились за голову. Куда девать этих троих? Не отправлять же обратно! В общаге, опять же, не оставишь со старшими курсами, месяц праздного шатания не доведет до добра. Долго ли, коротко, немало потратив нервов и сердечных капель, постановили: везти «обузу» с собой в колхоз.

Клубилась пыль из-под колес, ревели моторы, пассажиров трясло и подбрасывало на ухабах. Колонны ехали друг за другом с отставанием примерно в двадцать километров и пели бодрые песни хором. Чтобы через каких-нибудь три часа быть заселенными в соседние корпуса опустевшего пионерского лагеря и пропитать все вокруг своей молодой энергией, энтузиазмом и, конечно, любовью.

Заселились в одноэтажные летние бараки — светлые гулкие деревянные домики без водопровода и отопления. Оля бессознательно держалась поближе к «четырем гитарам» — с ними и оказалась в одной спальне.

Чехословацкую тройцу разместили с максимальным комфортом. Стена к стене с девчоночьим корпусом, в просторной комнате с отдельным входом. Был у них даже рукомойник и пара ведер — в одном носить воду, в другое сливать. А чтобы тройца была совсем присмотрена, через стенку обретался комсорг — в каморке для инвентаря. Оттуда выгребли все и не без труда поместили в образовавшийся пенал кровать и тумбочку.

Кровать комсорга нарочно поставили к стене, за которой поселились гости. А и было той стены — лишь тоненькие досочки. Теперь он сидел с напряженной спиной и растерянно прислушивался к чужой речи, на поверхность которой всплывали исковерканные родные слова — и вновь тонули среди шипящих и цокающих. Что они там говорят? Что?! Комсорг паниковал. И зря. Речи за стеной велись безобидные.

— Как у бабушки в Лисовице! — сообщил Мартин, трогая пустой рукомойник за хоботок. Рукомойник послушно звякнул, на ладонь вылились две капли ржавой воды. Мартину было двадцать три, и он был романтик из «идейных». Он всегда хотел попасть в СССР.

— А мне здесь нравится! — ответил Ян, устраиваясь поудобнее на кровати и закидывая руки за голову. Дома под Братиславой у него остались три младшие сестрицы — он потратил на них почти все лето и теперь отдыхал. Яну был двадцать один год.

— Интересно, когда будут кормить? — спросил Борислав. Ему было девятнадцать, и он постоянно ощущал голод.

Комсорг прислушивался и не понимал ни слова. Он лег, обнял казенную подушку и вздохнул. За стеной раздался дружный девичий смех, зазвенела гитара. Комсорг подумал, что вот, у нормальных людей было бы окно в сад, и

солнце сквозь стекла, и даже муха, между этими стеклами блуждающая, а у него — глухая деревянная стенка, крашенная унылой зеленой краской, и за стенкой стайка девушек — настолько же близких, насколько недостижимых. Он опять вздохнул. Ответом ему был очередной взрыв хохота. Разве это жизнь?!

Он пнул кулаком подушку, точно она была виновата, и перебросил ее на другую сторону кровати. Лег ногами к девушкам, к двери головой.

— Mam hlada!¹! — громко и настойчиво сказали за иностранной стеной.

Звучало как ругательство. Комсорг натянул подушку на голову. Они тут нагородят черт-те чего, по своей чешско-словацкой матушке, а ему отвечать. Вот влип!

Позже Оля и Мартин не смогли вспомнить, как познакомились. В первый ли день, когда студентов распределяли по бригадам — три мальчика на погрузку, девять девочек на подбор, и комсорг лично выбрал в компанию своим подопечным некрасивых, скромных девочек, в том числе хрупкую меланхоличную Олю. Или они обратили друг на друга внимание позже, в столовой, когда иностранцам единственным дали двойные порции и мальчишки промолчали, а голодные усталые девочки ужасно возмутились — все, кроме Оли. Оля в это время задумчиво смотрела за окно и по обыкновению думала о своем. Когда ее толкнули в плечо, когда дернули за рукав и потребовали тоже высказаться — она пожала плечами и сказала:

— Но, девочки, они ведь голодные. Смотрите, какие они большие!

Сказала и улыбнулась. И комсорг, увидев эту сцену, мысленно назвал себя ослом.

Тут можно было бы объявить, что «глаза их встретились, и они, конечно же, полюбили друг друга». Но и это окажется враньем, любовь наступала постепенно, копилась по капле, как до этого копилось горе, а когда оглянулись — уж поздно было разбирать, с чего началась. На фоне бурных страстей, замешенных на деревенской самогонке и молодых гормонах, их история была рассказана шепотом.

Гости не могли не вызвать у филологических барышень интереса. И поначалу девочки Оле завидовали. Но романтик Мартин — самый малоразговорчивый из троих, самый некрасивый и самый старый — был в конце концов всеми забракован.

Почему эту дружбу не пресекли? Потому, быть может, что, вопреки советской литературе и кинематографу, не верили в колхозную романтику. А всего вернее потому, что Оле и Мартину после практики предстояло учиться в разных вузах. К тому же парочка вела себя скромно, без глупостей — не целовались даже. Нет, угрозу представляли не Мартин, а вырвавшийся на свободу Ян и вечно голодный Борислав.

Горе тому, кто вынужден отвечать за других людей. Горе вдвойне, если это люди молодые, неопытные, чьи основные приоритеты — еда и любовь. И несчастный комсорг жил так, будто привязан был к часовому механизму бомбы.

Грузовичок тащился вдоль вспоротой борозды, и девять скромных девочек,

¹ Я голодный! (чешск.)

не разгибая спины, подбирали красноватый рязанский картофель; мешки наполнялись, а двое иностранцев, перешучиваясь по-своему, волокли их следом за барышнями и по мере наполнения легко забрасывали третьему на грузовичок. Третий, и это был Мартин, вытряхивал картошку и подавал пустой мешок вниз. Сверху он следил за Олей — как та нагибается и ловко выбирает из раскуроченных комьев картофелину. Мартин любовался.

Она набирала полный мешок, он принимал его на борт, опустошал и с улыбкой подавал Оле, лишь иногда позволяя себе невзначай коснуться ее грубой рукавицы. Рукавицы были так велики, что Оля подвязывала их на запястьях веревочками. От постоянных поклонов кровь приливала к щекам, и она, порозовевшая, с благодарностью смотрела снизу вверх — туда, где на фоне бледненького осеннего неба сияла растрепанная шевелюра Мартина, — и рукавицы не отнимала. Но кто это видел? Ниточка их любви тихонько вилась среди страстей и катастроф, каким-то чудом не стора и не обрываясь в мешанине горячего и острого. К концу сентября накопилось, как в том ковчеге, всего по паре: две беременности и две пьяные драки, два острых отравления и два острых отита, две измены и два предательства, две кражи и две травмы, накопилось того и сего, но самые большие две проблемы — это были Борислав и Ян, Ян и Борислав.

Быстро оценив выгоду соседства с комсоргом, который занимал пусть каморку, зато изолированную, они стали его немножечко шантажировать, и комсорг, делать нечего, по мере надобности пускал их туда в сопровождении некоторых филологических барышень, пренебрегающих скучной советской моралью. Комсорг резонно рассудил, что цели, с которыми барышень водят в каморку, от политических далеки, и счел, что пойти навстречу иностранным товарищам — наименьшее из зол.

Ян и Борислав стали общим достоянием. Девушки из-за них даже не ссорились (ну почти). А Мартин? Что Мартин! Что Оля при Мартине! Они были странные. Отстраненные. Про них думать забыли.

Так и дружили. Все больше молчали да переглядывались. Мечтали, конечно, но тоже как-то осторожно, о глобальном. Оля мечтала, что при коммунизме все до ста лет доживать будут, потому что условия хорошие, Мартин — что скоро станет вся энергия из солнечных батарей.

— А как же облака? Тучи? — смеялась Оля, поднимая глаза к отяжелевшему сентябрьскому небу. — Через такой мрак солнце разве пробьется?

— Мраки¹ выгоним! — заверял Мартин, проследив за ее взглядом.

Этой тихой дружбе было всего ничего. Что такое месяц? Но в последний колхозный день, перед посадкой в автобусы и грузовики, Мартин подошел к Оле, крепко взял за локоть и сказал:

— Оля, иди за меня замуж!

— Мне еще нет восемнадцати, — виновато ответила Оля. В голосе ее не было ни удивления, ни радости, а лишь сожаление, что не может выполнить просьбу. — У нас до восемнадцати замуж нельзя.

— Когда твои восемнадцать?

Вид у Мартина был такой решительный, что «четыре гитары», ставшие свидетельницами сцены, дружно рассмеялись.

¹ Мрак — туча, облако (чешск.).

Мартин на них даже не оглянулся. Он смотрел на смущенную и немножко растерянную Олю сверху вниз и ждал.

— Двадцать девятого октября, — сказала она после напряженной паузы, изрядно утомившей обоих влюбленных.

Мартин улыбнулся:

— Тридцатого будем жениться!

Оля серьезно кивнула.

Спустя мгновение всех начали загонять по машинам, поднялась суета, и влюбленных оттащило друг от друга. Но это уже ничего не решало.

Глава 3

Людам спокойнее думать, будто кто-то дергает за ниточки — и любой поступок, любое слово предопределены произволом кукловода. Даже те из нас, кто считает, что *там* ничего нет, кроме холодной космической пустоты, с опаской посматривают вверх: «А вдруг?» Действительно, а вдруг?.. Люди не любят быть свободными. Не любят, не спорьте. Свободными от ответственности — это пожалуй. От обязательств — да! Но боже упаси нас от свободы выбора. Каждую минуту отвечать за себя — слишком сложно. Слишком страшно. Пусть уж там, наверху, действительно кто-то будет.

А опыт говорит: все случайно. Один на ровном месте ломает шейку бедра, другой на ровном месте влюбляется насмерть. Какая в этом логика? Точно ли один заслуживал любви, а другой перелома? Нет ответа. Но так уж устроена голова, чтобы делать выводы. Искать ответа там, где его нет.

Почему Мартин? Почему Оля? Почему эти двое вместе?

Потому что Мартин, сказать честно, побаивался эмансипации. Смена гендерных ролей его не радовала. Девушки, с которыми сходил на родине, были чрезмерны в своем внимании к его скромной персоне. Даже самые беззащитные на вид, стоило подойти ближе, демонстрировали борцовский захват и бросок через бедро. Начиналась эпоха матриархата. Каким боком это выйдет человечеству в целом, лишь предстоит узнать, что же касается лично М.Вранека, гражданина ЧССР, 1944 года рождения, без в/п, студента, верящего в здравый смысл, дружбу народов и торжество коммунизма, то следует признать — Мартин боялся женщин. Первое физическое любопытство он давно удовлетворил и решил, что при всех плюсах оно не стоит моральных мук, связанных с ухаживаниями «до» и требованиями «после».

И тут появилась Оля. Она была занята своим постепенно убывающим горем и боялась обратной динамики — от нее не исходило угрозы. Она была предельно осторожна. Так человек, чья сломанная нога недавно срослась, не может заставить себя выпустить костыли и сделать шаг. Он опирается на пострадавшую ногу, и не боль, но память о боли выводит его из равновесия. Он делает первые крошечные шажочки, балансируя и боясь оступиться, пока время не зарубцуется поверх страха, не срастется, как срослась кость.

Олю хотелось защитить и уберечь, подать руку, чтобы не держалась за один только воздух. Это было странно — и так приятно! У Оли была отрешенная улыбка, глядя на которую, Мартин начинал верить, что женщина — не хищник. Оля не пыталась с боем ворваться в чужие дела, как захватчик на территории

противника. Она, собственно, и вопросов почти не задавала. Но взамен проявляла столько ненавязчивой заботы, сколько можно унести в двух руках. Наконец, она была красива. Тоненькая, ловкая, талантливая во всем, к чему прикасалась. Мартин понял, что последним будет ослом, если отпустит от себя такую девушку. И знаете, Оле он готов был многое отдать. Не потому ли, что она ничего не просила?

Так думал Мартин. А Оля? Она-то почему потянулась к нескладному иностранцу? Не потеряла ли она бдительность? Не горе ли было виною этой потери?

Но нет. Не горе. Горе было само по себе, Мартин сам по себе.

Случаются такие люди — пять, десять минут с ними знаком, но вот сошлись — и родные. Как будто выросли в одном дворе, а потом до выпускного сидели за одной партой. Так и Мартин. Оля потому и не запомнила знакомства, что ей сразу стало казаться, будто Мартин был всегда. Потому требование жениться немедленно ее не удивило, а только раздосадовали технические трудности, из-за которых нельзя сделать это побыстрее.

Вернувшись в общежитие, Оля сразу начала скучать по Мартину. На учебе это не отражалось. Любовь ничем ее не отвлекала, потому что замешена была не на буйном и бурном, а на тихом и трепетном. Мартин по вечерам звонил на пост, звал Олю к телефону — и скоро все вахтерши узнавали его радостный акцент, слегка припадающий на шипящие.

По вечерам иногда удавалось встретиться и погулять. Равно не знающие Москву, они вместе учили ее парадную сторону. Мартин легко перенимал новые понятия и слова, и с каждым днем трудностей перевода становилось все меньше, а понимания больше. Как-то само собой решилось, что жить будут в Союзе.

Мартин был родной, и Таня была родная. Тем труднее было смириться, что эти двое не признали друг друга.

Отчасти Оля сама была виновата. Вернувшись с картошки, не побежала к сестре, не рассказала важную новость, а села вязать Мартину теплый шарф на зиму. Так ее и застала Таня спустя несколько дней, когда обеспокоенная, не случилось ли чего, прилетела в общежитие. Прилетела и опешила, и задохнулась, увидев, как Оля сидит по-турецки в провисшей сетке кровати и нанизывает петельку на петельку, а из-под спиц струится уже довольно долгий отрезок уютного шарфа — полоска зеленая, полоска коричневая.

— Танечка! — Оля отложила вязание и легко выбралась из сетки, оставив ее с поскрипом колыхаться за спиной. Подскочила, потянула сестру в комнату.

А Таня застыла на пороге и все смотрела на злополучное вязание, как загипнотизированная. В то время девушки не носили вязаных шарфов и шапок, а покрывали головы платками, потому шарф мог означать только одно — мужчину. Но про Мартина Таня знать не могла. Стало быть, отец. Предатель!

— Ты, может, и на свадьбу поедешь?! — спросила Таня холодно. — *Сэтой?* Оля не понимала.

— Зачем ехать? — пожала она худенькими плечами. — Здесь разве нельзя жениться?

— Здесь?! — Таня представила, как отец приезжает в Москву со своей буфетчицей, как встречают их на холодном перроне, как эта чужая тетка вылезает с вещами и пытается ее, Таню, на правах родственницы расцеловать...

Сестры смотрели друг на друга в растерянности. Таня отмерла первой: — Как ты могла?!

Оля хлопала густыми ресницами — и молчала.

— Ты что, простила его?

— Да за что же его прощать?

— Он. Предал. Маму, — отчеканила Таня, наконец переступая порог.

Только тут Оля вспомнила, что давно не видела сестру и забыла ей сказать про Мартина. Оля улыбнулась и обняла Таню, окончательно ее, бедную, озадачив. Выдохнула в горячее ухо:

— Танечка! Я выхожу замуж!

Сказать, что Таня была обижена, — значило не сказать ничего. Таня чувствовала, что прямо-таки не переносит этого неизвестного Мартина. И когда Оля их познакомила спустя три дня, это было уже непоправимо. Образ врага накрепко засел в Таниной голове.

Мартину Таня тоже не понравилась. Она настроена была агрессивно и явно пыталась его побольнее ранить — довольно сомнительное предприятие, Мартин неплохо говорил по-русски, но, не чувствуя оттенков речи, не понимал, когда обижаться. Впрочем, общий раздраженный тон в переводе не нуждался. Но не потому Таня была неприятна Мартину. Все-таки это была очень привлекательная девушка, и гнев ее, пожалуй, даже красил — горели ее глаза и пламенели щеки, и длинный темный локон изгибался над бровью, некстати попадая в рот (Таня зло отплевывалась). Она олицетворяла собою все, чего боялся Мартин в женщинах. Такие, как Таня, представляют на месте мужчины неотесанную глыбу, от которой предстоит отсечь лишнее. Избави, судьба, от женских скульпторов!

Таня бросила все силы на то, чтобы уберечь сестру от опрометчивого шага. Но Оля на любой Танин довод отвечала неизменной счастливой улыбкой. Опять, опять она не нуждалась в активной помощи, а принимала лишь невмешательство, доводя Таню до отчаяния. И Таня, делать нечего, решила помочь хотя бы со свадьбой — про которую до последнего думала, что ее не будет.

Оля отметила восемнадцатилетие, и на стол Центрального загса легло заявление на международный брак. Когда в институт, ответственный за пребывание Мартина в СССР, пришла соответствующая бумага, менять что-либо было поздно, оставалось посильно помочь новой ячейке обустроиться. Семье выделили отдельную комнатку, а для свадьбы предоставили «красный уголок».

Превозмогая себя, Таня раздобыла приличный материал на платье и швейную машинку. Это она выбрала модный фасон в журнале «Работница» и по случаю купила белые кожаные туфли, истратив на них месячную стипендию. Это она выбрала Мартину подобающий галстук! В болезненном самоотречении, с которым действовала Таня, находила она даже удовольствие. Сердце ухало в груди горячо и сладко — и чем больше отдавала Таня, тем счастливее и ярче было ощущение жертвы, тем больше хотелось отдавать, пока не останется ничего.

Оля приняла помощь с благодарностью. О страстях, кипящих в сердце старшей сестры, она не подозревала и думала, что Таня ее поняла.

Зима перевалила за середину, и в Кремле давали банкет в честь Дубчека, а в «красном уголке» справлял торжество его скромный соотечественник Мартин Вранек. Он был слегка придушен модным галстуком и застегнут на все пуговицы — не только в буквальном смысле. Он улыбался через силу, придавленный важностью ситуации, а за локоть его робко держалась счастливая Оля. Платье на ней было модное, но уж больно легкое — с короткими рукавчиками «кимono», едва прикрывающее худые коленки. Оля мерзла и пританцовывала по полу, отбивая квадратными каблукками тихую чечетку, чтобы хоть немного разогнать кровь. За столом галдели, потому тихие притоптывания из-под скатерти не были слышны. Особенно замерз почему-то кончик носа, и это ужасно смешило невесту. Сегодня они странно смотрелись вместе, Оля и Мартин. С ее лица не сходила улыбка, а он был серьезен, как сотрудник госбезопасности.

В этот день они принадлежали себе меньше, чем когда бы то ни было. Выстояв очередь в ряду таких же растерянных молодых пар, а потом официальную церемонию, они свезены были на Красную площадь, где возложили цветы к Вечному огню и потоптались под прицелом фотоаппарата. Потом их, не успевших опомниться, погнали опять в машину, украшенную лентами, и повлекли к свадебному столу. Но и там молодых не оставили в покое. Они сидели в торце, на фоне иконостаса почетных грамот и пары вылинявших красных флагов, буквой V торчавших из железной подставки, — сидели, едва прикасаясь к еде, — и Оля не отпускала добротный шерстяной локоть жениха, точно это была единственная связь с реальностью. Поверх голов какие-то официальные люди говорили речи — что-то о дружбе между братьями славянами, Ян и Борислав наперебой пытались ухаживать за красавицей Таней — без успеха, Таня с нарастающим ужасом наблюдала, как напивается ее подопечный из Бодайбо: он, как многие очень тихие люди, в состоянии опьянения становился необузданным и агрессивным; но самое тяжелое испытание было в том, что на свадьбу приехал отец.

Он приехал один, всего на денек, и в ночь после свадьбы у него уже был обратный билет, а Таня сделала вид, что они незнакомы. Даже не взглянула! Только кивнула — едва заметно и мимо. И стремительно нырнула в свадебную суету, оставив его наедине со взволнованной Олей и застывшим Мартином. Мужчины смущенно расшаркались и завели неловкой разговор о неважных материальных мелочах, и совсем скоро папа, от растерянности вконец завравшийся, обещал зятю машину и кооператив; Мартин, не желающий отставать, сулил раздобыть машину и кооператив самостоятельно. Оле разговор был неприятен, точно она присутствовала на рынке при покупке помидоров или балтийских селедок, но она не знала, как это прекратить — оба так разошлись в желании переобещать друг друга, что окончательно запутались и расхвастались.

За столом отец оказался локоть к локтю с Таней, но она упорно не замечала его присутствия и не отвечала на искательные вопросы — разве с предателями можно по-другому? Демонстрация была так очевидна и некрасива, что даже Оля в конце концов заметила это.

— Танечка! Папа! Прошу вас! — только и шепнула она умоляюще.

В ответ Таня подскочила, расплескивая вино, и прокричала с надрывом:

— Горько! Горько!

— Горько! — подхватили гости.

Молодые поднялись, грохоча стульями по исшарканному полу. Оля растерянно посмотрела снизу вверх, Мартин улыбнулся ободряющее, бережно поцеловал в губы. Хотели сесть, но опять Таня выкрикнула «Горько!» и все подхватили. Сколько это продолжалось? Минуту? Десять? Потом отпустили. Оля опять вцепилась в локоть жениха. Ей казалось, будто свадебный стол уходит за горизонт, и стук приборов о тарелки был как шум прибора.

— Кто они все? — шепнула Оля. — Я почти никого здесь не знаю...

— Не бойся. Это приятели, — ответил Мартин так же тихо.

Он всегда говорил чешские слова вместо русских, когда волновался, и возникающее речевое смещение часто оказывалось забавным. Но сейчас Оля даже не поняла, что Мартин хотел сказать «друзья». Приятели — прозвучало удивительно точно.

— Счастья тебе, девочка! — сказал отец, поднимая прозрачную рюмку. В глазах его билось отчаяние.

Среди общего гвалта послышался звон бьющегося стекла. Злополучный Танин однокурсник из Бодайбо не удержался и громко сполз под стол, где немедленно заснул, пристроившись щекой на башмак гостя напротив.

Все смеялись, а Таня, с гневными красными пятнами на лице, в бессильной ярости тянула своего подопечного за штанину, приговаривая: «Ну Толя же! Толя!!!» Сжалившись, двое добровольцев извлекли его, обмякшего, и долго отмачивали в уборной, сунув головой под холодную воду. Он удивленно отплевывался и тюкался темечком о кран. Гости вразнобой танцевали, не заметив, как тихо уехал расстроенный отец невесты. Хором вручали молодым ключ от отдельной комнатки. Пытались драться, но драке не суждено было быть — международную свадьбу ненавязчиво курировали специально обученные люди. Таня громко отчитывала очнувшегося Толю — специально на глазах у всех. Пели, перебивая друг друга, «Парней так много холостых» и «Я шагаю по Москве». Мечтали, перебивая друг друга, о будущем. Обыкновенная студенческая свадьба.

Сильно за полночь, когда молодые добрались до нового жилища, Оля смогла только скинуть туфли и лечь, не раздеваясь, на провисшее полуторное ложе, застеленное синим казенным одеялом. Она отключилась мгновенно, и Мартин, осторожно устроившись рядом, всю ночь бережно ее обнимал. Он был счастлив, и это мешало ему заснуть, так что забылся ненадолго лишь под утро, когда дворник зацарапал лопатой, расчищая дорожку вокруг общежития.

Глава 4

Это было счастливое лето.

Никто бы не узнал прошлогоднюю Олю. Она и сама не заметила, куда последние граммы горя подевались, но больше не ощущала его тяжести. Все-то удавалось ей, все-то спорилось в руках, словно у сказочной Василисы.

Для Борислава и Яна институтские умельцы с радиотехнического факультета перепаяли приемник, и любвеобильные иностранцы, забыв про своих воздыхательниц, восторженно ловили в эфире голоса Пражской весны. Иностранная тройца приехала на год, времени доучиться в Москве оставалось всего ничего.

Таня была по-прежнему обижена на сестру. Она старалась как можно реже бывать у молодых. Отговаривалась то учебой, то общественной нагрузкой, то мальчиком Толей, который как-то незаметно стал числиться в женихах.

— Оля, почему твоя сестра все время злобится? — недоумевал Мартин.

Оля машинально поправляла:

— Злится. Правильно говорить — злится.

Она не знала, что ответить Мартину. Танино раздражение — единственное, что омрачало сейчас их безоблачную жизнь.

Сессию Оля сдала на «отлично» — по-другому она не умела. Но и без всякой сессии был у нее миллион дел. Мартину на следующий год надо было как-то остаться в Москве. А значит, следовало ехать в Прагу улаживать формальности. Да и жену пора было познакомить с семьей. Вот и бегала Оля, собирая документы, — процесс в любые времена довольно назойливый, а в советские — как-то по-особому трудоемкий. В итоге столько потеряли времени, что осталась на все про все неделя в конце августа. Ехать предстояло в двухместном купе, совершенно истощив семейный бюджет.

К поездке Оля готовилась весело, хотя и не без оглядки. Чужая страна представлялась смутно — сон ли, морок: зыбкое что-то и ускользающее.

— Как там у вас? — пыталась она мужа.

А он только смеялся:

— Все как здесь, только меньше.

Оля не понимала. Как же это меньше? Семья Мартина целиком занимала двухэтажный дом в Кралупах-над-Влтавой. Конечно, их было вон как много: во-первых, мама с папой, во-вторых, старшая сестра Анежка с детьми, в-третьих, дед Яхим, папин отец. Был еще убежденный холостяк дядя Томаш, папин младший брат, который заезжал в год раза по два, потому что был строитель и вечно мотался с объекта на объект. Но все равно. У них в Военграде в двухэтажном каменном особнячке жило шестнадцать семей. А тут вдруг — на семью целый дом. Он никак не умещался в ее советской социалистической голове. Оля подозревала, что Мартин привирает. А он смеялся:

— Дом маленький, а нас много! Сама считай!

При старом режиме дом принадлежал Яхиму и его покойной жене, а до того — отцу Яхима. По семейной легенде, тот построил его почти в одиночку. В первом этаже раньше держали небольшую продуктовую лавочку и пивницу. В золоте не купались, но на жизнь выходило достаточно, потому мальчикам, Миреку и Томашу, успели дать образование и нанимали даже гувернантку. При немцах гувернантку пришлось рассчитать, пивница прогорела, магазинчик едва теплился, но ничего, справились и с этим. При новой власти и лавочку, и пивницу национализировали. В первом этаже дома и сейчас остались магазинчик и небольшой кабачок, но там заправляли другие люди, а дед Яхим по ночам сторожил — такая у него теперь была работа. Родители Мартина каждый день ездили на службу в Прагу, Анежка работала парикмахером, а близнецы ее, Ян и Янка, ходили в школу.

— Получается, бабушка на первом этаже, в комнате около магазина, — перечисляла Оля, загибая пальцы. — На втором мама и папа. И... сестра... с близнецами... — Оле никак не давался правильный звук на границе «ш» и «ж», который сидел в середине имени, и Анежку она называть стеснялась. — И дядя Томаш, когда он приезжает. А ты под крышей?

— А я — под крышей, — Мартин обнимал Олю и целовал в щекотную пружинку непослушного локона.

Она заранее учила новую семью, чтобы за неделю в Кралупах успеть полюбить ее. Запоминала, как азбуку или таблицу умножения, и немножко боялась, как ее встретят. Таня с ревнивым неудовольствием помогала купить подарки новым родственникам. Как Оля была готова их заранее полюбить, так же Таня готова была их заранее обвинять.

— Я тебе курточку привезу, — обещала Оля примирительно и гладила старшую сестру по рукаву. — Ну! Не злись!

И Таня чуть оттаивала — против чехословацкой курточки было не устоять.

Мартин меж тем боялся — не хуже Оли. Единственный раз обманул он жену. Но каков обман! Мартин не признался родственникам, что женился. Ни маме с папой, ни деду Яхиму, ни даже непутевой Анежке, у которой вечно ветер в голове. И пока Оля бегала за подарками, стояла в полноводных московских очередях, пока учила чужие трудные имена, Мартин тоже перебирал эти имена в уме и прикидывал, что Яну и Янке новый человек всегда интересен, что дед Яхим старый и мудрый, а мама, даже если Оля совсем ей не понравится, виду не подаст — не то воспитание, что Анежка, пожалуй, удивится, дядя Томаш едва ли окажется дома, но вот отец... Потому и молчал про женитьбу. Струсил.

Мирек Вранек, мелкий служащий чешского национального банка, людей не то чтобы не любил — не уважал. Не было для него во всем большом мире ни одного авторитета. Ни политика, ни ученого, ни спортсмена — никого. С самого рождения он верил, что достоин в жизни всего самого большого — денег, связей, дома, должности. Ради этого он готов был рыть носом землю. Но сначала пришли немцы, потом коммунисты — и оказалось, рой не рой, ничего не добыешься. Не то что большого, даже элементарно достаточного. Оттого Мирек очень не любил новую власть. Очень. Своего недовольства он не афишировал — ищите дурака, однако родным доставалось изрядно раздражения, которое копил в себе Мирек Вранек — человек, рожденный для лучшей доли.

Михаэла, взятая в тридцать шестом из деревеньки Лисовице, была словно бы создана для того, чтобы ею помыкать. Ей было всего семнадцать, и она не смела слова сказать Миреку поперек, а когда совсем становилось тяжело — плакала в уголке. Родилась Анежка, в которой Мирек души не чаял. Он много учился, еще больше работал, и будущее казалось ему радужным. И только он поверил в свою счастливую звезду, как явились немцы. Пришлось, вместо того чтобы развиваться и процветать, поджиматься, бояться, унижаться — и много других неприятных «-ться».

Пивница разорилась, лавочка едва теплилась, но Мирек тогда еще не отчаялся — он стал работать и учиться еще яростнее, он тащил на себе умирающий семейный бизнес, и в какой-то момент казалось — вытащит. Не тут-то было — Михаэла оказалась опять беременна. Едва Мирек смирился с тем, что быть ему дважды отцом, как любимую девушку Томаша угнали в Терезин — и Томаш сделался невменяем. Томаш тогда впервые уехал из дома — не уехал, бежал — в Соппротивление; бежал и грозился, что до последней капли крови будет биться с проклятыми оккупантами, и клялся всеми святыми найти, спасти... и пропал, ни ответа ни привета. Скоропостижно умерла мама — Мирек винил Томаша. Дед Яхим на какое-то время вовсе перестал разговаривать. Михаэлу постоянно тошнило — не поймешь, от беременности или от нервов,

Анежка мучилась бронхами, копились долги — и Миреку казалось, что весь мир на него ополчился — за что?! А когда напряжение стало такое, что аж в воздухе искрило, — тут и появился Мартин Вранек. Такой хиленький, крикливый. Появился — и против здравого смысла выжил, хоть в первые дни на ладан дышал. Семья лишилась последних сбережений.

Мирек никогда и никому бы не признался — но так и не сумел полюбить сына. Сколько помнил себя Мартин — между ним и отцом всегда ощущалось напряжение. Как силовое поле, которое не дает объектам приблизиться друг к другу и соприкоснуться. Как будто плюс подносишь к плюсу, а минус к минусу. Когда Мартин вырос, оно приобрело вид так называемого «конфликта поколений». Мирек ненавидел новую власть. Мирек пообещал проклясть сына, если тот сунется в компартию. А уж когда выяснилось, что Мартин едет учиться в СССР... даже вспоминать не хочется. И к этому человеку в дом Мартин вез молодую жену. Пусть всего на неделю...

В день отъезда хмурая Таня пришла к поезду, всем видом давая понять, что делает это лишь по сестринской обязанности. Сунула Оле курицу в промасленной бумаге и кулек с вареными яйцами. В глаза не смотрела. Мартина избегала. За спиной у Тани болтался неприкаянный Толя. В прощании он не участвовал, только вещи к вагону поднести помог и теперь переминался, не зная, чем себя занять. Поезд громко вздрагивал. Оля жалась к Мартину, но ловила осуждающий взгляд сестры и осторожно, чтобы не обидеть мужа, отстранялась — начинала копаться в сумочке, лихорадочно пересчитывая документы. Советский паспорт был сдан, а вместо него выдан заграничный, новенький, в резко пахнущей негнущейся обложке; Оля старалась его лишний раз в руки не брать, словно боялась измарать новенькие странички.

Было душно, собирался дождь, уже рокотало где-то за вокзалом. Порывистый предгрозовый ветерок выхватывал из-под ног случайный мусор и волок по платформе.

— Напиши, как доехала! — говорила Таня строго. Оля послушно кивала.

Проводники стали скликать пассажиров по вагонам — и наконец-то избавили компанию от неловкости, в которой она барахталась битый час. Толя легко подхватил чемодан, отстранив растерявшегося Мартина, и первым полез в вагон. Проводница закричала вслед:

— Мужчина! Провожающий! Вы куда?! — да толку-то. Толя еще не привык, чтобы к нему обращались «мужчина», — так и долетел до купе и водрузил чемоданного монстра промеж полками.

Тронулись. Оля стояла в проходе напротив купе и смотрела на Таню, которая, уже отвлечшись от поезда, отчитывала Толю и тащила за рукав — а потемневшее небо набухло, и на мутном стекле появились первые неровные росчерки. Мартин в купе воевал с багажом.

— Уезжать в дождь к счастью! — сказали у Оли за спиной. Оля обернулась и отступила, пропуская попутчика.

Окно было густо заштриховано водой. Платформы уже не было, только рельсы перебегали друг другу дорогу, сливаясь и расходясь. Оля не видела, как, оставив в покое несчастного Толю, старшая сестра замерла под дождем и смотрит вслед уходящему поезду.

Мартин наконец отвоевал у чемодана немного пространства. Разогнулся, помял натруженную поясницу.

— Что он сказал, Оля? Этот... муж. Дядька. Про дождь?

Слово «дождь» не получилось, вышло мягкое «дешть». Оля улыбнулась и, привстав на цыпочки, чмокнула Мартина в нос.

— Дождь в дорогу — добрый знак.

Мартин крепко обнял Олю, серьезно посмотрел в глаза:

— С тобой все — добрый знак.

Она подумала, что сейчас подходящий момент рассказать о важном, но тут в купе вдвинулась дородная проводница и потребовала билетики. Мартин и Оля от неожиданности шарахнулись друг от друга, точно женаты не были, и смущенно расселись по своим полкам.

— Ну! — напомнила проводница раздраженно.

Оля, спохватившись, зашарила в сумочке.

Стоило проводнице выйти и задвинуть за собой дверь, оба покатались со смеху. Мартин надул щеки, скорчил рожу — вышло похоже. Оля опять прыснула. Говорить о важном не хотелось, а хотелось хохотать и дурачиться. За окном сверкнуло и шарахнуло — но и это вышло празднично и радостно.

— Как на параде, — прошептала Оля восторженно. Мартин ее не понял. — Есть хочешь?

— Оля, я всегда хочу есть.

И она зашуршала кулками, разворачивая курицу, доставая яйца, хлеб, помидорки, какие-то непрошибаемые пряники — все, что было припасено в дорогу. И сама вдруг почувствовала зверский аппетит.

Ночью каким-то чудом уместились на одной полке. Оля, уставшая за день, крепко спала, уткнувшись носом в холодный пластик купе, а Мартин крепко держал ее за талию и, стараясь не разбудить, целовал в плечо — ему не спалось.

Сколько он себя помнил, ни разу не удалось угодить отцу. Неважно, что это было — фанерный ли самолетик, сделанный своими руками, высший ли балл в школе. Как бы ни был тот самолетик красив, обязательно находился изъян — неровная линия спила, щепочка-заусеница, слишком густая капля краски... Он помнил... до сих пор помнил чертов самолетик, как папа брезгливо вертит его в руках, перечисляя недоделки, а потом говорит насмешливо: «Что ж, посмотрим, как он летает!» — и самолетик уносится в распахнутое окно. Комната Мартина под крышей, и он успевает, едва не сбив отца с ног, подскочить и перевеситься через подоконник, где кувыркается беспомощная деревяшка, крутится, точно кленовый пропеллер, и разбивается о мостовую — крылья в стороны, хвост, все разлетается, как от взрыва, а отец за спиной... он смеется... он смеется, согнувшись, хлопая себя по коленкам... Мартин летит вниз по лестнице, мимо растерянной мамы, мимо удивленной Анежки, в каморку Яхима — и там дает волю слезам, подставив под теплую дедову ладонь светлую макушку.

Он тогда починил самолетик, дед Яхим. Повесил на нитку под потолком. Но Мартин все равно не забыл. А оценки — что оценки. Хорошая была недостаточно хороша, потому что не была отличной, отличная — недостаточно хороша, потому что не по всем предметам, а уж если все отличные — так нынче разве образование? Тьфу, а не образование.

Так и жили. Повзрослев, Мартин запретил себе оглядываться на отца. Только все равно оглядывался — ничего не мог с собой поделаться. Теперь он лежал, грудью ощущая, как ровно поднимаются и опускаются во сне Олины острые лопатки, и боялся — что-то будет? Что скажет отец?

Мартину хотелось думать, что Оля ему все-таки понравится — она немного напоминала маму Михаэлу, особенно когда поворачивалась и весело смотрела через плечо, и она была живая, приветливая — все ее любили. Но чем меньше оставалось до дома, тем больше сомневался. Он жалел, что не оставил Олю в Москве. Подумаешь, неделя. Он бы быстренько съездил домой, уладил вопрос с университетом и вернулся. И отец не узнал бы про Олю, а Оля не узнала бы, что отец о ней не узнал. Но теперь поздно было что-то менять. Какой же дурак!

Так и проворочался до тех пор, пока в окна не пополз молочный рассвет. Осторожно встал, стараясь не потревожить жену. Рука, на которой пролежал почти всю ночь, затекла и теперь больно оживала — как будто внутри зашили по всей длине огромную игольницу.

Поезд шел среди полей, окуренных утренним туманом, из которого вдруг выдвигались кусты, вышки, сараи какие-то невнятные, мелькнула и утонула в туман речка, взамен вынырнула между безногих деревьев и пошла впритык к железной дороге грунтовка, запятнанная парными лужами, остался позади грузовик с беззвучно подпрыгивающими бидонами. Оля заворочалась и перевернулась на спину, но не проснулась. Лицо ее было по-прежнему безмятежным, совсем детским. Дурак! Дурак!

Мартин присел на соседнюю полку и прикрыл глаза. Стал опять думать об отце и сам не заметил, как задремал.

Разбудила его Оля. Он лежал без подушки, раскрытый. Был уже день, туман рассеялся, и солнце высоко стояло в безоблачном небе. Взъерошенный Мартин сел, растерянно улыбнулся, и она доверчиво примостилась рядом. Оба замерли и так сидели — это был хороший момент. Оля опять подумала, что самое время сказать о важном, и даже успела произнести «Мартин, послушай», — но опять сбила проводница. Она шумно шла по проходу, ударяя в двери (кулаком? ногой? звук был такой резкий, что Оля решила — все-таки ногой), и выкрикивала, визгливо растягивая гласные: «Га-а-асуда-а-арственная гра-а-аница! Га-а-атовим да-а-акументы!» Мартин и Оля переглянулись и рассмеялись — совсем как вчера вечером. И совсем как вчера вечером, момент был упущен.

Потом поезд «переобували». Оленька наблюдала через окно, как расцепленные вагоны плавно едут вверх, как под вагонами ловко шуруют люди в промасленных робах — и катятся, катятся отпущенные на волю колеса, собравшись в длинную гусеницу, а на ее место уже ползет, громко перестукиваясь, другая. Оля замерла, приоткрыв рот, глядя внимательно и удивленно, и Мартин с любовью смотрел на ее детский профиль. Дурак! Да пусть отец хоть убьется, пусть хоть связки надорвет — Мартин не даст ее в обиду. Хватит. Ему уже двадцать четыре. Пора взрослеть. Это его жизни! Теперь все серьезно.

Он, измученный бессонницей, проспал почти весь день. Вагон болтало из стороны в сторону. Оля пыталась читать. Третий том Толстого, который взяла она в дорогу, был почти целиком о войне, и эта пальба, эти раны и доктора в окровавленных фартуках никак не лезли в голову, а князя Андрея было жалко до слез. Она еще пару страниц поборолась с собой — до «поля сражения, покрытого трупами и ранеными», и захлопнула книгу. В горле стоял сладкий комок. Окно не открывалось, и воздух в купе сделался душным; под волосами было горячо и влажно, по вискам, по шее катились жгучие струйки пота. Мартин не просыпался. Прилегла, делать нечего, и она — буквально на минуточку, да так и заснула в горячей люльке вагона, чтобы проснуться уже на рассвете, с печатью

подушки на щеке, с мокрой спиной и тяжелой головой, которая не сразу сообразит, где Оля и зачем, и куда едет.

Когда она открыла глаза, Мартин сидел за столиком и усердно ковырял перочинным ножом консервную банку.

— Очень прочные советские консервы, — сказал он серьезно, протягивая злополучную тушенку сонной растерянной Оле. — Нужен топор. Или бомба.

Несчастливая банка вся была исколота по периметру крышки — но непобедима. Оля улыбнулась, отобрала ее, а взамен выдала Мартину пачку печенья и большое красное яблоко.

За окном, в рассветной дымке, золотой и розовой, ползла колонна танков. Они тоже были золотые и розовые и казались игрушечными. Мартин, проследив за ее взглядом, сказал: «Учения, наверно», — и откусил сразу половину яблока. По подбородку потек сок. Оля, как фокусник, достала из воздуха белый платочек и промокнула мужу подбородок. Мартин засмеялся, поймал ее руку и, разжав, поцеловал ладонь. Колонна все тянулась, как будто танки были связаны невидимой ниткой.

— Папа такие делает, — улыбнулась Оля.

— Консервы? — не понял Мартин.

— Танки. На нашем заводе. В городе, где я родилась.

— Добре, — сказал Мартин уважительно и снова захрустел яблоком.

— Мартин, послушай, — начала Оля — и в третий раз была прервана пронзительным голосом проводницы.

— Пребываем на Прагу-Смихов! Белье сдаем! — кричала она.

«Да что же это!» — озлилась Оля и решила продолжать во что бы то ни стало, но Мартин отвлекся.

— Смихов? Почему вдруг Смихов? Должны были на главный вокзал. Пойду узнаю. — И он вышел, оставив Олю на полуслове. А когда вернулся, она обиженно собиралась, не глядя в его сторону.

— Оля! Не имей злости! — примирительно сказал он. — Смихов — это лучше. Смихов — это везение. Мы сядем в другой поезд и через тридцать минут будем в Кралупах!

Часть 2

Пани Вранкова

Ольга сразу узнала сестру и помимо воли вместо «здравствуй» спросила испуганно:

— Tanecko, co se stalo?¹

Трубка растерянно забормотала извинительное «не туда попала» — и пошли короткие гудки. Когда она стала думать по-чешски? Ольга не помнила. Она училась постепенно и сначала только слушала, потом стала понимать — но говорить стеснялась. Собирала фразу в голове — и очень боялась ошибиться. Боялась и стыдилась, и чувствовала себя постоянно виноватой — как будто

¹ Танечка, что случилось? (чешск.)

лично привела сюда все эти танки. Иногда она думала: лучше бы или хуже отнеслись к ней, не скажи она про отца, про танковый завод? Ей проще было держать на собственных хрупких плечах всю национальную вину, чем признать очевидное: свекор ее, Мирек Вранек, мизантроп, а все Олины «грехи» — лишь повод дать волю этой мизантропии, не потеряв лица. Но — дело прошлое, Мирека давно нет. Ольга повертела в руках трубку и опустила на рычаг. И тут же телефон зазвонил снова.

— Танечка, здравствуй! Что случилось? — спросила Ольга уже по-русски.

— У тебя акцент, — сказала Таня вместо приветствия.

Помолчали. Что тут возразить? Действительно, акцент. Дети выросли, уехали — и говорить по-русски стало не с кем. Мартин где-то между рождением Карела и Зденека (кажется, в семидесятом) принципиально перешел с женой только на чешский. Он был романтик. А романтиков нельзя разочаровывать — они этого не прощают. Его коммунистические идеи сошли на нет в краткий промежуток от ввода войск до начала тотальной слежки всех за всеми, и он возненавидел все советское так же люто, как раньше любил. Он бы и детям запретил, если бы мог.

Таня права — акцент. И слова — Ольга понимала не все слова, которые сбивчиво и раздраженно произносила старшая сестра. Она ее вообще не очень поняла. Только то, что у Тани какая-то большая неприятность и нужны деньги, чтобы все утрясти. А еще поняла, что сестра нездорова и несчастлива. И — в который уже раз! — почувствовала себя виноватой.

Глава 5

Ольга вывела велосипед из гаража и раздумывала, спуститься к велотропе или ехать по шоссе. Из-за поворота вылетела яркая группа велосипедистов. Они шли на высокой скорости — и вот уже пестрые кофты и белые шлемы замельтешили перед глазами.

Стремительные велосипедисты были пожилые немецкие джентльмены, может быть, постарше Ольги. Она знала, что не догонит их. И про немецкую моду на электропривод знала. Но все равно было стыдно за свою тихоходную технику на трех колесах. Про себя она называла этот велосипед «старческим». Его подарили дети, и поначалу Ольга была в бешенстве, неужели эти поросята считают ее немощной бабкой?! Год подарок пылился в гараже, Ольга упрямо ездил на старом горном, пока не завалилась — под горочку, с ветерком — и не повредила два ребра. После того случая Мартин горные велосипеды из дому свел, а Ольге сказал: либо этот, трехколесный, либо вон у тебя машина, хоть ты ее и не любишь, либо ходи пешком до самого Мельника, что тебе, такой бодрой и здоровой, двадцать несчастных километров. Пришлось смириться.

Но полюбить этот велосипед Ольга не любила — слишком напоминал о возрасте. Иногда она выбиралась на этом монстре на велотропу, но не могла избавиться от ощущения, что все глазеют с жалостью и насмешкой, и она стала ездить в Мельник по шоссе — в правой полосе, отведенной на аварийные нужды.

Держать кафе в Мельнике Верушка с мужем и Карел затеяли в конце девяностых. В Праге аренда была неподъемная, а в Мельнике, где не так много туристов, вполне по карману.

— Погодите, еще будет очень популярное место! — заверял дядя Томаш. И оказался прав.

Доходы подрастали, посетителей становилось все больше, особенно немцев и русских. Немцы шли по веломаршруту от Берлина куда-то в Румынию и с удовольствием останавливались в тихом местечке полюбоваться, как сливаются Влтава и Лаба. Они были веселые, бодрые, немолодые. Заказывали много еды и жадничали на чаевых. Русских выгружали на центральной площади автобусами и гнали в замок: там, за неимением более достойных красот, вечно проводились какие-то малозначительные выставки. Но этим, небалованным, хватало — кто побогаче, Восточной Европой интересовался не очень, а кто приехал на шопинг, обычно не высовывался из Праги. Так что контингент был чисто туристический — мир посмотреть, себя показать. Русские ударили больше по пиву и стандартному набору национальных блюд, поэтому для них мариновались каждый день по три-четыре «вепровых колена». Чаевых не жалели — а уж когда узнавали, что Верушка и Карел по материнской линии земляки и соплеменники, тут же начинали выворачивать наизнанку «русскую душу» — пересказывать ужасное о политике и жаловаться на нерадивую родину-мать.

Держать кафе придумали Верушка с мужем, а Карел только поддержал — младшая сестра застала его в тот период, когда он не мог пристроиться ни к какому делу. Думал, кафе — это временно. Потом втянулся, хоть и был на подсобных работах, а рулил зять. Ольга навещала детей раза два в неделю. Рвалась помочь по хозяйству, нянчилась с внуками — но старалась не надоедать. Понимала.

Средний, Зденек, пошел по стопам неугомонного Томаша. Дядя Томаш оставил Зденеку свой небольшой бизнес в наследство, и Зденек строил теперь коттеджи где-то на границе с Австрией — Ольга с ним редко виделась. У него тоже была семья, дети. Только старший Карел какой-то оказался непутевый. Что «за сорок» он так и не женился — это была Ольгина вечная боль. Как же так?! Ведь и красивый, и добрый, и неглуп, и даже не очень ленив...

Ольга медленно выехала на шоссе, и теперь ее обгоняли фуры, летели мимо редкие легковушки. А она потихонечку крутила педали, с трудом вкатывая своего неповоротливого коняшку на малые горки и замирая на поворотах, но упрямо двигалась вперед — она срезала по трассе километров шесть, куда было торопиться?

Подъем закончился, по левую руку потянулись зеркала солнечной электростанции. Можно сказать, ее построил Мартин — их фирма ставила и обслуживала такие по всему Среднечешскому краю. Хоть эта его мечта сбылась. Зеркала были засеяны, насколько хватит глаз, точно гигантские подсолнухи, — и в этом не ощущалось никакой механики.

Но и зеркала кончились, потянулись поля, по-весеннему пустые. Ольга ехала и думала о своем. Левое колено поначалу болело, но теперь ничего, разошлось — и больше не мешало вспоминать.

Первый день в Праге запомнился смутно. Поезд долго полз в черте города — крался и замирал, точно выслушивал дорогу. Мартин как ушел к проводнику, так и стоял там в окружении других чехов — и с той стороны слышалась невнятная многоголосица на двух языках. Вещи были собраны, и Оля сидела, упершись худыми коленками в прохладный бок чемодана. Она смотрела

за окно, где неспешно скользили нарядные пражские дома. Выглянула в коридор, среди других затылков увидела затылок Мартина. Вздохнула. Расправила примятый подол и опять стала смотреть за окно. Поезд нехотя выкатился на мост и поплыл над рекой, замелькали внизу крошечные белые лодочки.

Дверь купе с грохотом отъехала, в проеме появился муж.

— Мартин... — опять начала Оля — и опять не успела ничего сказать.

— Собирайся! — велел он коротко и поволок в коридор чемодан, проехав Олю по ногам. Больно — и обидно до слез.

На вокзале он оставил ее и велел никуда не отходить. Его не было довольно долго, и Оля, присев на краешек безразмерного своего багажа, чувствовала, как припекает затылок. Вокруг сновали люди, бежали по платформе разносчики, размахивая газетами. Поезд, высадив пассажиров, утонул куда-то. После московского вокзала этот казался Оле игрушечным — такое все вокруг было компактное и аккуратное, не вокзал — макет музейный. От голода и жары мутило. Хотелось лечь и вытянуть ноги. Зашуршав кулками, она выудила теплый, слегка примятый помидор и стала посасывать в надежде унять тошноту. Хорошо было бы соли, но соль запропастилась куда-то. Заныла спина, отяжелела голова, и уже не хотелось смотреть по сторонам, как ни любопытно казалось новое место. Мартин появился сзади — и немного напугал. Не обнял, не поцеловал, а лишь скользнул встревоженным взглядом и схватился за чемодан — она предусмотрительно отступила, давая дорогу.

Хоть собирались вроде бы ехать опять на поезде, пробирались сквозь вокзальную сутолоку на улицу, и Оля едва поспевала за мужем. А он шел, как ледокол через Арктику, выставив чемодан углом вперед. Выбрались и поймали такси.

В городе оказалосьлюдно и лихорадочно. Все, кого наблюдала Оля за окном, были оживлены и, казалось, бежали куда-то. Клеили на стендах забавные какие-то карикатуры, машины гудели на разные голоса, и через опущенное стекло доносились обрывки речитатива репродукторов. Она подумала — наверное, какой-то праздник. Людей было много. У них были флаги. «Протест» же, «демонстрация», «оккупация», «вторжение» — все это были слова из другого мира. Оля прижалась к Мартину, положила голову ему на плечо и почувствовала, что оно, всегда такое уютное, отчего-то сделалось каменным. Мартин не отстранился, но и не обнял в ответ. Он сидел как истукан и смотрел перед собой. Стало больно шее, и Оля снова выпрямилась, глянула вопросительно.

— Потерпи, — пробормотал он виновато, — скоро приедем.

Водитель обернулся и зло зыркнул на Мартина. Мартин сказал по-чешски длинную непонятную фразу.

— *Manzelka*¹, — усмехнулся таксист презрительно. И, метнув на притихшую Олю колющий взгляд через зеркало заднего вида, прибавил несколько слов, которых она тогда не поняла, а сейчас не решилась бы повторить в приличном обществе.

Кровь бросилась Мартину в лицо. Он подобрался, заходил желваками, сжал кулаки — но ничего не сказал. Так и ехали всю оставшуюся дорогу — молча. До самых Кралуп.

Выгрузились у аккуратного двухэтажного домика. Он действительно

¹ Жена (*чешск.*).

выглядел совсем небольшим — и читалась в нем какая-то хрупкость и робость. Мартин сердито расплатился с шофером и выволок из багажника чемодан. Машина с визгом развернулась и уехала, пыхнув прямо на Олю горьким выхлопом. Замутило. Она стояла посреди улицы и сообразила сойти на обочину, только когда вдалеке загудел грузовик. Он прошел вперевалку, пыля и лязгая, между Олей и Марином, стоявшими по разные стороны дороги, — точно хотел отделить друг от друга.

Мартин растерянно смотрел на окна дома.

— У тебя такой вид, точно ты собираешься нырнуть с трамплина и боишься, — сказала Оля со смехом.

Мартин удивленно обернулся. Он не понял, опять не понял. Такой простой шутки. Проклятый языковой барьер! «Пора!» — подумала Оля и решительно перешла дорогу. Взяла Мартина за руку.

— Мартин. У нас будет ребенок. Совсем скоро. Уже весной.

И почувствовала боль — почти физическую, потому что Мартин — он отшатнулся. Пусть всего на полсекундочки, но она ощутила всей кожей его невольный шаг назад и страх во взгляде, и как же так?! Он ведь сам хотел!..

А потом отпустило. Мартин бережно прижал Олю к себе; она уперлась носом куда-то в ключицу, дышать сделалось нечем, — но оно того стоило, потому что лучше не дышать, чем этот холод, не дышать она была еще согласна, а того холода точно бы не выдержала.

Мартин разжал объятие; поцеловал Олю, взял за руку; поднял чемодан. Они пошли в боковую калитку — и через мгновение дом ожил, разбуженный настойчивым звонком. Оля слышала, как катится громкий дребезг внутри, как начинают хлопать двери и женский голос кричит что-то, и как от этого крика зарождается и нарастает стремительный топот, на волне которого выносит на порог хохочущих Яна и Янку. Все это она помнила очень подробно, а то, что началось несколько минут спустя, вспоминать, наоборот, не любила. И не вспоминала — как будто внутри предохранитель срабатывал...

Велосипед плелся в полосе аварийного отстойника, пока не уперся в измызанную фуру, нервно мигавшую о поломке. Кабина была опущена долу, и вид у фуры был покорный и виноватый. Ольга невольно улыбнулась. Она примеривалась, как бы объехать неожиданное препятствие. Но, как назло, по ходу движения неслись машины, и объехать фуру по дороге Ольга не решалась. А справа колыхалась уже достаточно высокая трава, и насыпь резко ухала вниз.

Из-под кабины вынырнул включенный парень, чуть насмешливо глянул на Ольгу, робко выглядывающую из-за серой коробки рефрижератора, скользнул взглядом по ярким велоперчаткам, по велошлему.

— Пани гонщица? — спросил он весело.

Ольга рассердилась было, но тут же и улыбнулась. Правда, забавны эти детальки прошлой стремительной веложизни. Формально перчатки были вообще не нужны, она надевала их, чтобы спрятать набухшие вены, желтые пигментные конопushки, которых становилось все больше, голубоватую кожу, тоненькую, как гофрированная бумага. А шлем — что шлем? Тоже ведь лучше, чем какая-нибудь приличная возрасту панамы.

— Пани несется быстрее ветра, — ответила она в тон, — когда путь ее не преграждают досадные мелочи. — И она выразительно обвела взглядом фуру.

Водитель расхохотался:

— Если скорость пани так же хороша, как ее шутки, то я бы, пожалуй, не рискнул соревноваться.

Подошел, легко закинул драндулет на плечо и без страха пошел по проезжей части, а благодарная Ольга засемила следом, невольно шарахаясь от пролетающих мимо легковушек. На холме уже маячил замок Мельник.

— Дики¹, — сказала она весело.

И водитель отозвался в том духе, что всегда пожалуйста и приятно встретить на дороге пожилую леди, если она пребывает в добром здравии и хорошем настроении.

Он опять полез под машину, а Ольга села на свой тихход и двинулась дальше. Время было к обеду, внуки скоро должны вернуться из школы. Да и Верушке помочь. В обед самые посетители.

Забавная штука память. И совершенно необъективная. Один (такова была Таня) копит воспоминания только дурные, как будто специально сдирает подсохшую корочку жизненных болячек, другой, вроде Ольги, любит вспоминать только о хорошем. Кто из них более раним? Может быть, вторые. Оптимисты, избегающие боли. Возможно, дело вовсе не в том, что они не хотят ее терпеть. А в том, что не могут. А первых, двужильных, боль воспоминания делает только сильнее.

Она помнила — Ян и Янка. Они вылетели на порог, отталкивая друг друга, и шумно повисли на руках у Мартина, и каждый тянул в свою сторону, как будто близнецы собирались его разорвать. А Мартин со смехом отбивался — и не позволил Яну тащить злополучный чемодан, и вдвоем с сестрой тащить все равно не позволил — тяжело! Оля робко стояла в стороне и ждала, пока ее заметят.

Из дома, вытирая руки о полотенце, вышла молодая женщина. Анежка, — догадалась Оля. Анежка по-хозяйски отогнала близнецов полотенцем — те смешно уворачивались — и обняла брата. И только тогда, через плечо, бросила на нее вопросительный взгляд.

— Анежка, знакомься, — четко произнес Мартин по-русски. — Это Ольга. Пани Вранкова.

Анежкины бровки поползли вверх — но это было веселое удивление, совсем не агрессивное. Она всем видом словно бы говорила: «Надо же, малыш Мартин женился!»

Так стояли и рассматривали друг друга. Близнецы громко шептались. Они тоже глазели на Олю, и это ее смущало. Она старалась спрятаться у Мартина за спиной — а он нарочно отступал: вот, мол, какая у меня жена.

Оля отметила, что на Анежке не халат, а короткое платье с пояском. И прямо поверх повязан кухонный передник. Платье было красивое, и Оле сделалось обидно, что такую нарядную вещь прячут под передник. Но додумать она не успела. Потому что в дверном проеме появился Мирек Вранек.

Дальнейшее вспоминалось обрывками. Отчетливо помнилось только то, что сначала сделалось очень тихо, а потом — очень громко. Проносились в голове пунцовые щеки Мирека Вранека, его распяленный рот, брызжущий слюной, его

¹ Спасибо (чешск.).

взлетающие в возмущении кулаки, его мощные ноги, топочущие в приступе бессильной ярости, — и одно только слово — *vyradni*¹.

— *Vypadni!!! Vypadni-vypadni-vypadni!* — кричал Мирек Вранек и топал ногами, и сжимал кулаки, и, честно сказать, мало походил на человека, а скорее, на какого-то бабуина, исполняющего брачную пляску.

То есть, конечно, на самом деле все было не так. Сначала были (наверняка ведь были) приличные случаю приветствия и объяснения, кто Оля и откуда, и уж только потом начался приступ животной ярости, который Оля больше сорока лет непроизвольно держала в уме, всеми силами стараясь забыть, — начался по совокупности причин, каждая из которых достойна была отцовского гнева, а уж собранные вместе, да в такой день, когда столица неожиданно проснулась, занятая чужими войсками... Оля по-человечески оправдывала Мирека и никогда не держала на него зла за ту сцену, однако так и не смогла почувствовать его родным... где-то на донышке всегда плескался тот первый ужас.

Vypadni-vypadni-vypadni! — И Оля выпала из реальности, выключилась, как лампочка, когда перегорает вольфрам. Туман. Туман.

Она не помнила, кто спас ее тогда. Кажется, Яхим... Он появился откуда-то со двора, Оля не поняла, в какой момент — только смутными кадрами мелькало, как он толкает сына в мясистую грудь — как будто отбивает волейбольный мячик — и говорит... что говорит?... А может, это была Михаэла... Нет, только не Михаэла, она в тот день работала в обычном графике, а вот Мирека отпустили, вернее, практически выставили с работы без объяснений, об этом позже рассказал Мартин... или не Мартин, а Анежка... или даже Томаш, он в те дни тоже был в Праге и, конечно, заехал домой... а может, Ольга опять что-то путает, потому что память — слишком ненадежный накопитель информации, вечно из него выбивает гигабайты и гигабайты фактов... но как бы там ни было, а к вечеру злополучного дня Оля нашла себя рыдающей в подушку в комнатке под крышей, в объятиях растерянного Мартина, шепчущего слова утешения.

Она боялась поднять взгляд. Даже родные руки Мартина, привычно обхватившие ее, больше не казались надежным убежищем.

Дверь приоткрылась, и в нее просунулись, одна над другой, две одинаковые стриженные головы. Проскандировали: «*Agresorka!*» — и скрылись. Дверь хлопнула, послышался веселый шепот и хихиканье, а следом дробь шагов — по лестнице вниз.

Оля отстранилась и полными слез глазами посмотрела на мужа.

— Они сказали... Оля, это совсем не обидно, правда... — пробормотал Мартин.

— Мартин. Не надо. Я поняла, что они сказали.

Она встала с кровати и растерянно заозиралась — но злополучного чемодана нигде не было видно.

— Где мои вещи?

— Вещи?

— Я уеду. Я не могу.

Мартин тоже встал. И подошел. И обнял — так что не вырваться, сколько ни брыкайся и ни выкрикивай в лицо обидных слов. И так держал — пока она прокричится. А потом сказал:

¹ Убирайся вон! (*чешск.*)

- У вас хорошая русская поговорка. Слово умеет убивать.
- Словом можно убить, — машинально поправила Оля.
- Да.
- Да. За что они меня? Мартин... за что?

За что? — вопрос почти всегда риторический. Особенно когда речь о большой политике, в которой залипают слабосильные мошки вроде Мирека Вранека. Они жужжат-жужжат, стрекочут крылышками в безысходной ярости, ан крылышки прилипли и лапки запутались, к чему же ты бьешься, насекомыш, что этой гигантской паутине твой маленький гнев?

Но кто же признает себя малой мошкой, когда рядом трепыхаются насекомые еще меньше и хилее, и как же тут не ужалить, раз выдалась возможность дотянуться... Вот и Оля... это все было обидно и больно, только гнев-то был предназначен не ей, а адресован в такие недоступные сферы, про которые потом напишут в учебниках по истории, тогда как Мирек Вранек навсегда останется неприметной цифрой в статистических подсчетах, ничего не значащей единичкой.

Но тогда зачем? Зачем обижать малую мошку, завязшую по соседству? Нет ответа. А если бы это была не мошка, а короед? Если бы это не Мартин был сыном Мирека, а Оля дочерью — и в тот злополучный день она привезла бы в отчий дом какого-нибудь Илью Муромца, косую сажень в плечах? Позволил бы себе Мирек или нет?

Спроси об этом Мирека — и он бы заверил, что позволил бы. Как иначе, коль скоро речь о свободе родины... А спроси деда Яхима? А спроси Яхима, и он бы, чего доброго, ответил: нет, не позволил бы. Кто как не Яхим знал старшего сына, со всей его мучительной трусоватостью, со всей мелочной кухонной язвительностью и тихим бессильным бунтом перед властью, кто бы ее ни представлял... Выходит, риторический вопрос? Так, да не так. Потому что это Мирек Вранек через пару лет будет строчить доносы на коллег и соседей-диссидентов, и в партию вступит как миленький, и кой-какую карьерку все-таки сделает...

Но это все произойдет позже. А пока Оля, запуганная праведным национальным гневом Мирека, желала только одного — немедленно уехать. Она не то что неделю — она и минуту здесь находиться не хотела. И не осталась бы, не прояви Мартин твердость — а он в тот день так ее держал, что аж мышцы затекли. В буквальном смысле. Пока не добился обещания потерпеть до утра, которое, «как у вас говорят, вечера умнее» — «мудренее... утро вечера мудренее...» — машинально поправила Оля, хотя была еще слишком молода, чтобы знать разницу между умом и мудростью. «Мудренее», — покорно согласился Мартин. А потом пришел, кряхтя и отдуваясь, Яхим. И она поняла, что остается.

Старый Яхим так никогда и не выучился по-русски. Не из принципа — а просто чужие языки ему не давались. Но с первого дня и до самой смерти Яхима Оля каким-то образом понимала его с полуслова. Вот и в тот раз, когда Яхим стал говорить успокоительное «ничего, дочка, ничего», Оля сразу его поняла. И чешский вариант пословицы «паны дерутся, а у холопов чубы трещат» поняла тоже.

Дед Яхим трудно опустился на кровать и смотрел на Олю снизу вверх добрыми выпцветшими глазами. Она запомнила этот момент на всю жизнь. Как Яхим внимательно смотрит, улыбаясь, а потом протягивает широкую трясущуюся ладонь — и Оля, отлепившись от Мартина, делает робкий шаг в сторону деда, в ответ протягивает ему свою худенькую ручку. Он бережно берет ее и накрывает другой ладонью — и с этого момента Оля чувствует, что она «в домике». Она помнила даже ощущение, когда рука касается руки — маленькая и холодная касается большой и уютной. «Ничего, дочка. Ничего...»

— У нас будет маленький, — говорит Мартин. Говорит по-чешски. Но Оля держится за деда Яхима и, может, поэтому понимает мужа без перевода.

— Добре! — кивает Яхим и баюкает Олину ладонь в своих.

Дверь снова открывается — тихо и робко, и в проеме возникает Михаэла. В руках у нее поднос с белым аккуратным чайничком и дребезжащими чашечками. Она несет печенье и яблоки, белые кубики сахара на белом блюде, желтые треугольнички сыра.

— У нас будет маленький, — повторяет для нее дед Яхим, и Михаэла застывает на пороге. Поднос в ее руках кренится, чашки съезжают к чайнику, сахар к печенью. Самое верхнее яблоко срывается и со стуком падает на пол.

Странно — Оля отлично помнила и это яблоко, и дребезг подноса, и немного беспомощный взгляд Михаэлы. Но совершенно не могла вспомнить, что в тот день делал Мартин? Как проявил себя в этой истории, когда вся его семья поглощена была тем, принять Олю или изгнать? Она помнила, как он звонит в дверь — обрыв — и как больно сжимает ее, не пуская уехать, а потом сразу появляется Яхим. Но что между? Когда Мирек... когда... неужели муж просто так стоял?

Долгие годы она гнала от себя эту горькую мысль — а потом не выдержала (это произошло спустя много лет, Верушка уже в школу ходила), спросила все-таки. Мартин только рассмеялся.

— Я ведь с папой даже подрался тогда. Неужели совсем не помнишь? То есть как подрался. Потрепал его слегка да убрал с прохода. Ну? Нет?..

И Оля растерянно моргала в ответ. Как же она могла столько лет держать обиду — и даже не попытаться выяснить. Глупо и стыдно.

Замок Мельник напелзал, занимая доминирующее место в пейзаже. Ольга наконец-то перекатила через мост и выбралась к подножию холма, по склону которого разбит был аккуратный садик. Лет пятнадцать, даже десять назад она долетала сюда меньше чем за час. Теперь же приходилось выбираться с самого утра, чтобы к обеду дотащиться.

Ольга, вздохнув, слезла с велосипеда. Склон был крутой — на трех колесах да на нынешних мощностях никак не въехать.

Постояла, разминая колено, расправила спину, усмехнувшись громкому хрусту, с которым расходятся позвонки, вдохнула глубоко — и повела велосипед в поводу, одной рукой упираясь в руль, другой в седло.

Останавливаться пришлось каждые пять-шесть метров. Ждать, пока успокоится разбежавшееся от старания сердце. Погода была замечательная, жара

немилосердная, оттого идти в горку было еще тяжелее. Но Ольга все равно шла. Она всегда была упрямая.

— Can I help you?¹ — спросил из-за спины низкий девичий голос с отчетливым славянским акцентом.

Ольга обернулась. Девушка была рослая, широкоплечая. Румянец во всю щеку. По плечу висела толстая светлая коса.

— Вы русская? — спросила Ольга по-русски.

Девушка заморгала. Потом сообразила.

— Jestem polka². — И тут же на всякий случай опять перешла на свой ломаный английский: — I am from Poland.

Они поулыбались друг другу.

Девушка еще раз предложила помощь, но Ольга отрицательно замотала головой — и вот уже полячка шагала высоко впереди, а Ольга смотрела вслед, собираясь с силами. Надолго остановившись в середине пути, она потеряла разгон, и, чтобы тронуться, требовалось теперь тройное усилие.

До вершины было рукой подать. Сейчас она постоит еще минуту, две минуты — и пойдет. Обязательно пойдет. Потому что дудки! Она еще не старая. Не старая!

Глава 6

Внуки с порога бросились к ней. Затанцевали, запрыгали вокруг.

— Мальчики! — строго окоротила Верушка, торопливо проходя мимо с полным подносом. — Оставьте бабушку! Ну-ка живо!

Они виновато переглянулись и выскочили во двор. В открытую дверь Ольга видела, как они селят ее трехколесного коника, и старший лезет за руль, а младший забирается в продуктовую корзинку, и вся конструкция тяжело трогается с места. «Надо бы седло им опустить», — подумала Ольга и хотела вернуться на улицу, но мимо опять зацокала каблучками Верушка, на ходу чмокнула Ольгу и скрылась в кухне, где у плиты колдовал ее муж — время было обеденное, и почти все столики оказались заняты шумной итальянской тургруппой, приходилось поторапливаться.

Ольга привычно встала за барную стойку.

Сколько лет она так же разливала пиво в Кралупах, в маленькой пивнице на первом этаже? Ой, много. Жалела ли, что не вышло получить образование? Жалела, конечно. Но когда трое детей, жалеть о чем бы то ни было не очень получается. К тому же язык. Пока была молодая, какая учеба? Говорить-то еще ладно — писать не умела. И как ни нагоняла, каждую свободную минутку тратя на учебники и словари, так и не нагнала. Пивница — она думала, это не навсегда. Просто чтобы даром хлеб не есть, чтобы Мирека видеть пореже, не слышать чтобы это его «агрессорка» сквозь зубы. Но правду говорили на родине — ничего нет настолько постоянного, как временное. Так и простояла за стойкой тридцать лет и три года.

¹ Могу я вам помочь? (англ.)

² Я полька (польск.).

В полумрак кафе вступили, неуверенно озираясь, двое — совсем дети. Оба невысокие, тощенькие. Устроились за дальним столиком. Долго изучали меню: шевелили губами, водили пальцем по строчкам. Девочка ушла в уборную, и мальчик торопливо пересчитал, выудив из кармана джинсов, монетки и бумажки. Верушка сновала туда-сюда, не обращая на испуганную парочку внимания, а те и голос подать стеснялись. Потеряшки. Жалко их было до ужаса.

Ольга взяла блокнотик, ручку и пошла к дальнему столику.

Заикаясь, собирая по крошечке весь свой английский словарный запас, заказали наконец-то два маленьких «Козела». Она терпеливо ждала с блокнотом наготове. Записала, пошла обратно за стойку. Сзади послышался торопливый шепот:

— Оля, может, все-таки еще что-нибудь хочешь?

Вздрыгнула от неожиданности. Замерла. Русские, ну конечно.

— Нет-нет-нет-нет-нет, — горячо зашептала девочка. — Совсем ничего не хочу, такая жара. Давай тебе закажем. Ты ведь голодный.

— Нет.

— Ну не ври. Голодный.

— Ну не вру.

Наверняка студенты. По карманам ветер.

Принесла им потихоньку от Верушки тарелку гренков и стаканчик с солеными орехами. Растерялись. Соврала, что положено к пиву. Подарок. Услышав русскую речь — обрадовались, затараторили. В первый раз за границей, «дикарями», чтобы подешевле. Свадебное путешествие. Так странно все и непривычно. Но нравится-нравится. Накопим денег и опять приедем!

Верушка ничего ей не сказала, а только краем глаза отмечала, как она сидит с этими ребятами, слушает, смеется — прекрасно она знала за матерью ностальгию эту и сентиментальность.

Слово за слово, выяснилось — тот самый институт, тот самый факультет. Быть не может! Точно, он! Общежитие, конечно, перевели, но главный корпус — что ему сделается. Ах, ну надо же — за семь верст уехать, чтобы встретить человека, который... не окончили? отчего такая беда? ах, замуж за чеха?! вот повезло-о-о!

Эта самая хрупкая Оля, тезка, так сказала свое «повезло», с такой завистью наивной, чистейшей... и муж ее молодой, он ведь не обиделся даже, а закивал — повезло-повезло. Ольга всегда видела это в своих соотечественниках — что в советских, что потом в российских. Не столько неуважение к своей стране (хоть и его хватало, конечно), сколько усталую обреченность: как будто дома, в России, не было ни для кого никакого будущего и быть не могло, и даже мысли, что все-таки могло бы, не возникало.

На дорогу молодоженам вынесла два багета с ветчиной. Отказывались как оглашенные, руками махали, а глаза-то голодные. Потеряшки и есть. Вышла с ними, проводила через старые городские ворота, показала, как пройти к станции.

Внуки на заднем дворе по-прежнему мучили велосипед. Гремели звонком, корзинку едва не оторвали. Ольга смотрела на них, сосредоточенных в порыве разрушения, и не могла удержаться от улыбки. Смешные. И ни на Верушку, ни

на мужа ее не похожи. А похожи на Томаша, царство ему небесное, — каким он сфотографирован в конце двадцатых.

Томаш... Она ведь из-за него не вернулась в Союз тогда, в шестьдесят восьмом. Не из-за Мартина. Не из-за ребенка. Ей, восемнадцатилетней, законопослушной, и в голову не пришло бы, что можно просто взять и остаться при муже. Поэтому, когда Мартин сказал: «Не поеду!», она даже заплакать не смогла. А только подобралась вся — и такое внутри стало ощущение, будто плечи, скулы, лопатки перехвачены стальными обручами. Услышала «Не поеду!» — и стала сама себе как чужая. Механически ела, что дают, шла, куда ведут, и только думала почему-то, как же она обратно вещи повезет, без чемодана? Их немного было: пара платьев, да кофточки, да туфли, — но ведь и это надо было упаковать, а просить у *чужих* казалось неловко. У них вон танки, а тут она еще, с пустяками. И к концу недели мысли о неустроенном багаже едва не свели ее с ума. Она уж всерьез собиралась выбросить все в контейнер за углом, лишь бы не думать об этом. А ребенок — что ребенок? Родит спокойно и одна поднимет. Не маленькая.

Тут и вмешался Томаш. Куда-то он звонил, перешучивался с кем-то, уезжал с петухами и возвращался затемно, и утром последнего дня, когда Оля, разложив свои небогатые наряды на кровати, бессильно разрыдалась над ними, вдруг оказалось, что ехать никуда не надо — все уже устроилось. Как Томашу это удалось? Одному Богу известно. Но наступившая суматоха наверняка сыграла тут не последнюю роль.

Впрочем, интересоваться, что да как, Оля стала гораздо позже — на это понадобились годы. А в тот момент, выкинув наконец-то из головы проклятые платья, она вдруг почувствовала ватную беспомощность. И с ужасом поняла, что они с Мартином не разговаривали практически всю неделю. То есть совсем. А только, засыпая, жались друг к дружке, словно мерзли, — несмотря на почти тридцать августовских градусов.

Она не представляла, как теперь вести себя с мужем. Он готов был ее отпустить. Бросить! Не потому, что разлюбил. Не потому, что оказался безответственным. И уж конечно не из идейных соображений — что бы там ни творилось в мире. Но он был такой же законопослушный балбес. Что он мог против системы? Дяде Томашу — и тому понадобились вся его энергия, все связи (и, как выяснилось много позже, почти все сбережения), чтобы не дать молодой семье разломиться по контуру государственной границы.

Мирек, конечно, был в бешенстве — которого не скрывал, а Мартин — счастлив. Той ночью Оля впервые за неделю по-настоящему крепко заснула. Ей приснилось, что родится девочка и она назовет ее Верой, в честь мамы. Вот и не угадала. Первым родился Карел.

— Ahoj!¹ — И Ольга вздрогнула от неожиданности, едва не подпрыгнула. Сильные руки обхватили ее сзади и сжали.

— Привет, мам. Как ты? — Карел весело чмокнул Ольгу в ухо.

— Дурак, напугал! — ответила Ольга. — Чуть сердце не выпрыгнуло!

А оно и правда едва не выпрыгнуло. Оно гулко и ощутимо толкалось за

¹ Привет! (*чешск.*)

грудиной — и Ольга никак не могла восстановить дыхание, хоть виду старалась не подавать, не напугать бы уже Карела.

Он смотрел сверху вниз и улыбался всем лицом — губами, глазами, кажется, бровями даже и носом. Ольга высвободилась.

— Господи, какой же ты худой! Вроде при кафе живешь!

— Ну мам!

Он сказал это по-детски виновато. Со двора ворвались внуки, тут же наполнив помещение шумом, точно было их не двое, а как минимум десять.

— Дядя Карел, дядя Карел! Что ты нам привез?

— Эт-то что такое? — пресекла Ольга. — Что значит привез? А поздороваться?

Но она, конечно, не сердилась. А Карел уже выворачивал карманы. Тянул оттуда какие-то замысловатые ластики, точилки, шарики какие-то цветные — чистый хлам, но детям нравилось. Они подставили ладони лодочкой и восторженно принимали сокровища.

— Ты сам как ребенок, — улыбнулась Ольга. — И брюки эти. Ну как так можно, Карел? Карманы на коленках. Ты же взрослый человек.

— Зато сумка не нужна, — возразил Карел и в довершение выудил два витых леденца на палочке. Ребята тут же их развернули и принялись грызть.

Подарки кончились, и мальчики снова побежали во двор, хвастать друг перед другом. Ольга знала, чем это кончится. Старший опять надует младшего и все ценное выменяет себе, а младший потом придет жаловаться и канючить.

Карел проводил мальчиков обожающим взглядом, повернулся к матери.

— И чего бы тебе не жениться, — вздохнула она. — Такой бы отец из тебя вышел.

— Мам, не начинай.

А она и не начинала. Так, к слову пришлось.

Ей едва исполнилось девятнадцать, когда он родился, Мартину было двадцать пять. И оба понятия не имели, как подступиться к собственному малышу. С Карелом тетешкались и Михаэла, и Анежка, и Яхим, и больше всех бездетный Томаш — крестный отец, благодетель. Ян и Янка воевали за честь взять маленького Карела на руки. Даже каменный Мирек иногда снисходил до внука и всякий раз приговаривал, доводя Олю до слез, что из этого парня уж он вырастит *настоящего чеха*. Вот и вышло как по-писаному — у семи нянек дитя без глаза. Карел рос счастливым и набалованным.

Когда спустя три года родился Зденек, а за ним Верушка, Оля постаралась учесть прошлые ошибки и уже не позволяла так баловать детей, но чувство вины осталось, точно Карел был пробный, а вот Зденек и Верушка — те рождены в полном осознании и ответственности. Поэтому и казнила в первую очередь себя за то, что личная жизнь у старшего не складывалась.

— Ну что ты, мам. Я зато свободный человек. Как наш дядя Томаш, — отшучивался Карел.

Но нет. Никогда он не был как Томаш. Томаш всегда знал, чего хочет, и добивался своего. Томаш, как хорошо пристреленный боевой пистолет, всегда лупил в яблочко, а Карел — в молоко. И если Томаш не женился, у него были на то свои резоны.

Он сам никогда бы не рассказал, наверное. Она спрашивала, как спрашивает сейчас Карела:

— И чего бы тебе не жениться, Томаш? Такой бы отец из тебя вышел!

А он только смеялся:

— Как же это, Ольга? Ты ведь замужем, что же это будет такое! Что мы скажем бедному Мартину?

— Других невест будто нету! — краснела Оля.

— Нету, Ольга. Нету. Таких как ты — на все Кралупы одна. Или, бери выше, на всю Прагу.

Скажет — и посмотрит серьезно. И вздохнет — не судьба мол. Как с таким разговаривать? Да еще когда язык чужой. Научиться говорить — это полбеды. А вот поди-ка шутить научись, да шутки понимать, особенно когда шутить берутся такие как Томаш — ни мускул на лице не дрогнет, ни бровью не поведет. Так что историю Томаша Оля узнала намного позже.

Анежка тогда в очередной раз собралась замуж. Но не как обычно, а всерьез. Уже и день был назначен. Яну и Янке было лет по четырнадцать — и Янка только и думала, что о мальчиках, и маму вполне одобряла, а Ян как-то не очень представлял около мамы чужого мужчину и устраивал сцены ревности.

Вся семья разделилась в ту пору на два лагеря — по гендерному признаку. Женская половина полагала, что Анежке давно пора устроиться и наладить личную жизнь. Дети уже большие. А что мужчина попался не великих богатств и внешних достоинств — так с лица не воду пить, а парикмахеры сами умеют недурно заработать, Анежка не пропадет. Вот и клиенты ее любят, записываются специально за неделю. Мужская половина настроена была скептически и подозревала в Анежкином ухажере афериста. Появился он, к слову сказать, именно из парикмахерской. Зашел постричься случайно — да и прилепился.

Это был невысокий белесый дядечка лет пятидесяти — с изрядными залысинами, с брюшком над ремнем широковатых и коротковатых брючек, давно не знавших утюга. Назвался он фотокорреспондентом (разумеется, бывшим) и очень ругал русских, из-за которых уже несколько лет терпит гонения и, чем делать настоящие фоторепортажи для «Руде право», как это было до оккупации, сидит в крошечном фотоателье, снимая портреты местных красавиц в три четверти и детишек по школам. Приехал он в Кралупы несколько месяцев назад, и никто о нем толком ничего не знал, потому врет или нет — было неизвестно.

Женщины так рассудили — Анежке жить, пусть сама решает. Диссидент он или пустой болтун, а лишь бы не обижал и семьянин был хороший. Мужчинам же вопрос казался более принципиальным. Даже Томаш, обычно ко всем лояльный, и тот отнесся к «бывшему фотокорреспонденту» с неожиданной настороженностью. И дед Яхим, который все больше помалкивал и в личные дела не лез, явно не полюбил пришлеца. Но больше всех, конечно, бушевал Мирек.

Женская команда — слабосильная и малочисленная — все же потихонечку перетянула одеяло на свою сторону, и день свадьбы был назначен. Анежка лично выбрала жениху пиджак и брюки и себе заказала в ателье модное платье. Договорились даже с кафе и внесли аванс. И тогда Мирек... Оля, признаться,

думала, так не бывает, чтобы свои на своих доносили... то есть бывает, конечно, но когда что-то глобальное, как у пионера-героя Павлика Морозова, а не когда речь всего-то о свадьбе. Но как бы там ни было — он это сделал. Пошел и донес «куда следует» на диссидента, и через короткое время «жених» бесследно сгинул.

Оля не знала, потряс ее сам факт или то, что Мирек даже не потрудился скрыть от семьи этот свой шаг, а почитал себя — искренне! — спасителем Анежки. Она помнила, как Анежка кричит на весь дом, тихая покорная Анежка, кричит сквозь слезы:

— Ненавижу! Я тебя ненавижу!

А Мирек знай ухмыляется ей в лицо и говорит с долей превосходства:

— погоди, дочка. Пройдет время, и ты еще будешь мне благодарна.

— Нет! — кричит Анежка, размазывая слезы по щекам. — Никогда! — И маленький Зденек у Оли на руках начинает тоже громко реветь, напуганный, и вот уже Карел подскуливает, прижавшись к ноге, никогда он не видел такой добрую тетю Анежку, и вообще кричать в доме не принято, это кажется Карелу и странно, и страшно.

— Нет! — кричит Анежка. — Нет! — А потом бросает Мирек у лицо: — Ты не человек! Ты — пани Кулихова! — и скрывается у себя в комнате, хлопнув дверью.

Возникает долгая напряженная пауза.

Мирек стоит, внезапно побледневший. Губы его трясутся, руки трясутся — то ли от гнева, то ли от обиды, не поймешь.

К Оле подходит Мартин, мягко обнимает за плечи и ведет наверх. Карел, хлопая носом, семенит за родителями, крепко ухватив Мартина за палец, Зденек на руках у Оли ревет и плюет пустышку — и Оля спрашивает шепотом:

— Мартин, кто это — пани Кулихова?

Ей кажется, это нарицательное имя из какой-нибудь очень известной чешской книжки — вроде Обломова у русских. Но Мартин говорит напряженно:

— Потом. — И наконец-то подхватывает отстающего Карела на руки.

Пани Кулихова в детстве выглядела как ангелочек. Все мальчишки с их улицы были влюблены в пани Кулихову и боролись за честь стать ее друзьями, а она знай повелевала этой шептунной свитой и придумывала задания одно каверзнее другого. Даже безупречный Мирек выкрал для пани Кулиховой кролика у соседей и принес своей госпоже — дело было под Пасху, кролик потому сидел в продуктовой корзинке, простеленной соломой. На шее у кролика повязан был пышный голубой бант, а под хвостом — старый носовой платок Мирека, набитый паклей, потому что перепуганный зверек дрожал и гадил, и преподнести такой дурно пахнущий подарок было нельзя. Мирек, украв кролика, решительно не знал, что с ним делать, и тогда Томаш придумал паклю и платок. Он даже смочил его обильно матушкиной туалетной водой из граненого флакона, чтобы отбить исходящий от кролика запах страха. И голубую ленту тоже он повязал.

Влюбленный Мирек с кроликом в продуктовой корзинке отправился к пани Кулиховой завоевывать дружбу. Он краснел, потел — и так взволновался, что случайно выболтал про Томаша — похвастался умом и изобретательностью

брата. Мирек сбивчиво рассказывал, кролик гадил, так что сквозь цветочный аромат туалетной воды потихонечку стало сочиться иное амбре. Тяжело смешиваясь, оба запаха окутывали озадаченную пани Кулихову, заставляя ее морщить носик. Тут и произошло с влюбленным Миреком недоброе чудо — сам он был отвергнут и назван вором, а благосклонность, на которую он рассчитывал, целиком досталась равнодушному Томашу — несправедливо!

Пани Кулихова тоже сочла, что это несправедливо. Как же так — вся улица у нее в услужении, а какой-то Томаш Вранек — равнодушен. Это надо исправить — так рассудила пани Кулихова в свои тринадцать. Ее не смутило даже то, что Томаш младше. Он был высокий и крепкий и выглядел взрослее своих лет. Мирек был унижен и тяжело переживал поражение. Пани Кулихова изо всех девичьих сил старалась завоевать Томаша, а он не завоевывался, и даже напротив, не упускал случая подшутить над пани Кулиховой, считая ее злючкой и гордячкой. Так невинно и немножко глупо началась эта история.

Время шло. Мирек забыл пани Кулихову и женился на тихой Михаэле. Томаш влюбился в Марию и целые вечера пропадал на другом берегу Влтавы, где она жила в крошечном аккуратном домике, с мамой. Пани Кулихова выросла в роковую красотку и по-прежнему кружила головы окрестным кавалерам. Но всех отвергала. В этой капризной голове еще в тринадцать лет поселилась категорическая мысль, что никто, кроме Томаша Вранека, не составит ее счастья. Знал ли об этом Томаш? Догадывался. Но не придавал значения выходкам вздорной соседки. Он любил свою Марию и ждал только, чтобы она немного повзрослела и можно было жениться. Ждать оставалось совсем недолго.

Пришли фашисты. Мирек сильно от них страдал в материальном плане, но крепился, а Томашу все было как с гуся вода. Никто не требовал от него ничего сверх его возможностей, так что он легко принял новые правила и жил как живет: все его мысли, все свободное время принадлежали теперь Марии. Ему не было дела до большой политики, которая, смывая границы и народы, позволяла свободно танцевать в своей волне такой незначительной щепотке, как Томаш Вранек. Он тогда думать забыл про пани Кулихову...

Финал этой истории оказался прост как дважды два. Пани Кулихова, отчаявшись заполучить своего избранника, в один прекрасный день решила, что есть только один способ устроить собственную жизнь — надо избавиться от Марии. И тогда она донесла на нее новым властям. И Марию угнали в Терезин.

— Мария... она была еврейка? — спросила Оля тихо, чтобы не разбудить Зденека, задремавшего у нее на руках. Малыш мирно посапывал, и она непроизвольно прижала его покрепче.

— Нет. Она была брюнетка, — ответил Мартин так же шепотом. — Я видел фотографию. Крупные такие локоны, не совсем кудри, а такие, знаешь... — он высвободил руку и сделал несколько волнообразных движений надо лбом. — То есть она была немножко похожа на еврейку... совсем капельку... дед Яхим мне рассказывал... Но звезду, конечно, не носила, зачем ей... и пани Кулихова... понимаешь, она просто донесла, что такие-то не носят звезду...

Оля не спросила, что было дальше, а только посмотрела вопросительно — ну?

— Их угнали в Терезин. Марию и ее маму. У них были документы, конечно. Только они все равно ничего не смогли доказать. Дед Яхим говорит — тогда

никто не разбирался, не до того было... Фашисты уже теряли позиции и чувствовали это. Эта неразбериха... дед Яхим говорит — так выражалась их паника, понимаешь... не разбираться...

Оля не стала спрашивать, погибла ли Мария. Ответ был очевиден — Томаш не женат. Она просто сидела и молчала. Наверное, самое страшное знание, которое получила она от этого рассказа, — что пани Кулихова никакой не нарицательный персонаж, а пожилая соседка через три дома, чрезвычайно приятная и благообразная на вид дама, которая растит лучшие на всей улице розы и любит смешные шляпки.

Теперь Оля думала, что Томаш не просто так выбрал работу подальше от дома. Она долго мучилась вопросом — знала ли пани Кулихова Марию? То есть лично были они знакомы или нет? Ей почему-то было крайне важно узнать, убила пани Кулихова совсем незнакомого человека или их связывало нечто большее, чем Томаш? Может, они учились в одной школе или в одну церковь ходили по воскресеньям? Или, может, были знакомы их родители? А вдруг они давно друг друга невзлюбили, пани Кулихова и Мария? Оля думала об этом — но для себя никак не могла решить, что аморальнее — сдать человека совершенно незнакомого или наоборот? А когда спросила у деда Яхима, он даже не понял вопроса.

— Кто ж их разберет, — ответил Яхим, пожав сутулыми плечами. — Может, были они знакомы, а может, не были. Какая теперь разница, дочка? Марию-то разве вернешь?

Он смотрел ласково, без раздражения, а как бы жалея, что еще и Оле приходится мучиться этим вопросом, и от этого ей сделалось нестерпимо стыдно. На глаза навернулись слезы, губы задрожали.

— Ну-ну, дочка, не плачь, — пожалел ее дед Яхим, по-своему истолковав эти слезы. — Жизнь, она, знаешь, такая — чего только не намешано. Думай не думай, от судьбы не уйдешь.

Погладил Олю по волосам и заковылял к себе, шаркая разношенными тапками. А Оля теперь разозлилась. Прямо до бешенства! Судьба, значит? То есть это вот была судьба?!

— Мам, ты чего тут? — Карел опять заставил Ольгу вздрогнуть. — Стоишь, не шевелишься. Думал, может, сердце опять. Как себя чувствуешь?

— Задумалась немножечко, — улыбнулась Ольга.

Карел нес сразу четыре ящика с овощами, поставленные друг на друга. Было видно, как напряжены мышцы под рубашкой.

— Тяжело ведь! — укоризненно сказала Ольга. — Дай помогу!

Она собралась забрать верхний ящик и уже протянула руки, но Карел ловко увернулся, плавно вильнув всей конструкцией в сторону, точно танцор танго, поддерживавший неуклюжую партнершу.

— С ума сошла?!

И был таков. Только дверь кладовки за спиной ухнула. Разве этого хотела она для сына? Чтобы грузчик с университетским образованием? И даже если работает на сестру — какая разница. Но когда начинала намекать, что не мальчик и пора сменить занятие, он только отмахивался. Или про политику заводил:

мол, где она, работа? Восточный рынок потеряли, производство развалили к чертям — отъезд от Праги километров хоть на семьдесят, даже на тридцать, так ведь одни ржавые трубы торчат да окна битые. Гордые, свободолюбивые чехи. Так что работает в модной сфере туристического бизнеса, шагает со всеми в ногу. Мол, чем ты, мать, еще недовольна? Вот и поговори с таким. А ведь талантливый какой мальчик рос! Для того ли, чтобы до старости лет капусту грузить?

— Мам, обедать! — из двери высунулась запыхавшаяся Верушка. — Итальянцы уехали, слава богу. Полтора человека в зале. Успеем.

Было уже накрыто, и Верушкин муж-повар сосредоточенно ел, упреков взгляд в центр собственной тарелки, механически откусывая от толстого ломтя, а рядом возвышался его крахмальный колпак.

Карел чуть не насильно усадил Ольгу напротив внуков, которые, по обыкновению, сидели как на петардах и больше вертели, чем ели, сунул ей в руку ложку. Скомандовал строго:

— Ну-ка давай ешь!

Она послушно зачерпнула крутого бульона, в котором тонули крупные серые фрикадели. Внуки захихикали и громко зашептались. А и правда смешно. Она Карела в детстве так же заставляла, когда он зависал над тарелкой и кривил губы — «не бу-уду...»

— Вот! Так-то лучше! — Карел плюхнулся по правую руку от Ольги. — И не переживай ты так. Все у нас хорошо!

Глава 7

Ольга любила такие обеды, когда вся семья сходилась за столом и заводила неторопливый разговор. Вскользь касаясь того и сего, они опутывали себя нитками малозначительных слов, сплетали общий кокон, защиту от всего постороннего. «Наши пустяковые обеденные разговоры» — так называла Верушка. Но она не могла не чувствовать, что лишь они, пустяки, умеют по-настоящему сплотить семью.

...Стол дома в Кралупах был огромный и тянулся от окна до самых дверей. У окна, во главе стола, садился старый Яхим. А на противоположном конце располагалась Михаэла, чтобы легче было бегать в кухню и обратно. Мирек неизменно устраивался по правую руку от Яхима. Остальные рассаживались как попало — кто первым прибежал за стол, тому и сидеть по левую руку от деда. Чаше всего это были Ян или Янка, потом их стали опережать подросшие Карел и Зденек. Этих в свой черед легко обгоняла непоседливая Верушка.

Сидеть рядом с дедом было весело. Он никогда не ругался за столом, уверяя, будто это ведет к несварению, зато сыпал шутками, и правнуки к нему так и липли.

Верушка была капризная. Это ем, это не ем. Ольга с ней намучилась. На одного Яхима оставалась надежда. Однажды силой убеждения ему удалось выдать нелюбимую Верушкину рыбную котлету за любимую куриную. Верушка слушала, ушки развесив и уплетая за обе щеки, что, мол, жила на свете храбрая

курица, которая на спор научилась плавать, как олимпийская чемпионка, и поселилась жить во Влтаве, да вот незадача — выловили ее рыбаки и на котлеты пустили. Только она долго во Влтаве прожила — совсем рыбой пропахла.

Он Верушке и мост описал, под которым поймали курицу, и рыбаков — как они удивились, когда она на удочку клюнула, и повара, провернувшего курицу на фарш... И так у Яхима это складно вышло, что Верушка, насадив котлету на вилку и замороженно откусывая, заслушалась и совершенно забыла, что вообще-то курица плохо кончила.

Самое веселье начиналось, когда домой приезжал Томаш. Хохотали не переставая, Михаэла утирала слезы передником, Анежка прыскала в кулачок, вертелись и хихикали дети, слушая, как, сохраняя невозмутимые лица, пикируются Яхим с младшим сыном. Мирек в такие дни выглядел как каменный. И если Яхим и Томаш сохраняли невозмутимость, чтобы шутка сделалась смешней, то Мирек не улыбался из ненависти к шутке, отчего делался просто уморителен. Но это Ольга оценила лишь спустя несколько лет, когда стала понимать чужой юмор, а поначалу она была четвертым человеком, который не улыбается за обедом. Сидела с растерянным видом, улавливая ускользающие слова, и Томаш как-то отметил:

— Ольга, ты, кажется, стараешься удержать мои шутки силой взгляда!

Томаш сказал это очень медленно, и все равно дошло не сразу.

У Верушки никогда не случалось таких веселых застолий. Даже когда Зденек с семьей приезжал на общие праздники. Наверное, это все из-за мужа.

Ольга недолюбливала зятя и про себя звала его поваром. Просто поваром — никогда по имени. Повар был вечно серьезен и целиком сосредоточен на бизнесе, и как-то так получалось, что все родственники безоговорочно ему подчинялись. И Ольга тоже. Злилась про себя, а подчинялась. Не из страха перед медвежьей его фигурой и сурово сдвинутыми бровями. Просто не считала возможным вмешиваться в Верушкину жизнь. Но совместные трапезы, которые устраивала Верушка, положив руку на сердце, совсем не были похожи на веселые обеды в Кралупах.

...Когда Яхим умер, Мирек попытался занять его место во главе стола. Семья по привычке еще сходилась вместе за едой, но обстановка переменилась. Мирек, не сдерживаемый неизменным юмором отца, теперь сколько угодно мог распинаться о политике, с презрительной злобой рассуждать о русских оккупантах, доводя Олю до слез, покрикивать на внуков. И очень скоро оказалось, что у всех работа-учеба начинается в разное время, неудобно подстраиваться друг под друга ради общих завтраков и ужинов, и все стали есть на кухне за маленьким столиком, каждый своей компанией; только Миреку накрывала Михаэла в столовой, и Мирек выглядел комичнее прежнего, когда сидел на дальнем краю стола, — сидел, развернув газету, и лучился недовольством.

Когда приезжал Томаш, все становилось почти по-прежнему, но он гостил в Кралупах день-два, и опять все расходилось по углам. А потом семья начала расползаться, стали уезжать выросшие дети. Сейчас у них в Кралупах вместо столовой была гостиная с домашним кинотеатром. Ни Ольга, ни Мартин кино не увлекались, это был подарок Зденек на сороковую годовщину свадьбы. Зденек им и пользовался во время редких наездов.

У Зденека тоже были мальчишки — трое. Старший, пятнадцатилетний, со сложным характером и своеобразными пубертатными проблемами, недавно выкрасил чуб в зеленый цвет и проколол ухо в трех местах — Ольга не знала, смеяться или плакать. Эта немытая челочка над вулканическими прыщами, как будто кто-то хотел смазать их зеленкой и случайно опрокинул на волосы весь пузырек, эти нескладные движения, заставляющие цеплять локтями и коленками все, что попадает на пути, эти постоянные обиды на взрослых и непобедимая лень, наушники эти жуткие, больше головы... Ольга вообще очень жалела современных подростков — за неимением реального внешнего врага они обречены были воевать сами с собой и постоянно сами себе проигрывали.

В комнате под крышей, где Ольга с Мартином провели первые совместные годы, был оборудован для внуков настоящий мальчишеский штаб. Здесь был штурвал перед окном, вместо стульев — яркие спортивные маты и надувные кресла, стилизованные под сдутые футбольные мячи, по стенам — откидные кровати в два яруса, как в настоящей каюте. Но Ольга понимала — все не то. В этой красивой комнате, просторной и гулкой, не было тайны, а только интересные дизайнерские решения. Конечно, внуки тут с удовольствием играли, но... «Девочку бы, — думала Ольга. — Пять пацанов — куда это годится».

Тогда, в семидесятые, семья росла, и дом, точно сказочный теремок, принимал новых Вранковых. Оля и Мартин теснились в комнате под крышей, и она тогда не казалась просторной. Заставленная кроватками и столиками, завешенная рубашечками и платьями, заваленная игрушками, она напоминала склад при «Детском мире». Внизу у повзрослевших близнецов было не лучше — вдобавок там постоянно что-то гремело и дребезжало, модное и динамичное. Музыка! — утверждали близнецы. Металлоремонтная мастерская! — парировал дед Яхим.

Анежка с детьми занимали две комнатки в правом крыле, и как раз когда родилась Верушка, пришла пора расселять Яна и Янку. Михаэла просила Мирека — уступи Янке кабинет. А Мирек и бровью не повел. Янка перебралась в комнату Анежки, Анежка перешла на диван в гостиной. Там обычно ночевал Томаш, когда приезжал в родные пенаты. В такие дни Анежка уходила опять к Янке, на раскладное кресло.

Олины дети тоже подрастали, и жить в одной комнате становилось тяжело. Мартин задумал отделяться. Оля сначала обрадовалась, потом испугалась. Квартиру предложили по месту работы — не бог весть какая даль, но все-таки соседний городок, где Оля никого не знала. Откуда взялась в ней эта робость перед незнакомыми, которой не было в детстве? Не русские ли танки принесли ее на гусеницах несколько лет назад? Только Оля жалась к семье, принявшей ее, и новые знакомства заводила с трудом. Ее знакомых в Кралупах легко было сосчитать по пальцам: две воспитательницы из школки¹, шеф пивницы, где работала, и педиатр.

Покорная Оля уже паковала детские вещички. Но вид у нее сделался такой горестный, что Мартин решил немножко повременить, пока жена созреет до перемен. Жалея молодых, Михаэла опять просила Мирека, чтобы отдал кабинет

¹ Детский сад (чешск.).

под детскую — ну что он там делает, газету вечернюю читает да радио слушает! Но Мирек и тут не пошевелился. Мол, дайте человеку пространство и не посягайте — когда молодые были, и мы терпели. Тогда Михаэла решила отдать Оле и Мартину спальню: Мирек все равно чаще засыпал в кабинете, где на такой случай стоял диванчик. Сама она перебралась спать к Анежке, и очень быстро гостиная, по меткому определению Томаша, превратилась в какой-то будуар. Там же и зеркало парикмахерское воткнули: Анежка иногда стригла постоянных клиентов на дому.

Шестнадцатилетняя Янка привела мальчика. Он был откуда-то из-под Остравы и учился в пражской художественной школе. Где и как познакомились — молчали. Мирек попытался устроить скандал, да с Янкой не больно поскандалишь — она с места в карьер начала угрожать, что порежет вены или отравится таблетками из аптечки Михаэлы. Потому что у нее — настоящая любовь! Их оставили в покое. Мальчик исчез через три месяца.

С его ли уходом, или просто так совпало, но теремок стал постепенно пустеть. Окончили школу Ян и Янка, уехали в Брно. Яхим прожил до девяноста лет и умер в год, когда Верушке исполнилось десять. В первые месяцы казалось, будто из дома вынули душу. К старости Мирек сделался еще сварливее. Даже с Михаэлой они теперь едва разговаривали. Анежка все-таки нашла себе хорошего человека и переехала в столицу. У него тоже были взрослые дети, которые учились далеко от дома. Он недавно овдовел и не умел жить один, так что Анежка — покладистая и смешливая — была ему божьим подарком. После смерти отца Томаш приезжал редко. Он не подавал виду, но тяжелее всех пережил смерть Яхима.

Прошло еще шесть лет, и Мирек сам себя съел. Он умер за год до развала соцлагеря, и то, что он так и не увидел его крушения, казалось Михаэле справедливым наказанием за жестокость и подлость к людям, окружавшим его в семье и на работе. Михаэла пережила мужа на пять безмятежных лет. К тому времени дети уже учились в университете, и в пустом, гулком доме остались трое — Ольга, Мартин и Михаэла. Верхнюю комнату заперли, нижнюю со смерти Яхима тоже никто старался не трогать, она сделалась чем-то вроде семейного мемориала, куда Ольга спускалась смахнуть пыль и посмотреть на фотографии, с которых улыбался юный Яхим, окруженный людьми, которых она никогда не видела и не знала.

В начале девяностых Мартину предложили место на атомной электростанции в Дукованах, и он собирался принять предложение, но Ольга отговорила — как было оставить Михаэлу? А впрочем, все оказалось клучшему: спустя совсем немного времени пошла мода на солнечную энергию, бывший сослуживец позвал Мартина к себе на фирму, офис, считай, у самого дома, — а Мартин всегда ставил солнце выше «мирного атома»... Михаэла до этого дня не дожила. Ольга и Мартин остались вдвоем. Он с утра до вечера был на работе. Ей сделалось одиноко, и она завела котов.

В последнее время Ольга часто думала, как же так вышло, что дом Вранковых достался ей, «агрессорке»? Семья росла, род Вранковых продолжался и множился — вот и у Яна мальчишки оба, только у Янки девочка, единственная в семье... И как ни подсчитывала, выходило, что так не должно быть! Здесь

могли бы поселиться Верушка и повар — предлагала, отказались, предпочли свои четыре комнаты при кафе, только бы лишние сорок километров не мотаться. Или Карел... может, женился бы наконец... Внучка бы родилась... Предлагала Карелу — отказался и Карел. Зденека даже не звала — дом у Зденека куда лучше этого. Сам проектировал — каждый уголок, каждую розеточку продумал... Янку с семьей звала, Яна — но и у них все было просторно и беспроблемно. Их дом больше был не здесь, вот и все. Так и остались — Ольга, коты — и совсем немножечко Мартин. Он не разлюбил свою Олю, просто связь их считал такой прочной, что она не нуждалась во внешних проявлениях. Ольга понимала это и не обижалась. Только завидовала немного — что у него есть нечто интереснее семьи, а у нее кроме семьи ничего нет — ее огромной и дружной, несмотря на расстояния и обстоятельства, чешской семьи — у стареющей русской женщины... как глупо.

До самого вечера в кафе не заглянул больше ни один русский — редкий день. Ужинать опять собирались вместе, но повар вдруг срочно отлучился по делу. И Ольга мысленно отругала себя за очевидную радость.

Важную новость, с которой отправилась к Верушке, она до сих пор держала при себе — рассказывать при поваре про Танин звонок казалось невозможно. Зато теперь, думала Ольга, самое-самое время. Только свои. Они поймут.

Сели ужинать. Она долго примерялась, выбирая момент, но все ей казалось не к месту: то Карел начинал дразнить мальчиков, то Верушка вскакивала за солью, то вдруг младший вздумал катать шарики из хлеба, за что и получил от матери... Уже подан был чай, уже Карел, точно фокусник, вывернул свои обширные карманы и выудил оттуда два шоколадных батончика в ярких обертках. Наконец, когда батончики были съедены и даже вытерты руки, перепачканные шоколадом, Ольга решила.

— Летом я еду в Россию!

Фраза, в которую было вложено столько смысла, не произвела должного эффекта.

— На экскурсию? — спросила Верушка. — С папой или с подругой?

— С какой подругой? — растерялась Ольга.

— Да хоть бы с Соней... или с пани Кавковой... — Верушка пожала плечами. — Неужели одна собралась?

— Одна... — Рассказывать детям о Тане расхотелось.

— По путевке? — уточнил Карел.

— К родственникам, — ответила Ольга многозначительно.

— Мама?.. — Верушка вовсе не обрадовалась, а отчего-то напряглась.

— А что? — спросила Ольга с вызовом. — Имею право!

— Да что случилось-то?! — воскликнула Верушка. — Объясни толком!

Ольга победно посмотрела на встревоженную Верушку, на притихших внуков, улыбающегося Карела и сообщила то, что бережно держала в себе весь день, боясь расплескать:

— Таня! Таня нашлась! Сама! Представляете? Позвонила сама!

— Папа знает? — спросила Верушка торопливо.

— Таня? — весело перебил сестру Карел. — Неужели та самая Таня, которая хотела меня убить?!

Глава 8

Вопрос прозвучал без тени обиды — но все-таки застал Ольгу врасплох. Стараясь не встретиться глазами с детьми, она медленно подняла взгляд. В дверях стоял Мартин.

— Кто кого хотел убить? — спросил он нарочито шутливым тоном и шагнул в столовую, на ходу расстегивая ветровку.

Все промолчали. Ветровка, аккуратно расправленная, повисла на спинке стула, а сам Мартин устроился поудобнее и внимательно посмотрел на жену.

А Таня действительно собиралась убить Карела.

То есть Карел, конечно, еще не был Карелом, а был беременностью «до трех месяцев». Когда стало ясно, что Оля остается в Кралупах, она отправила Тане путаное письмо, счастливое и грустное одновременно — а при нем обещанную чехословацкую курточку. Красную. С карманами и молниями.

Ее выделила из своих запасов Анежка: курточка, совсем новая, три раза надеванная, стала тесна. Продать ее было некому, выбрасывать жалко, а Янке еще расти и расти. Анежка, глядя на бедный Олин гардероб, эту курточку первую принесла и заставила мерить — хороша была Оля в той курточке: светленькая, юная, яркая. Оля повертелась перед зеркалом, поблагодарила, но курточку сняла и сложила аккуратно, а Мартина попросила перевести — пусть Анежка не сердится, но в Москве у Оли сестра, а ведь Оля теперь не сможет приехать, во всяком случае, быстро, и если Анежка не возражает, то она, Оля, очень просит, чтобы курточка... В общем, это была путаная заискивающая речь, которую Мартин перевел в два предложения. «Куртку в Москву отправим, так надо, — сказал он. — А Оле новую купим».

Так курточка поехала в Москву. Тем самым поездом, которым должны были возвращаться Оля и Мартин.

Таня, встречающая у вагона, поднималась на цыпочки, высматривала сестру среди выходящих пассажиров. Ее толкали, огрызались, что стоит на проходе, а поодаль маялся похмельный Толя, которого привели сюда специально нести багаж: не то чтобы Таня ценила материальное, но, как любая советская девушка, выросшая в мире дефицита красивых и удобных вещей, она не сомневалась, что Оля привезет больше, чем увозила.

О танках в Чехословакии Таня, конечно, слышала — и ни минуты не сомневалась, что они там, во-первых, по делу, а во-вторых, мирным людям ничем угрожать не могут. И если злые языки болтают, то это поклев и пропаганда. Она, Таня, даже приготовила для Мартина слова сочувствия — что вот, мол, целые народы до сих пор страдают по вине горе-управителей, однако не за горами будущее, когда... но вагон пустел, уже выбрались самые последние, а не наблюдалось ни Оли, ни Мартина. Таня глядела в бумажку: тот ли вагон, тот ли поезд и не перепутан ли день — все совпадало... неужели записала неверно?!

На перрон спустилась усталая женщина — с двумя чемоданами, с обширным свертком под мышкой — и, поведя взглядом по окружающей толчее, безошибочно остановилась на Тане — вы такая-то?

— Да, — кивнула Таня.

Сделалось тревожно. По ее разумению, только крайние (и обязательно страшные) обстоятельства могли задержать сестру. Самое мягкое, что она сумела представить, — будто Оля и Мартин отстали от поезда. Тут ей и вручили заботливо окукленный сверток. И письмо, из которого следовало, что родная сестра, находясь в здравом уме и трезвой памяти, предала Родину ради иностранного мужчины. И еще имела наглость называть это любовью!

Всю обратную дорогу Таня бежала как сумасшедшая, и ее растерянный сопровождающий едва за нею поспевал. Она яростно прижимала к груди надорванный сверток, из которого свесился красный рукав, она комкала в кулаке письмо, и по щекам ее шли пятна. Ярость Таню очень украшала, и когда уже в общежитии со злостью сорвана была упаковка, а курточка надета, пятна те здорово к ней подошли, красные к красному.

На следующий день составлен и отправлен был в Прагу гневный ответ, где Таня, стараясь (без особого успеха) сдерживаться, требовала у младшей идиотки немедленного возвращения. Про Карела Таня писала, что этот плод «якобы любви» необходимо немедленно вытравить. Так и было в письме — «немедленно вытравить». А про Мартина — «забыть и растереть».

Оля не ждала от Тани одобрения — не настолько она была наивна. А вот понимания ждала. Это была ее семья, ее ребенок, как можно заставлять человека убить ребенка? Она, конечно, тоже в методах государства не сомневалась, что они правильные, — просто раньше это ее не касалось, а лишь коснулось, сразу стало понятно: не бывает правил без исключений. Вот у них с Мартином — все не со зла. И никакое это не предательство, а обстоятельства. Так и ответила Тане.

Таня была в бешенстве. Трудно сказать, чего тут было больше, веры или унижительного бессилия, когда кто-то вдруг делает не по-нашему. Сорвала зло на злополучной курточке — выдернула из шкафа, бросила на пол, топтала ногами и искренне собиралась выкинуть, но потом рассудила здраво: что добру пропадать. Выстирала, выгладила, стала ходить в институт — как раз настал для курточек самый сезон. Она еще не раз и не два слала Оле гневные послания — да где там...

Поначалу Мартин перепиской не интересовался. Оля страдала в одиночку, все скрывала и пыталась выдать за досужую болтовню. Но очень скоро он стал замечать, как плохо действует «болтовня» на жену, как долго и горестно ворочается она, получив очередное письмо. Потом понял, что Оля не отвечает, — а письма все шли, конверты становились все толще. Наконец он не выдержал и прочел. Танина истерика как раз достигла апогея, и многие слишком экспрессивные слова были Мартину непонятны. Оля отказывалась объяснять, он не поленился полезть в словарь... В общем, узнав правду, он ни о какой Тане больше слышать не хотел. Никогда.

Была ли Таня так уж виновата? Не более чем любой искренне верящий в свою правоту человек. Искренне верующий. Вовсе она не была ни жестокой, ни глупой — а всего лишь честной и преданной времени, в котором жила. Оля это

чувствовала — на доньшке горькой своей обиды. И, хоть перестала отвечать, не злилась на Таню. Переживала сильно, но не злилась. А Мартин — злился. Он и сам был из той же породы идеалистов. Беда, когда два идеалиста берутся мериться идеями и идеалами.

Бурная односторонняя переписка сошла на нет. Таня постепенно перешла в разряд полумифических персонажей, встав в один ряд с пани Кулиховой и незадачливым фотографом-диссидентом. Оля, когда подросток Карел, попыталась восстановить контакт, но без результата. К тому времени Таня окончила учебу и уехала работать — за тридевять земель, как часто случалось с «идейными». Ни адреса, ни следа. С отцом тоже было непросто связаться, гаечки к тому времени еще подкрутили, и Военград сделался для новоиспеченной иностранки почти недостижимым.

Много лет спустя Ольга узнала, что Таня вернулась в Военград. Она с новой силой кинулась писать, — но ответа опять не добились. А уж когда отец умер и весточка об этом дошла через посторонних людей, стало понятно, что Ольга не прощена.

— Ну? — спросил Мартин шутливо. И Ольга с удивлением обнаружила, что не может подобрать слов для ответа.

Она ему скажет что? Что звонила Таня (помнишь мою сестру Таню, она была против нашего брака и настаивала, чтобы я сделала аборт?) и приглашала срочно приехать к ней в Россию? Что утром вдруг раздался звонок, и Таня (та самая, с которой мы больше сорока лет не общаемся) попросила навестить ее в Военграде (такой городок в средней полосе, где советские танки делали)? Что у Тани (которая на папины похороны не позвала и даже не сообщила о смерти) в России неприятности и ей срочно нужна помощь — две тысячи долларов США, и передать их нужно из рук в руки?

Временную дыру в сорок с лишним лет так вдруг не заделаешь. Ольга стояла и думала, что это как нарыв. Вздулся. Болит. Давно пора его вскрыть, коли сам не зажил. И сейчас, быть может, у них с Таней появился последний шанс. Она собиралась сказать это Мартину, но ее опередил бестактный Карел.

— Мама в Россию собирается, знаешь? — сообщил он весело. И многозначительно понизил голос: — К родственникам...

У него был прямо талант на реплики не к месту и не ко времени. «Может, потому и не женился», — подумала Ольга раздраженно. И тут же устыдилась этого раздражения. Мартин закаменел. Совсем как в молодости, когда его вдруг настигало какое-нибудь неоднозначное событие.

— Мартин, я тебе все объясню, — пролепетала Ольга. Прозвучало виновато и как-то по-детски.

— А почему бы и не поехать? — спросила Верушка с вызовом, ни к кому конкретно не обращаясь. И добавила по-русски: — Кто старое вспомнит, тому глаз прочь!

— Кто старое помянет, тому глаз вон, — поправила Ольга по привычке.

— Вот я и говорю! — резюмировала Верушка.

Мартин молчал. Так молчал — аж звенело.

К нему подобралась внуки, пленили, завладев обеими его руками — старший правой, а младший левой.

— Дедушка, а что ты нам привез? — спросил младший, преданно глядя в глаза.

— Опять?! — возмутилась Верушка. — Сколько раз повторять — не вымогай!

Она напрасно ругала сына. Он долго терпел — по своим детским меркам. Перетерпел, чтобы дед вошел, разделся, сел и поговорил с бабушкой, и только потом задал свой вопрос — крайне, между прочим, важный, потому что дед кое-что обещал принести, одну вещь, которой пользоваться могут лишь настоящие мальчишки...

— А как же, — отозвался Мартин, словно только и ждал этого вопроса. И, высвободившись, вытянул из кармана ветровки разводной ключ, сверкнувший хищным распахнутым клювом. — Вот, держите.

— Ух ты! — сказали мальчишки хором, и старший тут же попытался забрать подарок, но младший оказался проворнее.

Через мгновение они уже неслись вокруг стола, крича: «Мое! Нет, мое!» — и в дверях старший все-таки подмял под себя младшего — уже почти улизнувшего.

Теперь они, сцепившись, катались по полу. Лица у них сделались красные, сосредоточенные, ключа, зажатого в четырех яростных кулаках, видно не было.

— Папа, сколько раз тебя просить! — Верушка, едва не плача, повернулась к Мартину. — Нельзя им одно на двоих!

— Пусть учатся делиться, — возразил Мартин невозмутимо.

Мальчишки катались по полу. Они больше не кричали, а лишь сопели, и младший уже наладился реветь — потому что силы были неравны.

— Мы со Зденеком так же дрались? — спросил Карел.

— Да, — ответил Мартин.

— Нет, — ответила Ольга.

Они сказали это в один голос и с одинаковой интонацией, какая бывает у людей, долго и счастливо живущих вместе, — и оба сказали правду. Карел и Зденек в детстве регулярно дрались именно так, но они ни разу не подрались из-за разводного ключа.

— Да сделайте же что-нибудь! — Верушка, кажется, готова была сама кинуться с кулаками на отца и на брата.

— Сами разберутся, — отмахнулся Мартин.

Мальчишки по-прежнему возились на полу. Энергия драки иссякала, но злости, кажется, даже прибавилось. Карел со вздохом встал, приподнял бойцов за шкирки, как кутят, встряхнул и поставил на ноги. А ключ отобрал и спрятал в свой бездонный карман.

— Ну дядя Карел! — заканючили горе-вояки. — Ну отда-ай!

— А вот и нет! — сказал Карел как можно более строго, хотя видно было по глазам, насколько ему смешно. — Сначала научитесь вести себя как цивилизованные люди.

Верушка смотрела на брата с благодарностью.

— Мы умеем, умеем! — затараторили мальчишки.

— А вот и нет, — опять сказал Карел. — Пока я вижу двух глупых бабуинов, не поделивших банан.

— Мы больше так не бу-удем! — затащил старший.

— А кто такие бабуины? — спросил младший.

— Бабуины-то? — Карел улыбнулся. — Что ж, извольте. Кто первый найдет в энциклопедии бабуина и опишет своими словами, тому первому и ключ.

Карел выразительно похлопал по карману. Карман был оттянут на коленке, там, хромированным клювом вниз, стоял виновник ссоры. Мальчики переглянулись и, громко топая, побежали вглубь квартиры. Оттуда опять донеслись возня и крики.

— Карел!!! — Верушка уже не знала, что делать. «Детская энциклопедия о животных» тоже была в единственном экземпляре.

— Папа правильно говорит — пусть сами разбираются, — сказал Карел примирительно.

— А, что с вас взять! — отмахнулась Верушка. — Пойду, как бы книгу не изорвали.

И она ушла на шум новой драки, а в столовой повисло молчание. Мартин пристально посмотрел на жену.

— Пора собираться, мамочка, — произнес он мягко. — Надо дать детям отдых.

— Отдых... — вздохнула Ольга. — Помог бы лучше Верушке их развести.

Мартин поднялся, забрал у Карела ключ и ушел на шум. Через минуту за стеной сделалось тихо.

Первой вернулась Верушка и стала молча собирать со стола. Она злилась. «Девочку бы. Внучку», — в который раз подумала Ольга. Они с Таней не дрались никогда... И тут у нее перед глазами как бы сама собой прочертилась белая меловая черта. И сделалось на душе совсем скверно. Видно, не могут родные люди не причинять боли друг другу. Интересно, почему?

Дверь открылась. Сначала вошел старший — он победно нес, прижимая к худенькой грудке, разводной ключ. Младший шагал следом, крепко держа в двух руках «Детскую энциклопедию о животных», и вид у него тоже был вполне довольный.

— Дедушка, а мы пойдем посмотреть бабуина? — через плечо спрашивал он у Мартина, завершающего это маленькое шествие.

— Само собой.

— А когда?

— Вот будет у меня свободный день...

Мартин выглядел спокойным, как всегда. И Ольга подумала, что этот человек никогда ее не разочаровывал.

Домой ехали молча. Ольга попыталась начать разговор, но Мартин остановил — не сейчас. В машине тихонько шумел кондиционер, радио лопотало последние новости. Лет десять как пересели из громоздкого семейного универсала на малолитражку, а Ольга все никак не могла привыкнуть. Трехколесный тихоход ехал на крыше. Маленькая бордовая машинка с большим велосипедом на макушке смотрелась комично.

Дома, пока покормили котов, пока убрали велосипед в гараж, стало совсем поздно, и Мартин, наскоро чмокнув жену, пошел к себе.

— Мартин, подожди! — тихо сказала Ольга его удаляющейся спине. Так тихо, что он не услышал. А может быть, только сделал вид.

Раздражение шевельнулось в груди. Машинально теребя кота за ушами, Ольга представила, как Мартин аккуратно отгибает уголок одеяла, как ровняет тапочки у кровати и гасит ночник, и по щекам против воли покатались крупные слезы.

— Ну и пусть! — подумала Ольга.

Она все равно поедет. В конце концов, Таня ее единственная сестра. Завтра же подаст на визу и поедет. И деньги есть. Как раз на летнюю поездку отложено. Половину Мартину оставит, а уж половина честно ее. Если не транжирить, хватит. Она решительно стряхнула котов и отправилась в гостиную. Коты потянулись следом, мешая идти.

Включила ноутбук, посмотрела курс доллара, отклеила стикер и стала перемножать в столбик — две тысячи долларов это сколько? Выходило прилично, но не смертельно. А обида на Мартина все росла. Неужели он не понимает?!

Сделалось жаль себя. Последние годы — все одна да одна. Коты, да цветы, да счета. Этот дом... Чужой, и она ему чужая.

Ольга достала из бара початую бутылку красного вина, щедро набулькала себе, стала пить маленькими глоточками. По горлу пошло тепло, внутреннее напряжение не то чтобы исчезло, но отпустило, а слезы все лились — что ты будешь делать. Хотела звонить Верушке, но глянула на часы и зарыдала горше прежнего. Она не слышала, как Мартин стоит в дверях, а потом уходит на цыпочках. Она сейчас вообще ничего не слышала.

Заснула поздно, а вскочила все равно ни свет ни заря. Голова была тяжелая, похмельная. Ныли по обыкновению колени и шея. Долго собиралась с силами, чтобы оторвать голову от подушки, но все-таки перемогла себя, начала потихонечку делать упражнения лежа, осторожно скручиваться — пять, десять раз. По мере того как просыпались тело и голова, просыпалась и обида на мужа — неужели ему все равно?! И эта обида, злость даже, подняла Ольгу с кровати и поставила на ноги.

Ольга раздраженно достала из шкафа спортивный костюм и начала одеваться. Брюки, футболка, олимпийка, носки. Что еще? Часы-шагомер. Сейчас она пойдет — не как обычно, к замку, а в центр, или даже на тот берег — уж там-то Мартин точно ее искать не станет! Мысли были злые, движения резкие и от этого неловкие. Долго дергала молнию олимпийки, едва не вырвала с мясом собачку, а край все выскакивал, не давая застегнуться. Наконец взяла себя в руки. Обулась, причесалась, достала палки для скандинавской ходьбы.

Сверху спустился Мартин — гладко выбритый, бодрый и тоже в спортивном костюме. Молча присел рядом и стал невозмутимо обуваться.

— Ложечку подай, — попросил.

Ольга растерянно подала мужу ложку для обуви, и он аккуратно поместил ноги в кроссовки. Поднялся, потянулся:

— Ну что, пошли?

Взял свою пару палок — и они пошли. К замку, обычным утренним маршрутом.

Ольга молчала. Не знала, что сказать. Хотелось уколоть побольнее — за

вчерашние свои слезы. Но осторожно косилась на мужа, и язык не поворачивался. А думалось, наоборот, как же она к нему привыкла. Дорога шла под горку, а около замка опять потянулась вверх. Сердце затумкало чаще, но Ольга упрямо переставляла ноги, стараясь не сбиться с ритма.

— Оля, погоди. Я что-то устал! — Мартин остановился и внимательно посмотрел на жену.

Дышал он ровно, вид имел цветущий, а смотрел... насмешливо? Нет, не насмешливо. С улыбкой. И в этой улыбке было все: любовь, понимание, немножечко — вчерашняя вина, сочувствие, жалость.

Ольга опустила голову. Слова стояли в горле комом, как будто она случайно проглотила слишком большой кусок.

— Я думаю, тебе надо ехать в Россию, к сестре, — сказал Мартин.

— Насовсем? — выдохнула Ольга в отчаянии. Она так себя взвинтила, что ей показалось — Мартин ее выгоняет.

— Оля, ну что ты такое говоришь?

Она напряженно молчала, не решаясь поднять глаза.

Он шагнул к ней, обнял одной рукой — а в другой были скандинавские палки, и, конечно, со стороны Ольга и Мартин выглядели немного комично, два пожилых человека, когда стояли вот так, прижавшись друг к другу, в спортивных костюмах, с палками этими самыми, — но это было сейчас абсолютно не важно.

(Окончание следует)

Средиземное море

В середине земли, как под купол псалмы
Во вселенском соборе,
Поднимают валы многозвучий громы
И режут в общем хоре.

И бугрятся умы, словно волны-холмы,
В просолённом растворе.
В середине зимы — это мы, это мы,
Средиземное море.

В середине земли, в середине зимы
Средиземное море
Где-то ропщет вдали, набегая из тьмы,
Белой пеной в дозоре.

А в шабат просто так
Наполняются людом бульвары,
И владельцы собак,
Словно доги, идут сухопары.

Нет, конечно, не так,
 как собаки,
Но всё же поджары.
Сладко пахнет табак,
Дефилируют парами пары.

Александр Николаевич Климов-Южин (псевд.; настоящая фамилия — Климов) — поэт. Родился в 1959 г. Автор четырех поэтических книг. Стихи публиковались в журналах «Дружба народов», «Новый мир», «Арион», «Октябрь». Лауреат премии «Московский счет» (2006 г.) за книгу «Чернава», лауреат премии «Югра» (2012) и др. Живет в Москве.

Одинокий семит
Изучает под пальмами прессу,
Город к морю спешит —
Тель-Авив так похож на Одессу.

Покидая этаж,
Свои доски несут сёрфингисты
На подветренный пляж;
Их волна принимает со свистом.

Как ужасный кистень,
Разбивают валы волнорезы,
И звучат целый день
Ре бемоли в ушах, до диезы.

И плывут посреди кутерьмы
Корабли на призоре —
В середине земли, в середине зимы
В Средиземное море.

* * *

Жуткой ираильской стужей —
Плюс двадцать два,
Выйду, рассветом разбужен:
Скверик, трава.

Здесь на вопрос москвиты —
как или где? —
Враз переходят с иврита
На фрикативное «Г».

Тень вырастающей ветки,
Блеск от перил,
В спину мне с лестничной клетки:
— Шубу забыл!

Тут г-образны куртины,
Дома дома.
В кронах торчат мандарины,
Значит — зима.

Радужный цвет бугенвиллий,
Клумба из роз,
Видно, они пошутили
Или всерьёз?

До Рождества — две недели,
Солнышко, чиз!
Вместо заснеженной ели
Здесь кипарис.

Шаркают тапочки-шкеры,
Стол, преферанс,
Шахматы, пенсионеры,
Но не у нас.

Вот он, вполне рукотворный
Рай на земле!
Кадр прокрутился повторный —
Ёлка в Кремле:

Плавится в теле истома,
День декабря.
Господи, как же знакома
Эта Земля.

Край трудового упадка,
Доллар — прогноз,
Где расцветает в лопатках
Стылый хондроз.

Аквариум

Леониду Колганову

Значит, точно зима — закрываются трисы.
Словно маркет, аквариум манит подсветкой.
Алодеи высокие, как кипарисы,
Помавают слегка на течение веткой.
Я на сгустки гляжу приглушённые света,
И спокойное сердце ритмично, как мантры.
Удлиненным хвостом полоснула комета,
И гурами жемчужны бока из Суматры.
Пучеглазые монстры свои телескопы
Навели на меня, в довершение картины:
Гладиатор петух, всех загнавший за стропы,
В жёлто-рыже-тигровом своём шубутины.
Из подводной среды шепчут мягкие губы —
Красных шапочек стайку относит струёю —
Там на вашей земле нравы жёстки и грубы,
То ли дело у нас под водою, водою.
Как вы там без воды? Под водой, под водою
Воздух гонит компрессор, стекло между нами.
Наплывают они с золотой чешуёю,
Словно дауны с робкими солнцеглазами.
Засыпая в предчувствии Нового года,
Улыбаюсь во сне их беззубой улыбке,
Задыхаясь ...дыхаясь от кислорода,
Золотые мои дефективные рыбки.

Иордан

А Иванова помнишь? Ну, что за вопрос.
Вот она предо мной — Галилея.
Помню, как приближался с нагорий Христос,
Огнерыжий Матфей, справа — Гоголя нос,
Борода и тюрбан саддукея.

Я на гробе Господнем свой крестик святил,
И святил Вифлеемской звездою.
(Сомик рядом с цепочкой сверкнувшей проплыл)...

Только как эвкалипт тут случился? Бог весть.
Или фон розовеющих тучек?
Мне сдаётся, что было всё это не здесь,
А на пекле, в глазах вызывающем резь,
Средь пустынных репёв и колючек.

Где вода так желанна, как Новый Завет,
А трава — изумрудно-желанна.
Человек только был, и уже его нет:
Воздух ловит, хватает урывками свет
Под тяжёлой рукой Иоанна.

Назарет

Город Назарет, город на заре —
Вспомнился Арбузов.
Это к слову, так. Город на горе,
Много пальм и друзей.

Мне араб в рядах продавал здесь дрель,
Я купил сыр козий.
До сих пор в ушах, как смешно Адель
Произносит — Ёзиф.

Пахнет куркумой, перцем, имбирём,
Камфарой, мускатом.
Спутница моя знает, что почём,
В меру торовата.

На губе пушок, тает на просвет
Розовое ушко.

Воздуха глоток, с табуреткой шкет,
Пахнет свежей стружкой.

Неужели стул, неужели стол
Здесь Назаретянин
До зевоты скул ладил, что престол,
Как простой селянин.

Драгоценней стул был бы среди людей
Драгоценной яхты.
Обиходных, Им созданных вещей
Скрыты артефакты.

Библия, Коран. Запахи всех стран,
Кот на мягких лапах
С поднятым хвостом входит в ресторан.
Ах, какой здесь запах.

Гроб Господень

За тысячелетия сколько страстей
И страждущих видела эта дорога,
Паломников Истрии и Пиреней,
Из Пскова, Бердичева, из Таганрога.

Затылок в затылок, сменяется род,
Живём во грехе и проходим почия,
Но длится у Гроба всю ночь литургия,
А днём, как песок, нескончаем народ.

О, сколько ступало здесь скорбных сусал,
Сюда приходили великие тени —
Здесь Гоголь беззвучно молитву шептал,
Тут Готфрид Бульонский вставал на колени.

Здесь я взгрустнул перед Гробом святым,
О ближних и дальних поплакал немного,
Что жизнь скоротечна, что вот невредим
Средь смертных, и нет пред собой мне итога.

Но что-то в моей завершилось судьбе,
Но пятась спиною, застыл у порога:
В кувуклии видя отсутствие Бога,
Его обретая невольно в себе.

Елена Долгопят

Земля и небо

Рассказы

Лиза

На полке этой спала она пять ночей. На тощем матраце, под стук колес. Сколько ей еще предстоит таких ночей в жизни, она и помыслить не могла.

Лейтенант приподнял ее чемодан из багажного отсека и воскликнул:

— Да у вас там золото!

— Конечно, — отвечала она.

— Монеты или слитки?

— Монеты.

— Какой чеканки?

— Не знаю. Старинные.

— Ого! Целый чемодан старинных монет.

— На пропитание хватит.

— Какое там! Девушка, милая, вы сделали большую ошибку, они там не в ходу, эти монеты, вы бы лучше шубейку захватили, ведь последние денечки август доживает, август благословенный, как моя матушка говаривала, все это солнце и тепло — мнимость одна, кажимость, обман. А на самом-то деле мороз в сорок громадных градусов, и несет его ветер по степи, а скорость у ветра побольше, чем у нашего с вами поезда. А небо по ночам черное над степью, как дыра. Напрасно вы смеетесь, девушка.

Она не смеялась, она улыбалась. За окном над степью светило солнце, в синем небе нежилась облако, и свежий воздух влетал в вагон на скором ходу через опущенное стекло. Август благословенный — не раз она вспомнит и повторит потом, после.

— Не смейтесь, — повторил лейтенант.

— Почему?

— Потому что я говорю серьезно.

— Вы на платформу мне вынесете чемодан?

Он молчал строго. Смотрел на нее, думал, решал.

— Не хотите — не надо, я другого кого-нибудь попрошу.

— Ладно уж, помогу.

Елена Долгопят родилась в г. Муром Владимирской обл. в семье военнослужащего и учительницы. Окончила Московский институт инженеров транспорта (1986), сценарный факультет ВГИКа (1993). Работала программистом на военном объекте в Московской обл. (1986—1989). Научный сотрудник Музея кино. Прозаик, киносценарист. Постоянный автор «Дружбы народов» (последняя публикация — Две повести, № 12, 2013).

И бабка ехидно воскликнула с боковой полки:

— Ну слава богу.

Лейтенант помрачнел. Повторил с мрачной серьезностью:

— Помогу.

— Одолжение сделал, — сказала бабка и подмигнула Лизе.

Тяжеленный громадный чемодан, перетянутый шпагатом, он подхватил легко и направился с ним к выходу. Поезд сбрасывал скорость. Лиза всем в вагоне пожелала счастливого пути, и ей все пожелали счастья, удачи, здоровья и любви. И так она рассталась со своими попутчиками, получив их благословение на дальнейшую жизнь. Лейтенант с двумя маленькими звездочками на каждом погоне стоял уже в тамбуре. Поезд останавливался.

Проводница отворила железную дверь и протерла тряпицей желтый поручень. Лейтенант подхватил чемодан и спрыгнул с нижней ступеньки на растрескавшийся асфальт. Лиза на ступеньке задержалась. Солнце слепило. Лиза прыгнула. Лейтенант подхватил и ее. Поставил на асфальт, но не отпустил. Он держал Лизу в крепких объятиях, она и шелохнуться не смела. И мысли застыли. Сердце лейтенанта стучало ей в лоб, она дышала лейтенантом, она как будто была в нем, защищена ото всего света его большим крепким телом, таким, оказывается, огромным, всю ее окружившим, поглотившим. Она почувствовала, что поезд тронулся, но лейтенант обнял ее еще крепче, прижал плотнее. Он стал тихо раскачиваться вместе с ней. Поезд разгонялся, она уже слышала его ход, слышала, как кричат лейтенанту. Он вдруг отпустил ее, отступил. Поезд уходил. Они были так близко. Лейтенант смотрел на нее пристально блестящими глазами. И вдруг развернулся и бросился бежать. Лиза смотрела вслед, видела, как он ухватился на ходу за поручень в хвостовом вагоне и запрыгнул. Она думала, что он выглянет из вагона, но он не выглянул.

Поезд оттремел, его уже едва видно было вдали. Блестели на солнце рельсы. Лиза вдруг заплакала. Сквозь слезы она видела маленький кирпичный вокзал, подводу. Мужик стоял у подводы и, кажется, смотрел на Лизу. Он отбросил окурок и пошел через рельсы. Их было много, огромная, сверкающая сеть. Лизина платформа была островком, асфальтовым прямоугольником. Мужик, перешагивая через рельсы, дошел до ее островка. И выбрался на него. Он встал перед Лизой. Она шмыгнула носом.

— Ничего, — сказал он, — не на войну же едет.

— Ничего, — согласилась Лиза.

— Елизавета Сергеевна?

— Да, — отвечала она быстро, испуганно.

— Петр Андреевич, директор, — он протянул ей большую ладонь.

Лиза растеряно ее пожала. Вот ведь, сам директор ее встречает. Несет ее чемодан. Подсаживает ее на подводу. Сам лошадью управляет.

Лошадь шла тихо. Лиза смотрела вдаль широко раскрытыми глазами. Думала о лейтенанте. Какой странный все-таки человек. Всю дорогу, сутки за сутками, внимания на нее не обращал. Ходил в ресторан, возвращался с корявым мужиком, пил с ним водку всю ночь, и она слышала сквозь сон их шу-шу и прерывистый его смех, а мужик как будто ахал в ответ, а не смеялся. Утром лейтенант спал долго, на своей верхней полке, к полудню просыпался, потягивался, спускал босые ноги. Спрыгивал, надевал туфли со стоптанными задниками, гражданские туфли, старые, потертые. Шлепал в туалет. И ни разу не

заговорил с ней за весь долгий путь. Один раз угостил весь их вагонный закуток омулем — купил на станции. И она тоже ела, вкусная рыба, но дорогая. Когда поезд остановился вдруг у Байкала, он не испугался опоздать и побежал купаться. Говорил потом, что вода — чистый лед. Почему он вот так обнял ее на прощанье, Лиза не могла придумать. Может быть, она ему все же понравилась, но он стеснялся показать, а перед самым расставанием решился. Лизе было жалко, что они не поговорили ни разу, что навряд ли уже и увидятся, что ничего уже у них не будет. Лейтенант был несбывшееся. Лиза не горевала об этом. Вся жизнь была впереди. Подвода катилась по твердой земле, облака росли в глубину неба. Тень от подводы, лошади, директора и Лизы, их единая тень, удлинялась на закатном уже солнце. Эта тень накроет всю степь, когда солнце отправит земле последний прощальный луч и провалится за горизонт.

Домов еще не было видно, но уже запахло дымом, жильем. И лошадь побежала веселее. Как в романе девятнадцатого века. Героиней прошлого века почувствовала себя Лиза. Как будто кто-то уже описал ее жизнь. Как будто она жила по написанному и прочитанному.

— Умеете ли вы топить печь? — спросил директор.

— Да, умею.

Так ответила Лиза.

— У нас дома печь. Русская.

И это было правда, русская печь обогревала их дом. Вот только топить ее Лиза не топила. Полешки в огонь подбрасывала, золу выгребала железным совком. Дрова приносила из сарая. Пирог ела из печи и картошку. Маленькой забиралась на печь и пряталась за занавеской в сухом тепле. Но топила мать. И почему Лиза не призналась? Чего застыдилась?

— Мы вам уголь привезем, — сказал директор, — тут сараюшка есть во дворе. Весной огород устройте на навозе, парники. Так-то у нас вечная мерзлота, летом жара до сорока градусов, но земля не отходит в глубине.

Он посмотрел в растерянные Лизины глаза:

— Зато картошка у нас вкусней вашей.

Помолчал и добавил:

— И солнца много.

Чемодан ее он оставил у порога. Прошел по широким половицам к окну. Наклонился к стеклу. Посмотрел. Произнес удовлетворенно:

— Хорошо.

На прощанье он пожал Лизе руку и сказал, что завтра ей надо быть в школе.

Лиза вышла на крыльцо, посмотрела, как уезжает подвода. Лизе выделили дом на отшибе, зато на пригорке, так что весь поселок Лиза видела. Степь не была в здешних местах ровной и гладкой, как Лизе воображалось. Лиза посмотрела на поселок, который лежал уже в тени. Загорались там в домах огоньки.

Большой поселок. Почти что город. И дома есть большие, в несколько этажей. Директор сказал, что кинотеатра два. И клуб. Она бы пошла туда сейчас, но страшно потом возвращаться в темноте через пустынное место.

Лиза озябла стоять и ушла в дом. Дверь закрыла на засов.

Лиза села на стул у окна и стала смотреть на заходящее солнце. Красный

шар коснулся края земли и стал уходить за край. Подсвеченные красным облака гасли, как гаснет, остывая, раскаленный уголь.

Уже в темноте Лиза включила свет и взялась разбирать чемодан. Лиза распутала шпагат, сняла фанерную крышку и вынула пальто. Темно-синее, в талию, пошитое в мастерской к окончанию института, подарок родителей. Воротничок был серый, цигейковый, стоечкой. Лиза примерила пальто, зеркала в комнате не было, и Лиза подошла к окну, посмотреть на свое отражение в черном стекле, повернулась боком, растопырила руки, вообразила, что кто-то смотрит с той стороны, из ночи, на нее, и поспешно от окна отошла. И порешила добыть на другой же день занавески. Пальто она повесила на крючок у двери, под пальто поставила войлочные черные полусапожки на резиновом ходу. Со дна фанерного сундука достала белую простыню, села с этой простыней в обнимку на край узкой железной койки и вдохнула простынный запах. Простыня впитала полынный воздух их маленького городка. И даже грибами немножко пахла, которые Лиза чистила в саду, принеся их из леса тихим недавним утром. Лиза обрезала острым ножиком грибные ножки, а простыня висела рядом на провисшей веревке. Стекала с простыни вода, капала на листья смородины, и казалось, что дождик. Слепой, потому что светило мирное солнце, совсем не такое, как здешнее, все нороящее ослепить, а не осветить. Лиза постелила простыню на плоский матрац. Сундук свой затолкала под кровать, разделась подальше от окна, у стеночки, забралась в огромную, до пят, ночную рубашку, она тоже пахла домом, чистым воздухом родины. Лиза легла в постель, укрылась купленным в Москве китайским шерстяным одеялом. Подушка у нее была своя, пуховая, бабка отдала на хозяйство. Одеяло кололось.

«Куплю с получки пододеяльник, — подумала Лиза. — И лампу настольную. Хорошо бы приемник, чтоб голос человеческий был. А занавески прямо завтра. Это в первую голову». Свет она не погасила, чтобы не остаться одной в темноте на самом краю обитаемой земли.

Сон ей приснился, как будто за окном ходит лейтенант и смотрит строго — охраняет Лизин сон. За окном зима, он в белом полушубке, снег скрипит под лейтенантскими валенками. Лиза подумала: «На новом месте приснись жених невесте». И очнулась ото сна.

За окошком едва угадывался свет, видимо, было еще очень рано, и здесь, на западной стороне, лежала тень. Лиза подняла руку и посмотрела на часы, она их не сняла с запястья, когда ложилась. Часы стояли. Лиза вдохнула остывший за ночь воздух, решительно отбросила одеяло, опустила босые ноги на пол и ойкнула от ледяного прикосновения. Поскорей нащарила ногами тапочки, новенькие, купленные в Москве. Хотелось горячего чаю. Чайник стоял на шестке полный воды, дрова лежали в плетеной корзине, и Лиза решила испечь печь. Она заложила в печь дрова, нашла в чемодане старую газету, разорвала и затолкала обрывки между поленьями. Все в точности, как делала мать. И щепу наломала от полена большим кухонным ножом, подтолкнула в дрова и сверху дров положила щепу. Подожгла ее и газетные обрывки. Не забыла выдвинуть заслонку для тяги. Пламя занялось. Лиза смотрела на него, сидя на корточках у открытой дверцы печи, пока ноги не затекли. Прикрыла дверцу и подвинула тяжелый чайник на середину шестка, на самый большой огонь. Прибрала кровать. В запотевшем стекле протерла ладонью дорожку, показалось

в дорожке синее небо. Чайник загудел, закипел, расплескал кипяток, зашипевший на раскаленном чугуне.

Лиза нашла в шкафчике возле печки пачку прессованного чая, сахар-рафинад в коробке. И сказала тому, кто позаботился о припасах:

— Спасибо.

Наверно, это был директор.

Чай Лиза заварила в привезенной из дома большой фарфоровой чашке. Пила долго, основательно, как после бани они пили чай дома. Крепкий, сладкий. После чая чистила зубы в холодном коридоре под рукомойником. Вода лилась из раковины в помойное ведро. Лиза надела летнее платье василькового цвета. Оно измялось в чемодане, но утюга в доме не нашлось. Зеркала очень недоставало.

«А дом — как таежная избушка, — подумала Лиза, — с припасами для прохожих, остров спасения».

Лиза вышла на крыльцо навстречу солнцу. Она остановилась и посмотрела на поселок внизу. Разглядела белое, в четыре этажа, здание школы. Дым из красной заводской трубы растворялся в синем небе бесследно. Лиза вдохнула поглубже новый воздух и спустилась по двум ступеням на тропинку. Тропинка повела ее вниз, повернула направо, и поселок исчез из поля зрения, и Лиза уже не была уверена, что тропинка приведет ее к нему. Она шла в ложине под ярким солнцем и готова была ко всему, к тому, что тропинка заморочит и вернет к дому, что поселок — мираж, что Лиза сейчас на другой планете в тысяче световых лет от родной земли. Как в фантастической книжке. Лиза прибавила шаг. Ей казалось, что она шагает уже очень давно, онемевшие часы не могли подсказать время. Тропинка вдруг уперлась в серый забор. Лиза посмотрела на забор недоуменно. Забор был высокий, ничего не видно, что за ним. И доски пригнаны плотно. Серые, сухие, отливают на солнце серебром. Тропинка разбегалась на две. Можно было пойти вдоль забора налево, а можно направо. Лиза повернула налево, под горку. Шла вдоль забора, шла и вдруг увидела, что одна доска перекошена, взялась за край. Доска держалась на одном только верхнем гвозде, так что Лиза ее сдвинула и заглянула в проем. Она увидела асфальтовую дорогу, потрескавшуюся и сверкающую на солнце. Пустынную, как будто заброшенную. Лиза еще сдвинула доску и пролезла в проем. Лиза вышла на дорогу и увидела поселок, он начинался прямо за дорогой. Лиза услышала шум мотора, по дороге приближался грузовик. У Лизы он сбросил скорость, и шофер крикнул из кабины:

— Подкинуть?

Лиза замотала головой, шофер рассмеялся, грузовик взревел и умчался по блестящей дороге. Лиза посмотрела ему вслед, расправила подол платья и перешла на другую сторону.

«Большой поселок, — думала Лиза, — тротуары широкие, тополя растут, у деревянных домов железные крыши. Наверное, где-то рядом леса, оттуда деревья на растопку и на строительство, улица какая длинная, прохожих нет».

Во дворе за низким штакетником мужчина и женщина пилили бревно двуручной пилой, пила застряла, выгнулась, они приподняли ее и осторожно повели: вжик-вжик. Сталь отливала на солнце.

«Школа вот она, кирпичная, оштукатуренная белая, окна большие, классы, наверное, светлые».

Лиза приостановилась у школьного крыльца, подняла голову и увидела, что из открытого окна на четвертом этаже смотрит на нее седая, морщинистая женщина.

В фойе оказалось прохладно и темно после улицы. Лиза направилась к лестнице. Каменные широкие перила были выкрашены коричневой краской. Лиза поднялась на третий этаж, прошла по паркетному коридору до высокой двери с табличкой УЧИТЕЛЬСКАЯ. И постучала.

Директора на месте не было, но Лизу ждали. Встретили ласково. Одна молоденькая учительница принесла торт, у нее сегодня был день рождения. На электрической плитке вскипятили чайник. Торт был темно-коричневый с белым кремом. Лизу просили угадать, из чего торт. Он был очень вкусный, похож на шоколадный. Лиза так и сказала:

— Шоколадный.

Не угадала. Торт оказался черемуховый, в здешних местах сушили черемуху и мололи на муку.

После торта мыли окна в классах. Лиза всматривалась в учительниц, думала узнать глядевшую на нее с четвертого этажа, но не узнавала. После окон был педсовет, Лизе сказали, что она будет вести физику в шестом классе, что класс сложный, но ей помогут. После педсовета стали расходиться, Лиза медлила, ушла последней.

Спросила у прохожего, где булочная, он показал. Лиза взяла половину черного хлеба. В продуктовом взяла банку китайской тушенки. Несла по улице в руках. Хлеб пах вкусно. Лизу окликнули. Учительница, угощавшая тортом, перекапывала огород. Лиза сказала:

— А есть у вас еще лопата?

Учительницу звали Валюшей, она дала Лизе надеть старый спортивный костюм, в котором еще ходила в школу на физкультуру. Вскопали землю. Умылись в огороде, поливая друг дружку на руки из ковшика. Отварили картошки, открыли Лизину тушенку.

— А дома я рождение не отмечаю, — говорила Валюша.

— Да как же?

— Не знаю. Не привыкла. Ну так, если выпьем вечером за ужином за здоровье, у нас самогон, хочешь?

Лиза сказала решительно:

— Хочу.

Солнце склонялось к западу. Валюша сказала, что скоро придет с работы муж, Лизе страшно было думать об обратной дороге, от страха она и выпила самогон.

— Ты ешь, ешь, а то опьянеешь, — говорила Валюша, — я картошки много наварила, всем хватит.

Наевшись, Лиза сказала, что ей пора, и Валюша проводила ее до калитки. И осталась там у калитки ждать мужа. От самогона Лиза и вправду позабыла страх. Шла под сереющим пепельным небом, ступала твердо. Шла на запад, куда ушло уже солнце. Воздух становился прохладным, но Лизе было тепло, и она казалась сама себе очень красивой в васильковом платье, ей было жалко, что

директор не увидел ее в этом платье, он-то еще увидит, а вот лейтенант никогда. Лиза пересекла дорогу, нашла дырку в заборе, перелезла через нее на тропу. И отправилась по тропе решительно и спокойно. Небо еще светилося бледным отсветом. До полной, окончательной темноты Лиза добралась до дома, посмотрела с крыльца на поселковые огни, они мерцали внизу, отворила дверь.

Лиза вошла в темную комнату и увидела ночное окно. Не включая света, подошла к окну, нащупала спинку стула. Села. Посидела в тишине. Почувствовала себя оторванной ото всех на свете, на краю земли. Поплакала. Потрогала молчащие на запястье часы. Завела вслепую. Поднесла к уху. Часы стрекотали.

Земля и небо

Серый зимний день. Хочется сказать, что он сирий. Светит серым и сирым, и все-таки ослепляет. Жалкий свет ослепляет в чистом снежном поле. Поле чистое, но снег грязный, старый, зачерствелый. Кто-то из маленьких людей решается на него ступить и с треском проваливается. Учительница вытаскивает человечка на тропинку, велит вытряхнуть из валенок снег, она сердится, она говорит, что ничего на нас не действует, даже смерть. Она тоже маленькая в этом поле, перед лицом смерти, о которой я не задумываюсь, я не понимаю, что это такое, смерть.

— Вы как животные, — говорит учительница.

Она идет впереди. Ветер пахнет печным дымом. И запах этот тоже кажется серым и сирым. Деревенским.

Мы совсем близко к мертвому телу, которое идем хоронить.

Мать вспоминала — на то они и поминки, чтоб вспоминать, — как Санечка играл в почтальона, разносил в большой сумке старые газеты. Газеты хранили на растопку.

— Василь Петрович подумал, что и вправду новую газету принесли, надел очки... И Василь Петровича уже нет. Встретились там с Санечкой, глядят с неба на нас.

Мать всплакнула, утерла концом платка слезы. Второй ее сын, Вовка, Санькин погодок и одноклассник, произнес низким голосом:

— Это я газеты разносил, ты перепутала.

— Помолчи, — только то и сказала ему мать. А когда увидела его вечером возле избы пьяным, залепила по лицу, крикнула:

— Лучше бы это ты умер!

И пошла причитать:

— В пятом классе парень водку пьет, а что дальше? Дальше что? Тюрьма? Для чего рожала, господи? Для чего ты Сашеньку взял, отраду мою тихую? Помощника моего. Этого не уговоришь, а Санечку и просить не надо было, видит, что воды нет, берет ведра и за водой. Что ты стоишь, таращишься? Уйди с глаз долой, не томи душу.

Вовка отступает и падает в снег. И, упав, смеется. Он лежит смеется, а мать стоит плачет.

С Вовкой мы сидели за одной партой, у нас в классе были самые настоящие тяжеленные парты с откидными крышками. Как танки с люками. Мы с ним были дружный экипаж. Школа на заводской окраине, на задворках; дома, как в деревне, с печками. Так что и я ходила за водой, колола дрова и расчищала деревянной лопатой снег. Была к земле близко, была из грязи, из глины. И смотрела в живой огонь.

Вовка стал не такой веселый после братниной смерти, за каждым взглядом ему чудилось: лучше бы это ты умер. Мертвый стал живее его.

Я после пятого класса уехала в другой город, Вовку помню до сих пор и тихого его брата Саньку. Может, уже и встретились на небесах. Все там будем. Как только в землю, так и на небо вмиг.

Витька

У меня сохранилось видео. Если верить цифрам в углу экрана, за девяносто девятый год. Ноябрь месяц, двадцать третье. Я прошу Витьку показать картинки.

— С удовольствием.

Он вынимает папку, в ней хранятся картинки, переложенные прозрачной бумагой, прозрачным туманом. Туман приглушает цвета, он делает существование этих пейзажей и этих людей почти возможным. Витька снимает покров, обнажает карандашные штрихи. Мой объектив приближает рисунок. Приближает настолько, что штрихи и контуры начинают расплываться. И вновь кажется возможным существование этого пейзажа, существование не на листе бумаги, а в действительности. Кажется, что можно в него вступить.

Витьке недавно исполнилось пятьдесят. Он невысокий, смешливый, крепкий, с седым ежиком на круглой голове. Он приходит к нам пить чай. Над нашим столом висит картонная табличка «Чаепитие в Мытищах» — черные округлые буквы на сером картоне. В тумбочке возле стола толпятся чашки, лежат печенье, сухари, хлеб, иногда там нет ни крошки и нечего подать к чаю, да и самого чая, случается, нет; ни чая, ни кофе, ни кусочка сахара. И тогда Витька не приходит. Он чувствует, когда еды нет.

Витька наслаждается беседой. Он прихлебывает кофе из высокой кружки (растворимый, с молоком и сахаром, из блестящего пакетика «три в одном»), прихлебывает и говорит о Тинторетто, о древних пейзажах, о римской архитектуре, о тамошнем солнце.

Наши Мытищи — в музейном коридоре. Иногда мне кажется, что это коридор подводной лодки. Тускло светят лампы в низком, рукой могу коснуться, потолке. Глубина погружения чуть больше двух тысяч лет, развалины Древнего Рима. Мы проплываем между желтых колонн, рассматриваем черные тени.

— Тинторетто, — говорит Витька.

Виноград обвивает развалины. Он несъедобен. И здешнее солнце не греет. Это воспоминание о солнце.

В Ясной Поляне в начале жаркого зеленого мая мы лежали с Витькой в траве, музейные барышни голышом ныряли в пруд.

«Сныть».

Витька сорвал листок.

Мы жевали листья, солнце слепило, Витька шурился, я отдала ему свои очки, и он смотрел сквозь толстые стекла на плавающих в черном пруду женщин. Черная вода, ярко-зеленая ряска. Стекла улавливали стремившийся исчезнуть в тумане мир, приближали, делали четким, ясным и несуществующим. В том смысле, что в этом ясном мире не оставалось для тебя места, в нем все оказалось занято, каждая точка. Все прорисовано, продумано, нет искажений, нет тебя, потому что ты и есть искажение, погрешность непогрешимых линий, возможная лишь в тумане.

Витька смотрел, смеялся, трава качалась над нами. Такими мы вдруг стали маленькими, почти детьми.

Через несколько лет хранитель изобразительного фонда Витька ушел из музея кино в музей фотографии на зарплату побольше. Он жил с мамой примерно в такой же хрущобной пятиэтажке, как и я, примерно в таком же поселке, чуть восточнее, чуть ближе к восходящему солнцу.

Витька умер недавно от рака прямой кишки. Солнцу и смерти в лицо не взглянешь, — вычитала я недавно у Даля.

На днях мне приснился сон.

Как будто бы Витька едет в поезде с целителем до глухой дальней станции, там родник со святой водой, целитель обещал излечить Витьку этой водой. И непременно нужно ехать вместе, ночью. Витьке не спится, он лежит на верхней полке с открытыми глазами. Поезд останавливается на полустанке и стоит долго. Целитель просыпается и спрыгивает вниз, выбирается из душного вагона. Витька смотрит в окно.

Целитель стоит на платформе, закуривает. К нему подходит человек, лица его Витька разглядеть не может, лицо в тени. Человек выхватывает из кармана нож.

Витька выскакивает на платформу и успевает перехватить руку с ножом. И человек исчезает, рука держит пустоту.

Нож звякает об асфальт. Лезвие у ножа широкое, светлое.

Витька и целитель остаются одни на платформе. Поезд их ушел. Они стоят на растрескавшемся асфальте, пахнет мазутом, вскрикивает тепловоз. Целитель признается Витьке, что не сможет его спасти.

Город

Таня подходит к окну. Ей нравится вид: поле, тропинка, маленький велосипедист, темный лес на горизонте, облако — точно громадная башня. Таня открывает створку, вдыхает свежий воздух. Долгий июньский вечер, теплынь. Часы говорят дин-дон, Таня оборачивается и смотрит время.

Она вновь обращается к окну и видит на месте поля город. Небольшой дом на окраине, толпа ждет автобус. Дом серый, с железной крышей, из трубы идет дым. В городе холодно, осень, ветер гонит мусор, сухие листья, люди на остановке отворачиваются от ветра, поднимают воротники. Город старый,

большой, вдалеке видны река, купола церквей и колесо обозрения. Колесо медленно вращается.

Затрезвонил мобильник на подоконнике, Таня вздрогнула, схватила трубку.

— Ты это видишь? — закричал тонкий мальчишеский голос. — Видишь?!

— Что?

— Город. В окно посмотри! Город! Видишь?!

— Вижу. Не ори.

— А я думал, я один вижу.

— Не один. Это мираж.

— Нет.

— А что еще?

— О, смотри, автобус подъехал.

— Допотопный у них автобус.

— У них там осень конкретно.

Автобус ушел. На лавке под навесом осталась старуха.

— Это я придумал. Город. Увидел мысленно. Как будто бы он есть на нашем поле. Подошел к окну, а он и правда — есть. Точно такой, как я придумал. Что молчишь? Эй, Таня!

— А старуха зачем сидит?

— А что?

— Автобус ушел, а она осталась.

— И что?

— Почему?

— Другой автобус ждет.

— Точно?

— Не знаю.

— А вот тетка подошла и с ней рядом села и что-то спросила, а старуха ответила. О чем они говорят?

— Откуда я знаю?

— Вот так здрасьте. Ты этот город придумал со всеми потрохами, ты должен знать.

— Я не знаю.

— Да ладно.

— Правда.

— И тетку эту не знаешь? Активная тетка.

— Не знаю.

— А должен бы. Что молчишь?

— Ты мне не веришь. Хорошо. Не уходи от окна.

Таня не уходила.

У них было лето, а над городом дул ледяной ветер. Автобус подкатил и увез тетку. Старуха оставалась на лавке. Может, ждала кого.

Петька выскочил из подъезда и направился к городу. Обернулся на ходу и помахал Тане белой ладонью. Он вошел в город и съежился от холода.

«Дурачок, — подумала Таня, — мог бы догадаться захватить куртку».

Петька приблизился к старухе, присел возле нее на лавку, что-то спросил. Старуха повернула к нему лицо. Автобус загородил их от Тани. Ушел. И Таня

увидела опустевшую лавку. Собачонка пробежала. Окно засветилось в доме под железной крышей.

Таня торопливо вышла из квартиры. Замкнула дверь, не дождавшись лифта, скатилась вниз по лестнице. Выскочила из подъезда. Побежала по тропинке к городу. Дом под железной крышей приближался, Таня уже различила кошку за освещенным окном. Таня подождала, пока проедет грузовик с красными газовыми баллонами в кузове, и шагнула на серый асфальт дороги.

Дороги не было. Таня стояла на тропинке, в поле. Облако плыло в громадном небе, таял белый след давно пролетевшего самолета, где-то далеко шел поезд. Город исчез. Солнце заходило за край леса. Таня прошла немного по тропинке и вернулась к дому.

Утром за завтраком мать спрашивала, не знает ли она, куда делся Петька.

— Валентина его обыскала вчера, все морги обзвонила.

Петя не вернулся. Таня порой вспоминала о городе, который он выдумал для себя.

Встречные

Предположим, я включаю телевизор и попадаю на середину фильма. Я вижу, что бегут по дороге люди, дорога широкая, асфальт гладкий, машин нет. Люди на спортсменов не похожи, в повседневной одежде, лица утомлены. Почему все это так происходит, непонятно, надо смотреть дальше или с начала. Если возможность имеется. А если нет и не представится? Какое объяснение этой сцене? Заколдовали их? Вирусом заразили? Игра? Или вот сейчас герой проснется в тихой комнате, встанет осторожно, чтоб не разбудить жену, пойдет на кухню, сядет у стола, достанет сигарету. Кто знает. И Шерлок Холмс не даст точного ответа.

Тот, кто проснулся, был он среди бегущих? В своем собственном сне.

Вариантов много, как веток на дереве, но продвижение дальше, к финалу, выбор — отсекает варианты. Сюжет — это сужение спектра.

Тысяча девятьсот девяносто третий. Время года и время суток забыты. Мы стоим на платформе, я и мой друг. Мы ждем поезд в метро. Дует подземный ветер. «Я свободен», — говорит друг. Он развелся? Уволился? От чего он свободен? Отказ, момент отказа — это и есть свобода. Я так полагаю. Другой свободы не вижу. Ты свободен, когда снимаешься с якоря, только в этот миг.

Дует подземный ветер, светильники покачиваются над нашими головами. Приходит поезд. И уходит без нас. Мы по-прежнему на платформе, в мраморном подземелье. Мы не хотим выбирать, не хотим свободы, мы не хотим дальше. Мы задержались. Рядом, вместе. За спиной — тоннель, черное жерло. Мы пропускаем поезд.

Две тысячи первый. Февраль. Тамбур александровской электрички. Заплеванный, гремящий. За дверями несется земля, но мы ее не видим — стекла в испарине. Мужчина стоит на железном краю у сомкнутых дверей. Смотрит в туман на стекле и пожирает клубнику. Из целлофанового пакета. Она сейчас дорогая. Мужчина одет в черную куртку, джинсы и кроссовки. Он хватается ягоды

темными широкими пальцами и пожирает торопливо, жадно. Он наслаждается. Глаза его влажно блестят. Мне кажется, что это высшая точка удовольствия, которой он способен достичь. Мне придумалось, что он только что вышел из тюрьмы, на волю, что он мечтал о клубнике и вот дорвался. Бог его знает.

Моя платформа. Отворяются двери. Я выскакиваю и бегу к автобусу.

Это вам не фильм, который можно скачать в интернете и посмотреть целиком. У сцены с клубникой я не найду ни начала, ни продолжения. Я могу думать, что мне заблагорассудится.

Заплеванный тамбур, красная ягода в качающемся целлофане, безумные, ошалевшие от счастья глаза, мерцающий огонь сигареты у противоположной двери. Мерцающий огонь я выдумала прямо сейчас.

Сосед разбудил телефонным звонком.

— Купи у меня хрусталь.

Загадки нет. Огромный панельный московский дом шел под снос, люди уезжали и не все брали с собой. Хрусталь когда-то был в моде, хрусталь — это застывшее когда-то, прозрачное прошлое, тяжелое и хрупкое. Прошлое занимает слишком много места, в будущее с ним не пробьешься, прошлое надо сдавать в музеи, пусть вытирают с него пыль, пусть склеивают осколки. Хрустальный зал. Прошлое — хрупкая вещь.

Четверть века назад моя подружка вышла замуж, они сняли квартиру в большом московском доме, хозяин недавно умер, наследнице не нужны были его бедные вещи, и мы вынесли их на помойку. Фотографии, письма, записная книжка с именами и телефонами. Что-то они могли сказать об умершем, но я была невнимательна.

А если нечаянно увидеть в этой записной книжке свое собственное имя? И телефон.

Это бы меня поразило. И я бы прочла и обдумала каждое слово. Каждую пометку. Каждое даже пятно. Я бы вгляделась в каждое лицо на фотоснимках. В каждую тень. Я бы расспросила о нем всех его знакомых. Не думаю, что я бы выяснила, отчего оказалась у него в записной книжке — именем-отчеством, фамилией и телефоном. Но его бы уже не забыла. Ни лицо его, ни имя, ни занятия, ни привычки. Сейчас я могу только придумать его. И, возможно, нечаянно угадать.

Конец января две тысячи одиннадцатого года. Минус семнадцать.

Я шла к метро «Охотный ряд». За театром оперетты улочку перегораживали два мента в бледно-зеленых отражающих свет жилетах.

— Метро закрыто на вход, — сказали они. — И на Тверской тоже.

Я спросила насчет «Лубянки», и они уверили, что там открыто. Меня догнал парень и спросил растерянно, как же ему дойти до метро «Кузнецкий мост». Долговязый, в красной трикотажной курточке с красным капюшоном на голове, в серых спортивных штанах и белых кроссовках. Я попыталась объяснить дорогу, он не понимал.

— Держитесь меня, — велела я, — нам по дороге.

Мы отправились в путь.

— Как же холодно в Москве, — пожаловался он.

- Вы одеты слишком легко.
 - Нет, нормально, у меня термобелье. И носки теплые, я за них семьсот рублей отдал, я не мерзну, у меня воспаление почек сейчас.
 - Надо бы куртку подлиннее.
 - Я не мерзну. Я себе пенициллин колю, в аптеке покупаю, у меня хроническое.
 - Надо бы все-таки потеплее.
 - Я не мерзну.
 - Траву, может быть, пить? Против воспаления. Душицу.
 - Я пью. Клюкву. Долго еще идти? Зима какая холодная в Москве.
 - А вы откуда?
 - Я из Анапы. Я девушке своей звонил, там плюс пятнадцать.
 - Еще немного и направо. Вы здесь учитесь?
 - Работаю. Сегодня первый день. Но меня отпустили.
- Долговязая фигура в красном колпаке.

Я встретила его вновь, в парке ледяных фигур, на набережной. Он и был одной из ледяных фигур. Остановлен жезлом снежной королевы. Я всматривалась в его ледяные глаза, я держала его за руку и пыталась согреть. Рука истончалась в моей горячей ладони. Плавилась. На нем была ледяная красная куртка с красным ледяным капюшоном. Единственное цветное пятно. Он стоял чуть в стороне от дедов морозов, снегурочек и богатырей. Он сиял на закатном солнце, на ледяном ветру. Я навещала его до конца мая, до того дня, пока он совсем не растаял и не ушел в землю, как и все мы уйдем.

Почерк

Разбирать почерк несложно. В ясных вашему глазу словах отмечаете манеру написания букв. К примеру, «о» — с разрывом в верхнем правом углу, «д» не с крючком внизу, а с ручкой наверху, напоминает печатную «б», ее зеркальное отражение. И так далее. И можно разгадать неразборчивое слово. Неплохо понимать, что за человек писал письмо, чем занимался, к кому обращался. Это помогает. В конце концов сам текст, его тон, затронутые темы, особенности лексики раскрывают автора. Экспертам-графологам это известно.

Я работаю не в отделе криминалистики, а в отделе рукописей музея кино, читаю письма, как правило, ушедших людей. Покойным уже ничего невозможно инкриминировать. Их нет. Хотя порой строчки, бегущие или медлящие, мне кажутся жилами, по которым течет их кровь. В этих строчках авторы живы. Для меня.

Разбирать нетрудно. Необходимо внимание, желание понять, культурный багаж (не особенно обременительный). Но бывают случаи из ряда вон выходящие, когда одного внимания, желания и даже некоторого опыта недостаточно. Когда нужно что-то еще.

Несколько лет назад в музей пришел архив актера, известного в эпоху немого кино, актера, насколько я могу судить, прекрасного. Он играл персонажей слабых, тихих, незлобивых. Пожалуй, они скорее казались слабыми — из-за тихости. Смирных людей он показывал, так скажем. Худой, высокий, с огромными, печальными глазами. Однажды я встретила в электричке очень

похожего на него человека. Безногого в инвалидном кресле. Большая хмурая женщина подавала ему пирожок в промасленной бумаге.

Он отрешенно съел пирожок, она забрала бумагу, скомкала и выбросила в мусорный ящик. Одно время появились в вагонах эти ящики, но не прижились. Народу в электричке было немного, шла она шибко, колеса громыхали, ветер врывается в открытые окна. Женщина на сиденье возле дверей очевидно за инвалидом присматривала. Поезд подходил к станции. Кажется, это были Мытищи. Женщина поднялась и повернула кресло к выходу. Инвалид увидел свое отражение в стекле сомкнутых дверей, поднял тонкую руку и провел по волосам.

Архив покойного актера оказался небольшим. Несколько удостоверений, несколько фотографий и густо исписанная общая тетрадь. Я не смогла в ней прочесть ни слова.

В паспорте, который заводится на каждый поступающий в фонд музея документ, я записала, сколько в тетради листов. Пятьдесят девять (некоторые были выдраны). Написала, что обложка коленкоровая, темно-коричневого цвета, с заломами по углам. Написала, что бумага окислена, в пятнах, что листы — ветхие по краям. Я описала тетрадь даже слишком подробно. Точно извиняясь за то, что ничего не могу сказать о содержании.

Я знаю человека, способного разобрать любой почерк. Обращаются к нему в случае крайней необходимости. У него тяжелый характер и мрачный взгляд на вещи. И он словно заражает своей мрачностью. Даже когда говоришь с ним по телефону. Но я и с такими людьми лажу.

Он был дома и взял трубку. Сказал, что у него нет времени, что он устал, что у него болит голова, что надо сдавать материал в редакцию.

— Одно слово, фраза — еще куда ни шло, но толстая тетрадь в пятьдесят девять листов, нет уж, увольте.

— Хорошо, — согласилась я, — пусть будет одна фраза.

Ехать к нему долго. Подземным поездом и медленным автобусом, из которого каждый встречный дом кажется отражением другого, кажется только что виденным. От остановки идти через громадный двор. Было начало лета, но сухие листья уже шуршали по асфальту.

Я позвонила в домофон и сказала, что взяла в булочной медовый торт.

Квартира была старая, запущенная. За окнами росли березы. И отчего-то казалось, что дом стоит под водой, что березовые мелкие листья шевелит не ветер, а течение. Возможно, так казалось оттого, что окна глядели на север, да и березы загораживали от света, и в квартире стоял вечный, прохладный полумрак.

Он указал мне место на диване, а сам устроился с тетрадью за столом. На столе громоздились бумаги, книги, раскрытые и закрытые, с торчащими листочками-закладками. Книги лежали и на диване возле меня, и на полу, теснились в книжных шкафах.

Он раскрыл тетрадь. Я хорошо видела его лицо в свете настольной лампы. Оно оставалось неподвижным все время чтения. Сосредоточенным, хмурым. Палец правой руки иногда как будто что-то рисовал на столешнице. Может быть, выводил букву — такую же, как в тетради. Очень может быть. Я тоже срисовывала буквы, пытаясь их распознать, правда на листочке карандашом, а

не пальцем на столешнице. Но принцип тот же. Ты как будто повторяешь походку: почерк — это ведь тоже походка своего рода.

Он прочитал все пятьдесят девять листов, закрыл тетрадь и посмотрел на меня.

— Бытовые подробности. Текущее. Сходил в магазин. Прочел книгу. Встретил на улице знакомого, у него привычка в разговоре касаться собеседника, хотя бы рукава. Про съемки ничего, он не снимался в этот период. Потому, наверно, и взялся писать. Чтоб заполнить дни.

— Бытовые подробности тоже интересно.

— Не спорю. Я вам расшифрую первый абзац, а дальше сами справитесь, раз есть желание. Держите тетрадь, небось, без спросу утащили.

— Для дела же.

И все-таки после чтения этой тетради я заметила перемену в его лице. Оно смягчилось. И глаза стали как будто больше. Я сказала:

— Вы сейчас на него похожи.

Он повернул голову и взглянул на себя в зеркало громоздкого, будто вросшего уже в пол, шифоньера. Поднял тонкую руку и провел по волосам.

В кухне он зажег свет и поставил чайник. Я вымыла громоздившуюся в мойке и не столе посуду. Чайник закипел.

Мы пили чай, я рассказывала о недавно увиденном фильме, он смотрел на меня все еще мягким, растерянным взглядом. Я замолчала.

— Знаете, — произнес он негромко, — я в детстве жил в интернате, родители уехали за границу, а меня оставили, тетка навещала, отец писал большие письма, а мать приписывала в конце письма несколько строк; у нее почерк был ясный, а у отца невозможный, но я разбирал, именно тогда и научился разбирать. Я знал о нем больше, чем он писал. Больше, чем он мог написать.

Окна

1

На одной планете, если выпадал ясный денек, то взлетающий в своем личном космическом кораблике человек так и шел в ясной небесной синеве все выше и выше, и конца и краю не было синеве и солнечному сиянию и легким дымным облакам, следующим по своим воздушным путям. В другой день, пасмурный и глухой, космический кораблик поднимался в сумраке, в серой мгле. И можно было хоть сто лет лететь со скоростью света, и все будет мгла вечная. Но если не взлетать в этот мглистый день и дожидаться другого, когда валит, к примеру, крупный снег, и взлететь в такой день, то так и будешь лететь среди снега, против его течения, веки вечные.

Если на этой планете увидишь поутру из окна деревню, то можешь дойти до нее. И поспеши, друг, потому что в день следующий ты можешь и не увидеть из своего окна деревни, а увидишь глухой лес, и тогда иди до него, коли охота, но ружье не забудь, в лесу живут волки. В другое утро можно увидеть город, стеклянные небоскребы, и тогда возможно дойти до города, побродить по его улицам, зайти в кофейню, взять в супермаркете еды про запас и с тем вернуться вечером в свой дом. Что там будет поутру за окном, бог весть.

Ты не выбираешь.

2

Дом, а в доме хозяйка, хозяйничает, моет что-то или готовит, или носок штопает и поглядывает, кстати, в окно, за которым прекрасное солнечное утро, зеленое, тихое, сонное, мирное, с белым облаком в синем небе. Она, значит, штопает, а облако потихоньку плывет, она суп варит, пробует на вкус, в окошко поглядывает, такая там нега, за окном, раннее лето, листья трепещут. Она наконец все сделала, оделась, идет к двери, открывает, выходит на крыльцо, и нет никакого лета, никакого света, мрачная пустынная земля, резкий ветер рвет платье, темное неподвижное небо над пустыней, она смотрит на это все с большой грустью и возвращается в дом, где за окном лето, нежный зеленый свет.

Киномеханики

Тени возрождаются и вновь проживают свою маленькую жизнь. Но это «вновь» бессмысленно, потому что нет никакой нови, их предыдущая жизнь ничем не отличается от последующей, и все повторяется в той же последовательности, в тех же подробностях, все совпадает до секунды. Нет, это ошибка, большая ошибка, так думать, совпадения нет, хотя в прозвище управителей теней, в его составе, есть часть «механик».

Они и вправду управляют механизмами — заправляют в них прозрачную ленту, включают, и лента крутится, как крутятся стрелки часов по одному и тому же кругу, без отступлений. Но ведь и у часов случается замедление хода или ускорение, нет непогрешимых механизмов, как ни старайся, как ни отлаживай, сбой все же произойдет, непредвиденная остановка, как полустанок в чистом поле, тот, из моего сна про Витьку.

Механики кино пьют вино и курят горькие папиросы, прозрачные ленты — воплощенный туман — их не занимают, их сознание и без того туманно, их взгляд рассеян, они путают части, и судьба призраков колеблется, накреняется, финал прошлой жизни оказывается началом нынешней, зрители свистят или думают, что так и следует, так и должно быть. Я в той части зрителей, которая покорна судьбе. Как сложится.

Зрители для механиков не существуют; когда включаются механизмы, в зале гаснет свет, публика пропадает во тьме, пропадает в буквальном смысле для механиков кино, они сидят над темным провалом зрительного зала в маленькой освещенной комнате, у которой когда-то было название «будка», наливают в стаканы спиртное и пьют, не закусывая, чтобы туман не рассеивался, а сгущался, в нем они существуют, а в ясном мире, строгом, расчерченном, они и сами чувствуют себя призраками, кинемеханики музея кино, им посвящается этот текст.

Сеанс окончен, части фильма лежат в жестяных коробках, скорей всего, они перепутаны и название на наклейке не соответствует содержанию. Неважно. Сеанс окончен. Кинемеханик гасит в будке свет и выходит на лестничную площадку. Гремит железным ключом.

Дым сигарет на площадке. Людей нет.

Владимир Пучков

Небесная пропасть ума

* * *

Я придумал мир, а он сочинил меня,
Словно бросил камень, как в речку, в родную речь!
Но босые ноги мои посекала стерня,
Но большие руки мои посекала картечь.

Но остался голос, идущий из глубины,
И осталось зренье, идущее в глубину,
И ночные просторы моей ледяной страны,
Если только небо принять за свою страну.

* * *

Кустарник похож на кириллицу: дикая вязь —
То звери спуют, то мелькают какие-то птицы,
И древнее небо в колючих просветах клубится,
Как Божье дыхание в каждом из нас!

Ты ветку отлочишь и умную букву сотрёшь,
И выпустишь небо из тёмного, дивного плена,
Ты, словно садовник, с ножом по участку идёшь,
Ты истину ищешь, сжимая отточенный нож,
И с каждым ударом пустеет вокруг постепенно.

* * *

Зима, а снега нет,
Черно, как на плацу.
И тени от планет
Проходят по лицу.

Сквозь коллективный лес,
Трескучий, как мороз,
Где каждый звук — отвес,
Я выйду на откос.

Дремучий лес планет,
Неизреченный google,
Колючий интернет,
Чей небосвод округл,

Открой мне этот век,
Растущий вкривь и вкось!
Пока не выпал снег,
Душа видна насквозь.

* * *

Льву Тимофееву

Широкие дни листопада, кромешная тьма.
Веди нас по кругу, небесная пропасть ума!
Свети нам в колодцы, где дымное солнце растёт
Где зренье напьётся, а каменный слух зацветёт.

Четырёхугольное эхо стоит на земле
И время ветвится и тянется к небу, как ствол,
И капельки крови застыли в железной смоле,
Но каждая капля горит, словно Божий глагол!

* * *

Ночью звуки растут, вытягиваясь в длину,
И земля, как морозный выдох, лежит светла,
Кто-то вскроет бутылку пива в родном Клину,
А у нас, во Владимире, дрогнут колокола.

Где-то в Вологде стукнет обходчик в железный рельс,
А на Каме сорвутся птицы с нагретых мест,
И усталый челнок, потирая небритый фейс,
Прижимает баул, оглядываясь окрест.

Но ни зги не видно в заросшем ночном окне,
Лишь гудит автобус, вытягиваясь в длину,
От Москвы до Камы, сверкающий в глубине,
Как случайный отзвук, летя через всю страну.

* * *

Лес поднимается к небу, словно сибирский острог,
Воздух огромен. Каменная река
Дышит изгнанием. Что серебрит висок?
Только не холод, идущий из глубока.

Хвойное время, растущее из корней,
Божественной речи — кедровник и молодняк
Прячет в себе белейшую из теней —
Эвридику, легкую, как сквозняк.

* * *

В самые тёмные заводи спящего мира
Мы, как монета в прореху, невольно запали,
В камень вернулся Орфей, и тяжёлая лира
Стала кустарником, окаменев от печали.

Корни пустила, надеясь проникнуть Аида
В тёмную область, где жив её прежний хозяин,
Тоже печален, и тень её держит для вида,
Бросить не может — их намертво боги связали.

А наверху ветерок и глубокой прохлады
Узкие штольни зияют сквозь редкие ветки,
Мы отдохнём, поневоле молчанию рады,
Здесь, где оно наивысшей достигло отметки.

* * *

Рыхлые тени, намокнув, лежат в воде,
Всюду — молчанье, и не видать нигде
Птичьего крика, чернеющего, как гвоздь
И под ногой скрипит ледяная ость!
Холод, витийство речи, уставшей прясть
Снежные заросли непроходимой лжи!
В небе, готовом выпасть, но не упасть,
Снег, словно прошва, простёгивает этажи!
Выйди на волю, где нечем дышать и жить,
Где на колёса накручивается ночь,
Что из осколков мира мы сможем сшить?
Может быть, целую жизнь, если ты не прочь!

Ольга Брейнингер

В Советском Союзе не было аддерола

Роман

Часть 1. Советский Союз, которого уже никогда не будет, и города, о которых все забыли

Глава первая, в которой я приезжаю в Чикаго на ежегодную конференцию Международной ассоциации славистов и по дороге рассказываю о том, как стала объектом «эксперимента века»

Первую главу «Гламорамы» Эллиса никому не повторить. Пять, целых пять страниц о том, как разъяренный Виктор отчитывает всех за крапинки на стене, крапинки, которых никто кроме него не видит, и поминутно называет всех «детка», и от раздражения самой ситуацией и этим словом теряешь перспективу и ненавидишь и Виктора, и Эллиса, и саму книгу так, что когда доходит до настоящего — терроризма, иллюзий, взрывающихся тел, предупреждений, гротескной картины того, чем мы все стали, — обезоруженный, отбрасываешь книгу и признаешь полное (дьявол!) поражение. Виктор Вард и его чертovsky крапинки обвели тебя вокруг пальца, словно вчерашнего читателя азбуки.

А у Вирджинии Вульф, эти цветы миссис Дэллоуэй? До чего замечательно — эта Кларисса, это «я куплю цветы сама», будто не хватает воздуха прочитать, будто Лондон вспыхивает и белеет перед глазами, будто от этих строчек — перебой сердца, как перебитовка у начинающего диджея во время сета. Лермонтов, «Я ехал на перекладных из Тифлиса» — просто. Просто внезапно распахнулось окно, и в комнату с холодным ветром ворвалось чувство свободы и опасности. Вот что заставляет дышать — как будто ты никогда раньше не знал, что это такое. Когда между словами — бесконечные просторы, а позади запятых в любой момент — воздушная тревога.

А в моем мире — никакого намека на воздушную тревогу. Ученые-гуманитарии, мы пишем так, что за очередным витком, заканчивающимся на «исходя из вышесказанного», можно с уверенностью сделать вывод, что вне

Ольга Брейнингер родилась в 1987 году в Казахстане. Окончила Литературный институт им. А.М.Горького и магистратуру Оксфордского университета. Живет в Бостоне (США), работает над докторской диссертацией и преподает в Гарвардском университете. Публиковалась в журналах «Октябрь», «Новое Литературное обозрение», «Пролог», «Russian Journal of Communication», «OpenDemocracy», «Russia Direct» и др. Ведет авторскую колонку в онлайн-журнале «Литература».

всякого сомнения, этот факт наглядно демонстрирует описываемый феномен; с огромной степенью уверенности можно говорить в таком случае о своеобразной двойственности этой нарративной конструкции... И на каждом шагу, на каждом шагу — добавление целых кластеров суффиксов, нанизывание их на шпажки, нагромождение -ость, -ство, -ние. Когда после долгих ночей бесконечных эссе я встаю — потягиваясь, стряхивая мертвую лихорадку, что бывает, когда надо за столько-то часов написать эссе в столько-то слов, а ты твердо знаешь, что ты пишешь только икс слов за икс минут, и минут выходит намного меньше, чем слов — за окном брезжит холодный розовый рассвет и начинает верещать, как заведенная, смешная маленькая птичка, примостившаяся на балконе напротив. И я произношу вслух, глядя на нее, думая о себе: *«Сегодня самой собой мне был продемонстрирован случай исключительной выносливости и пример того, как в экстремальной ситуации, казалось бы, даже истощенный организм способен под воздействием адреналина задействовать скрытые ресурсы и показать результаты, значительно превосходящие мою стандартную производительность труда»*.

Постепенно все меньше и меньше замечаешь дефекты высушенной академической речи. Мои коллеги могут произносить двадцатиминутные тирады без перерывов на вдох и выдох, а мимолетный кивок при встрече грозит историческим экскурсом длиной в три тысячелетия: это академическое мышление, такая манера жить и думать, где мозг распознает *как явные, так и имплицитные связи между предметами, не только удаленными в пределах одного семантического поля, но и зачастую не имеющими, на первый взгляд, никаких идентифицируемых смысловых связей*.

Почувствовав, что перед глазами все плывет и теряет резкость, я встряхнула головой, по очереди сняла с руля одну руку, затем другую и немножко размялась — сжала и разжала пальцы, постучала по матовому пластику приборной панели и посильнее сконцентрировалась на дороге: новый вечерний город требовал сосредоточенности.

Раньше мне казалось, что Чикаго — это не для меня. Слишком много стали и серого цвета. Но за внешней холодностью и сверкающей поверхностью озера Мичиган таится тот же Нью-Йорк, разве что с большей примесью американского колорита. Нью-Йорк, Москва, Токио, Берлин — все столицы одинаковы: над-национальны и гостеприимны ко всем тем, кому некуда податься. Поэтому Чикаго показался мне родным своей бесстрастностью, своей металлической чопорностью, улицами без деревьев и только клочком зелени в самом центре, в Гранд-парке. Металлические конструкции и блестящие шары по всему городу, и дети плещутся в серебристых космических фонтанах, пока прокатная машина проезжает мимо Института Современного Искусства, который под огромный залог и с невиданными мерами безопасности предоставит завтра для показа на конференции славистов оригинал Кандинского.

Решение Международной ассоциации славистов проводить в этом году конференцию в башне Трампа озадачило ученых с репутацией и в возрасте и прошло совершенно незаметно для молодежи. Эта вроде бы небольшая перемена, «перенос нашей святой святых в логово торжества капитализма», прокомментировал на страницах ежеквартального «Русского обозрения» крупнейший специалист по поэзии Державина, профессор Д. Он, в частности, заявил, что Трамп-отель, символически протыкающий небо штыком своей башни, не только демонстрирует то, что у открытого всего десять лет назад центра нейронно-

конфликтных разработок уже набралось немало щедрых выпускников, но главным образом отражает перемену статуса современных гуманитарных наук: из угла всеми игнорируемых сирот гуманитарной сферы мы наконец-то вышли на авансцену, пообещав явить миру что-то поистине чудесное и невероятное. Точнее, это значит, что профессор Карлоу, под руководством которого я работаю, подступил к грани открытия, которое затмит все, о чем говорили и писали в последние пятьдесят, а то и сто лет. И это перекрывает все квантовые физики и большие взрывы вместе взятые. Если я не подведу.

Это также значит, что Карлоу появился за последние четыре месяца на обложках «Таймс», «Экономист», «Эсквайр», «Джи Кью» и «Ситизен Кей» — и выглядел так небрежно, что несмотря на сдержанные заголовки журналов первого ранга, издания помельче спешно запестрели выкриками вроде «Carlow made academia sex», а мне пришлось ассистировать на бесконечных съемках, наблюдая, как мой босс неуклонно превращается в глазах публики в революционную фигуру, олицетворяющую слияние мира старых добрых честных академиков и широко разинутых челюстей глянцевого журналов.

Но это хотя бы вносило разнообразие в мою лабораторную жизнь. Каждый раз, когда наступало время снимать с себя датчики и надевать туфли на каблучке, помахивать портфелем с «секретными» документами (которых, конечно, я и в глаза не видела — по условиям нашего «слепого» эксперимента, информацию мне предоставляли выборочно, в основном о перспективах на двадцать-тридцать лет вперед, и очень мало о текущей работе), шагая позади профессора Карлоу в отутюженном костюме от Вивьен Вествуд, который мне подобрали стилисты, работающие с нашей лабораторией — нет, вы не ослышались, — я считала с каждым шагом и стуком каблучков аргументы «за» и «против» проекта. Чего же в нем больше — мании величия или бесконечной доброты, мессианства или гонки вооружений, открытия или конкуренции?

На съемках роль Карлоу заключается в том, чтобы стоять, сложив руки на груди, глядя вдаль, в свитере (классическом, но с необычным edgy-кроем) глубокого синего цвета с небрежно перекосившимся треугольным вырезом, и у меня слишком много дел, чтобы размышлять о том, на что я не могу повлиять (поэтому пока стилисты высчитывали и вымеряли идеальное положение выреза — такое, чтобы казалось случайностью, но не небрежностью — я успела проверить почту, ответить на двадцать одно письмо и помахать родителям рукой по скайпу. Свою семью я вижу очень редко, не чаще одного раза в год, а в остальные триста пятьдесят или больше дней наше общение заключается в ожидании друг друга онлайн с учетом одиннадцатичасовой разницы между Казахстаном и Восточным побережьем, и как можно более точном и живописном описании того, что происходит там и здесь. По камере я вижу, как растет моя маленькая племянница; как стареет кошка; и упрямо не хочу замечать, как меняются родители. Мои переговоры по скайпу привлекают внимание профессора, и он машет мне (жест знакомый, означает «хватит бездельничать, нужно поговорить»), придавая при этом неровности свитера ту самую натуральную небрежность, которой не могла добиться команда из шести человек, закончивших Джуллиард или Сент-Мартинс. Я отключаю камеру и послушно отправляюсь принимать и расшифровывать очередную серию указаний).

Карлоу шестьдесят семь лет. У него сверкающие белые волосы и борода под Лимонова. Очки в массивной черной оправе, поставленный голос и жесты

до того отточенные, что навевают мысль о долгих упражнениях перед зеркалом или даже о личном тренере. Впрочем, скорее всего, это заметно только мне. Самое главное во внешности Карлоу — это безграничный интеллект, въевшийся, как пыль, в его тонкие веки и прямой нос с горбинкой настолько, что иной раз я удивляюсь, что не могу прямо по лицу подсчитать его айкью. По слухам, от 170 до 200; самый молодой участник общества Менса за всю его историю; самый именитый профессор в Массачусетском технологическом; основатель кафедры конфликтной нейрологии; сухой, строгий, всегда одетый в серое с белым или голубым; Карлоу не дает мне спуску.

С самого начала нашей совместной работы мы установили границы и правила. Поскольку работа означала непрерывный переход на личности, точнее, на личность — мою, — профессор посвятил меня в личные мотивы своего исследования, а также в собственные амбиции, планы и дальнейшие разработки. Само собой, говорить об этом мне запрещалось — под страхом «экспериментального приема» по выборочной ликвидации воспоминаний. Поэтому пока все видели в Карлоу сухого и безукоризненного ученого, который вот-вот перевернет мир, я одна представляла масштаб его злого — и доброго — гениев.

Когда я сидела в очереди волонтеров для эксперимента, скатывая в комочек номерок с цифрой 964, я была уверена, что сама возможность увидеть профессора Карлоу стоит потраченных впустую трех с половиной дней ожидания, после которых я и 1328 других претендентов составим проигрышный пул, подаривший миру одного идеального кандидата для программы нейроконфликтного программирования. 2 года, 5 месяцев и 6 дней назад оказалось, что этот идеальный кандидат — я. Молодая женщина (место рождения: Казахстан; национальность: немка; родной язык: русский; гражданство: Германия; место проживания: США, город Кембридж; род деятельности: докторант кафедры миросистемного анализа; сфера интересов: политика и культура бывшего Советского Союза; коэффициент интеллекта: 142; телосложение: истощенное ввиду анорексии; тип информационного метаболизма: этико-интуитивный экстраверт; особые характеристики: засекречены) двадцати семи лет, родом из Средней Азии с запутанной личной историей; прошедшая пунктирной линией по карте Европы, проследовавшая дальше на Запад с намерением революционировать экспериментальную славистику и попавшая в сети миросистемного анализа, я оказалась идеальным пластилином для эксперимента века.

— Подходящий материал в условиях глобализации, — резюмировал Карлоу, представляя меня немногочисленным коллегам.

Он не только помог остальным участникам смотреть на меня не как на живого человека, а как на *сплав конфликтных жизненных экспериэнсов*, но и открыл мне глаза на то, что я такое. Как оказалось, я — это *переплетение различных неравновесных векторов и нарушенных парадигм, которое удерживает баланс исключительно благодаря природному инстинкту самосохранения и подсознательной танатонаправленной рациональности, приводящей в действие психологические противовесы, что дает в сумме нулевое положение*.

— Ваша жизнь, ваш опыт и ваши поступки, — неторопливо объяснял мне Карлоу — пример нарушения всех положенных парадигм и почти бесконечного — но не бесконечного, так как вы не больны душевно — количества конфликтов. То есть, если хотите, вы относительно здоровая физически, но патологически переломанная личность, не подлежащая восстановлению.

Со временем я и сама привыкла думать о себе в таких терминах, мысленно разделяя себя как человеческий пластилин нашего времени (девяносто пять процентов времени) и себя как живого человека, у которого есть свои мысли, желания, чувства и остальное (пять процентов, сто процентов которых приходятся на ситуации, когда я нахожусь в полном одиночестве). Поскольку вне эксперимента я не могла никому сказать о том, чем стала моя жизнь, а в рамках эксперимента никого не интересовало, о чем я думаю, *сложившаяся ситуация привела к частичной утрате мной своей социальной идентичности — восприятия себя относительно (релятивно, если правильно использовать эйнштейновскую теорию применительно к экспериментальной гуманитаристике) других людей, поскольку они перестали выполнять роль проекций моего представления себя на окружающую среду*. Ведь не могу же я вступать в спор со всеми подряд, объясняя, что единственное обвинение в мой адрес заключается, по сути, в том, что у меня есть душа, мозг и тело, которые время и пространство тасуют по своим законам.

В прошлом месяце профессор снимался для обложки ежегодного специального международного выпуска «Вог», где его фотография должна была появиться, перечеркнутая надписью «Science is the new sex». Таким образом, он реабилитировался и отыгрывался за тысячи своих коллег, прошлых и настоящих, чья работа извечно считалась пыльной, никому не понятной скукотей. Карлоу сделал науку популярной, а научную деятельность — сексапильной.

И довольно приятно было осознавать, что в этом был и мой вклад. Часами, отсиживая с датчиками по всему телу и радиошлемом на голове, смертельно уставшая, я шла на интервью с бесконечными журналистами из Штатов, Германии, Японии, Канады, России, Китая, Франции и так далее, вплоть до Танзании, улыбаясь, как меня научили, и роняя фразы, тщательно сконструированные так, чтобы производить нужное впечатление, не разглашая лишних деталей. Я усердно выполняла все, что было нужно, от недельной депривации сна до попыток доказать теорему Ферма для общих случаев. А также: гипноз, строгая информационная диета, восстановление в памяти травматичных эпизодов, ежедневная томография и тонкие провода, к щекотанию которых я так привыкла, что спустя год с начала эксперимента перестала их замечать и могла полностью расслабиться.

После вечернего перелета из Бостона в Чикаго сил не было совсем, но трех таблеток аддерола достаточно для того, чтобы сесть за руль прокатной машины (все расходы за счет проекта) и добраться до центра города. По радио как раз звучала давнишняя песня Ланы дель Рей «Национальный гимн». Я всегда с удовольствием вспоминаю, как мы снимали клип (Лана числилась в нашем списке под номером 889, поэтому профессор легко устроил меня к ней второй артисткой). Лана была в комбинезоне, на котором вышиты пятьдесят маленьких солнц, а у меня — луна, пронзенная через всю грудь стрелой. Мы были влюблены друг в друга, и как меня — жесткие, соблазнительные «Money is the anthem of success», ее привлекали мои «ангельские», как мы их называли для простоты, строки «I'm your national anthem». Знакомые мужчины завидовали тому, что я теперь знаю, насколько губы Ланы дель Рей на вкус похожи на вишневый сироп; она подарила мне целую коробку такой помады. Но мне нравились две других сцены. В первой главное — карта мира и я, которая раскидывает, как крест, руки через Евразию, пускает корни, вырастает в эту землю — не без помощи компьютерной графики, конечно. Когда мы снимали

этот эпизод, все происходило наяву, почти: мне казалось, что земля — это я, что мои вены — это реки, а кровеносные сосуды, черные, как нефть, перекачивают силу через все тело; от Средней Азии под кончиками левой руки до Арктики; от Большого Кавказа к сердцу, которое билось, предсказывая и завершая все, что произойдет со мной, с землей, с людьми, которые ходят по ней — по мне — и ложатся в землю, становясь мною и ею. Мы ищем Бога над собой, — думала я, вглядываясь в искусственное небо над головой, но на самом деле источник жизни — у нас под ногами, и Бог в этой земле, которая позволяет нам рождаться в своей груди и возвращаться в ее любовь. И только одно было тяжело — заставить себя быть равнодушной и ровной, чтобы не сомкнуть в порыве любви, как бы ни хотелось, как бы ни было больно, объятия и не задушить все живое; и поэтому, наверное, они были прибиты к земле: любовь может быть разрушительна. Когда Лана перешагнула через океан и наклонилась ко мне в той сцене, от которой затрепетали сердца зрителей со всего мира, у кого от восторга, у кого от отвращения или от зависти — я не выдержала, подняла руки, вырывая с ключьями земли и крови целые куски своей карты, — и обняла ее, потянувшись к ее холодной коже и вишневым губам.

Ее руки всегда были очень холодными; и когда она, накручивая мои волосы на палец, снова говорила в камеру: «Money is the anthem of success», — а потом обхватывала меня за плечи и шептала на ухо: «So put on mascara and your party dress», — я удивлялась дубль за дублем, что это прикосновение все так же прохладно; и раз за разом отталкивая ее, раскидывала объятия в кресте навстречу толпе и стоя на кромке красной стены, призывая назвать меня своим национальным гимном и принять аплодисментами стоя — задыхалась от этой эйфории и воздуха безумия — пока ветер не срывал меня с самого края, чтобы опустить легко, как перышко, вниз, в распростертые объятия всех людей, что в волнении отталкивая друг друга, прорывались жадно к моему телу — и именно за то, что мы показывали в следующие тридцать секунд, это видео запретили на всех каналах, и Лана пересняла его заново, уже без меня и с новым сюжетом. Но для нас главным было то, что клип все равно существовал и ждал на полке своего часа.

В отеле повсюду развешаны баннеры, на кофейных столиках веера программ с Карлоу на обложке. Ничего удивительного: если раньше конференции по экспериментальной славистике набирали около трех тысяч человек ежегодно, то по мере успехов и революционных достижений в нашей сфере посещаемость возросла до десяти тысяч зарегистрированных посетителей; а в этом году, ради презентации проекта, слухи о котором стали распространяться уже в начале года, мы ожидали от пятнадцати до двадцати тысяч участников — это тот лимит, который ассоциация могла устроить, организовать и распределить по заседаниям, сессиям, блокам, круглым столам и т.д. Все отели в Чикаго были забронированы, скидки на студенческие комнаты пришлось отменить, и всех студентов со скрипом принимали общежития Чикагского университета и Урбана-Шэмпэйн. Одним словом, творилось настоящее безумие, и мой сумасшедший профессор был резок и доволен, как никогда.

Следуя указанию google glass, я отдала машину на закрытую служебную парковку и прошла процедуру быстрой регистрации со старшим менеджером. Он же сопровождал меня до служебного лифта в закрытую зону башни, где поселили

четверых главных сотрудников группы, меня и двух осведомленных членов ассоциации. В коридоре велось круглосуточное наблюдение, и в каждой комнате моего номера была установлена кнопка экстренного вызова службы охраны. Все эти меры предосторожности казались мне одновременно несерьезными и излишними. В случае намеренного саботажа не защитят, а вот жить порядком мешают. Но Карлоу упрямо повторял, что если от целенаправленного подрыва эксперимента нас может защитить только молчание, то от случайностей нужно себя уберечь. По моему мнению, специалистом по безопасности Карлоу был неважным — если бы я хотела навредить проекту, то растерялась бы от того, какой именно вариант выбрать. Но хорошо, хорошо, никто ни о чем не знал, и, я согласна, в атмосфере всеобщего ажиотажа и эйфории было бы легкомысленно подвергать эксперимент случайному риску. В конце концов, стоимость моего мозга на данный момент составляла, по самым скромным оценкам, около тридцати восьми миллионов долларов.

— Конечно, они создают атомные бомбы, но мы создадим тех, кто будет решать, как их использовать, — заводился мой профессор, как только речь заходила о ценности эксперимента. В его исполнении это означало разрубить воздух ребром ладони и дергать подбородком, подчеркивая каждый слог, как пунктиром. Страх срыва преследовал его постоянно: все свои лекарства, даже витамины, я заказывала только через лабораторную аптеку; ни на минуту не могла выпустить из рук телефон, потому что Карлоу следил за моим джипизес; и каждый вечер в девять ноль-ноль брала мобильник, потому что профессор требовал полного отчета о моем самочувствии. Как при всем этом он не замечал, что я глотая ...кратные дозы аддерола, риталина и снотворного, непонятно. Иногда мне казалось, что он все знает и просто делает вид, что не замечает. Мою учебу и работу никто не отменял, и все свободное время я проводила, уткнувшись в экран компьютера и поглощая страницы в технике скорочтения. Между сеансами депривации сна и сканирования мозга я беспрерывно колесила на такси между Массачусетским технологическим и Гарвардом — сдавала экзамены, посещала семинары, встречалась с научным руководителем, изредка даже удавалось увидеться с друзьями. В обеденный перерыв я писала семестровые эссе прямо в лаборатории, на том же столе, где были разложены снимки моего мозга, а по ночам оттачивала свое письмо, пока не просыпалась по будильнику, чтобы снова и снова продолжать работу с Карлоу. Одним из условий эксперимента было то, что я продолжу свою обычную деятельность и не стану жертвовать личными амбициями — что само по себе было еще более амбициозно, чем кажется. Вкупе с анорексией, с которой, за неимением времени об этом задуматься, я сдружилась как с естественным состоянием своего тела, за два года эти заботы превратили меня из человека внутренних конфликтов в просто изломанного и измученного. Мне, впрочем, было плевать. Как я выгляжу, какие буквы начертаны на моем лице и что думают все вокруг — вопросы, давно отошедшие на задний план. Человек, его физическая оболочка не имеют значения, они лишь носители идеи. И это — все, что имеет значение. Для поддержания тонуса и социально уместного внешнего вида есть лекарства, косметика, индустрия моды и отбеливание зубов. Есть курсы интерпретации языка жестов и нейролингвистическое программирование. Есть тысячи методов создавать и поддерживать визуальную форму и защищать содержание. Поэтому

тело и внешность — блеск в глазах, энергичность, грация кошки и глубокий взгляд — не более чем социальный конструкт, метод самопрезентации. Важны лишь идеи.

Тело, впрочем, постоянно подводило — как ненадежный приятель или бывшая любовь из Оксфорда, сама память о которой была вытравлена и выжжена из моего мозга. Тело требовало еды, сна, отдыха, глюкозы, доброты к себе. Эмоции и привязанности никуда не исчезали: я выкраивала время для встреч с лучшей подружкой Сарой, для свиданий и разговоров с родителями.

Войдя в свой номер, я бросила на кресло дорожную сумку и свернулась калачиком на кровати. Из-за аддерола сердце колотится как сошедший с рельс будильник, отсчитывая ежесекундные удары, словно разряды молнии. Мозг работает безупречно. Я чувствую себя машиной, разогнавшейся до скорости пятисот километров в час: идеи, о которых я читаю, моментально визуализируются и систематизируются у меня в голове; данные по ходу чтения складываются в таблицы и схемы; я могу перевести в график поэзию Джона Донна и довольствуюсь одним-единственным прочтением Канта. Мой ум точен, резок и четок, я улавливаю концепты моментально и почти инстинктивно ощущаю связи и ассоциации всего со всем. Любая мысль — будто стрела, разрезающая бесконечную темноту вокруг — и единственная проблема заключается в том, что из-за этой остроты понимания и осознания я не могу спать...

Круговорот мыслей истощает тело, и я постоянно пребываю в состоянии между сном и нереальностью, передвигаясь как в тумане, если под рукой нет таблеток, то и дело вздрагивая, когда в голове детонирует новая мысль. Вспышки, одна за другой, бьют в виски и держат меня на плаву, а таблетки помогают держать тонус для того, чтобы ухватывать и запоминать все, что я вижу и узнаю. Когда же я понимаю больше умом, чем по ощущениям, что подходит критическая зона, я всегда могу опрокинуть дозу снотворного, как алкоголезависимый первую стопку, и сделать перерыв, чтобы...

Я никогда не была счастлива так, как в эти два года. Лучше не бывает ничего. Ты можешь все, и тебя на все хватает, даже на то, чтобы....

Строго говоря, так было и раньше, до эксперимента, только мягче, медленнее, с неуверенностью, как движутся на экране актеры при замедленной съемке. А потом кто-то, наконец, нажимает на «play». Карлоу объяснил мне, что стремится расшатать, *разорвать равновесие, привести в действие все потенциальные точки конфликта и нарушить баланс взаимодействия тела и разума*, ввести их в состояние войны за дух, за...

Больше всего я люблю последние полчаса перед сном. Когда я рисую на языке белую точку сна, и через десять минут она начинает расплываться, растекается сначала по лицу, как шелковый платок с хлороформом, течет вниз по шее и плавно приплывает к рукам и ногам, прижимая меня к кровати, в пропасть пустоты, где больше не...

Я откинулась назад, нажала на кнопку пульта, приводящую в действие жалюзи, и «сегодня» закончилось.

Глава вторая, в которой я вспоминаю, как праздновали свадьбы у нас в Берлине, и рассказываю о клубной юности молодой вертихвостки — что может привести в ужас любого, кто не вырос в пост-СССР

Двадцать один год назад я узнала, что такое дом: смотреть на дорогу, ведущую из аэропорта в город через степь. Через зеленую и живую в конце июня, через покрытую толстой шубой снега в феврале; через сухую и выжженную в августе; через едва подсвеченную фарами, мчащуюся за окном шершавой серой полосой — на дорогу, которой возвращаются, которой сама буду возвращаться год за годом, чтобы видеть, как я стремительно меняюсь, а дом все сильнее и сильнее застывает, как засахарившийся мед, как вода событий, превращающаяся в лед памяти, чтобы с каждым разом все резче и острее отрезвлять и заставлять видеть, чем ты становишься — и чем ты все больше и больше отличаешься от мира, где родился и вырос. В конце пути я буду много раз возвращаться, открывать кованую калитку родительского дома, подниматься по терракотовым ступенькам туда, где жизнь по-прежнему тихая и теперь пустая. И снова уходить.

Я впервые увидела, как выглядит дорога домой в тот день, когда в Берлине праздновали свадьбу тети Эльвиры и дяди Феликса. Мне тогда только исполнилось шесть, осенью я должна была пойти в школу, и родители решили свозить меня в Москву — посмотреть Кремль, Красную площадь и мавзолей Ленина. Вернуться мы должны были утренним рейсом прямо в субботу — в первый день свадьбы и в последние выходные летних каникул.

Самолет задерживали; час, второй, третий августовской жары в душных залах ожидания — и к тому моменту, когда мы наконец погрузили чемоданы в багажник такси, наши родственники уже несколько часов как праздновали счастливый союз Феликса и Эльвиры.

В те годы достаточно было сказать водителю такси:

— В Берлин, на свадьбу, — и тот без вопросов заводил двигатель.

В Берлине я бывала не так часто — мы жили в городе — поэтому с нетерпением ждала встречи со всеми своими бесконечными троюродными братьями и сестрами, которых было так много, что мы не знали друг друга по именам. Первым делом, приезжая к ним, я снимала обувь, потому что все вокруг ходили босиком, и дядя Валера подхватывал меня на руки, подбрасывал в воздух и одобрительно кивал: «Выросла, выросла, очень даже подросла!»

— Мама, а как дядя таксист понял, куда именно нам нужно ехать? — шепотом спросила я. Мама сказала мне то же, что и я вам: все таксисты знают, где находится Берлин.

— Мы просто поедem в Берлин, а там по всем улицам, пока не найдем свадьбу.

— А как мы найдем свадьбу?

— Увидишь.

В двадцатые годы двадцатого века, когда еще не было ни самой Караганды, ни даже самого смутного представления о том, что скоро здесь развернется «третья кочегарка СССР», на месте будущего немецкого поселка Берлин стали лепиться друг к другу землянки, саманные бараки и построенные наскоро сарайчики, быстро покрывавшиеся угольной пылью — настолько въедливой, что

бороться с ней не было смысла — и, махнув рукой, и тогдашние, и будущие жители позволили пыли забиваться в углы под крышами, в ниши подоконников и даже между ресницами — оттого стены домов всегда стояли черными, а наших мужчин-шахтеров можно было узнать по антрацитовый подводке вокруг глаз.

В непонятном мне далеком августе сорок первого за один-единственный день перестала существовать Республика немцев Поволжья. Будто ее никогда и не было. Суровые и страшные в моих детских снах вереницы теплушек несли депортированных немцев (а если немцев, спрашивала я сонно, то значит, это наших родственников? Это кого? Бабушек и дедушек?) без запасов воды, пищи и без теплой одежды в Сибирь и Среднюю Азию. Около полумиллиона таких моих бабушек и дедушек прибыли в Казахстан. Большая часть из них осела у нас в степях: здесь нужно было поднимать целину и добывать уголь, хотя правильнее было бы сказать, бороться за него. Тогда шла война и не хватало инструментов, не хватало оборудования — и поэтому мои бабушки и дедушки брали в руки голые кирки и лопаты и долбили промерзлую землю, пока не отказывали руки или не вскрывались угольные пласты; а потом грузили уголь на маленькие ручные тачки и так вывозили добычу.

После войны трудармейцам разрешили, хоть и без права выезда, селиться в Караганде. Так на месте одного из шахтерских лагерей вырос немецкий поселок Берлин, в котором выросла моя мама, и где до сих пор жила почти вся ее родня. Но хотя и отец, и бабушка тоже успели поработать в шахтах, мне сложно было тогда представить, что все эти зажиточные, побеленные, ухоженные дома, пузатые, как баба на чайнике, принадлежат тем людям, о которых они рассказывали. Мой детский страх из папиных рассказов — что в шахте никогда нельзя встать в полный рост, и пока тянутся минуты и часы, готов поклясться, что все бы отдал за то, чтобы потянуться, выпрямить спину, ну хотя бы просто встать на ноги. Чтобы отвлечься, размяться, шахтеры ложились на спину прямо в штольне и вытягивали руки, но это не обманывало; к концу дня начинало мерещиться, что спина настолько задеревенела и заостенела, что выходить из шахты, уже все равно не выпрямиться. В те годы, приходя после работы, папа подолгу делал зарядку и каждый вечер подтягивался на турнике, но все равно не помогало; назавтра было то же самое.

Когда мы свернули на улицу Розы Люксембург, я поняла, о чем говорила мама. Вся улица была битком набита людьми, и воздух гудел, как пчелиный улей. Нас сразу заметили и бросились встречать, шумная толпа накатила волною, кто-то уже забирал чемоданы, чья-то рука тащила к столу, усаживая на места, которые сразу же освободили, подвинувшись, какая-то наша тетя и двоюродная бабушка; невеста, моя тетя Эльвира, уже плыла к нам в своем нежно-голубом платье, ведя за собой дядю Феликса. Уже к нам придвигали блюда с салатами со всего стола, а тетя Нелли медленно, осторожно несла на подносе три суповые тарелки. Как на всех наших праздниках, это был куриный «суп-лапша», мы его так называли, совместив на немецкий манер два существительных в одно.

Ох, как я ждала тети Неллиного подноса! Сам суп я в рот не брала, но мне уж очень хотелось посмотреть на лапшу. Мама рассказывала мне, что когда свадьба была у них с папой, и они тогда тоже еще жили в Берлине, вся наша внушительная женская армия из дочерей, сестер, теток и бабушек вместе с мамой

полтора дня без перерыва катали тесто и резали его на лапшу, бурно ссорясь, если лапша не выходила тонкая-претонкая.

— И ты сама перед свадьбой тоже резала лапшу все полтора дня? Правда? — спросила я.

Мама рассмеялась.

— Немножко меньше. За час до начала ушла с кухни готовиться. А твоя прабабушка Катя, если ты ее капельку помнишь, и бабушка, и тетя Нелли, и Эльвира остались и продолжали еще катать тесто для второго дня свадьбы. Если бы мы вчера были в Караганде, я бы тоже сидела у Эльвиры на кухне с утра до вечера.

Я зачерпнула ложку супа и поморщилась — ну и запах. Бабушка говорила, что я балованная, но есть заставляла меньше всех. Прямо на поверхности бульона расходились тонкие колечки. Я пошлепала, зацепила пару колечек и вернула ложку в тарелку. Но тетя Эльвира, наверное, гордится своей лапшой.

— Мам, она прямо как мои волосы, такая тоненькая.

Мама кого-то слушала и, вежливо кивая, в ответ только стрельнула в мою сторону глазами и погладила по руке. Я разглядела в толпе фату тети Эльвиры. У Эльвиры был прямой нос, темные волосы, которые двадцать лет спустя красиво посеребрит седина, и уже чуть заметная поступь главной кухонной матроны, что через те же двадцать лет, осуждающе покачивая головой, будет объяснять мне, почему это плохо, что я до сих пор не замужем. Но это все будет потом, позже — *enfant terrible* в своей большой семье мне предстояло стать уже после того, как мы уедем в Германию; после того, когда я сбегу с нашей чужой исторической родины в Англию; и (здесь не совсем уверена), возможно, до того, как я окончательно сошла с рельсов и без предупреждения рванула в Америку; а про Румынию, Чечню и Албанию тут даже говорить неприлично, впрочем, как и про меня саму. Но тогда я еще была маленькой девочкой в очках, а Эльвира — цветущей, крупной, женщиной, на которую заглядывалось пол-Берлина и у которой точно, иначе она не она, была самая веселая свадьба.

Свадьбы в Берлине вообще праздновали лихо, на всю катушку, как любила припечатать не без самодовольной улыбки прабабушка Катя. Она выросла еще на Волге, в автономии, и была по складу своему истинной немкой, строгой, хозяйственной, степенной, рассудительной, какой, мне кажется, никакая женщина сегодня уже не сможет стать. Все-таки сегодня мы стали совершенно другими, отличными от женщин той породы. Я совсем мало помню прабабушку но мама говорит, что она очень, очень любила свадьбы — а гуляния на Волге в те времена, когда она сама выходила замуж за дедушку Мишу, и у нас, в Берлине, — отличались мало. Поэтому даже сейчас ее легко представить — как она сидит на почетном месте во главе стола, наблюдает с довольной улыбкой за всей этой свадебной неразберихой и комментирует на малопонятном немецком. Как и все в автономии, прабабушка говорила на архаичном поволжском диалекте. А еще она меняла местами звуки «ш» и «ж»: моего дядю Сашу называла «Сажжа», а к дяде Жене обращалась «Шшеня». Эти «Сажжа» и «Шшеня» до сих пор у нас в ходу — переехали, вслед за самими Сашей и Женей, в Германию.

Из того немного, что я то ли помню, то ли знаю о прабабушке, есть еще черно-белая фотография на эмали в овальной рамке, которая висит на кладбище. Я рассматривала ее подолгу, пытаюсь понять, как так происходит, что была эта красивая женщина, а теперь она где-то здесь, в земле, которая нас разделяет.

Потом мама сметала с могил всех наших листья и пыль, а мне давала пшено, чтобы я разбросала его по всему участку.

— Это хорошо, если будут прилетать птицы, — говорила она, и я аккуратно разбрасывала крупу, продолжая искоса наблюдать за портретами. За их долгую память выпили, не чокаясь, а Эльвира с Феликсом еще и не целуя друг друга на «горько», и все минуту помолчали. Когда гул разговоров возобновился, я стала потихоньку пробираться к выходу. Присматривать за родителями особенно было некогда, так что я оставила их веселиться с другими взрослыми, а сама пошла знакомиться с очередными опоздавшими гостями, которые появились на пороге. Их дети, наверное, приходились мне какими-нибудь троюродными или четвероюродными, но взрослые обычно отмахивались от таких вопросов, отвечая, что мы «седьмая вода на киселе». Нас было так много, что не считая двоюродных вроде меня и Кати, все вместе мы виделись от силы раза два в году, на Рождество и Пасху. Ну а чтобы играть вместе, можно уж и познакомиться по новому кругу, чего там.

У нас с Катей на уме была та самая машинка для резки лапши, про которую мне рассказала мама, а я, в свою очередь, пересказала Кате, она — старшей сестре Юле, Юля — троюродному брату Максиму, Максим — двоюродному Андрею, Андрей, кажется, Володе, про которого я не знала, кто он, а тот передал еще дальше. Мы пытались определить, как она должна выглядеть и можно ли ею убиться. В конце концов я попыталась найти маму, чтобы спросить, но искать уже не было сил — так хотелось спать. «Спросим завтра, как только проснемся», — сонно договаривались мы с Катей, устраиваясь спать на лавках на кухне. Нам уже приготовили там целую гору одеял и подушек, и оставалось только разгрести себе норку, устроиться поудобнее и закрыть глаза.

Знаменитую лапшерезку я все-таки увидела на следующее утро первая, потому что проснулась раньше всех. Тетя Эльвира, ее мама, обе сестры и наша бабушка резали лапшу, суетясь и аккуратно обходя нас каждый раз, когда им нужно было пройти мимо лавки. Я выбралась из-под одеял, поздоровалась со всеми и встала рядом с рабочим столом, разглядывая машинку. Спроси меня сейчас, я сказала бы, что она была похожа на старенький струйный принтер и что я чувствовала себя unimpressed. Но в те времена, конечно, я не знала, как выглядит принтер, и даже не представляла, что года через два у нас в квартире появится третий «Пентиум», занимающий половину папиного стола. Впрочем, даже тогда чувство легкого разочарования хваленой лапшерезкой все равно проскользнуло.

— Солнышко мое, ты уже проснулась, что ли, так рано? — спросила бабушка Ома.

На самом деле бабушка у нас никакая не Ома, а Ирма. «Ома» — это «бабушка» по-немецки. Говорят, что «бабушка Ома» пошло от Кати, когда она еще только-только начинала говорить и путала русские и немецкие слова. Катя, конечно, такого не помнит. Но это смешное имя бабушке понравилось да так и прижилось у нас.

— Да — сказала я сонно, — вот смотрю машинку.

— Ну тогда давай завтракать, я буду чай пить, а для тебя пирожки — как раз только напекли.

Вымыв руки с мылом, бабушка долго и крепко вытирала их полотенцем. Такой у нее характер: она всегда все делает основательно, приговаривая:

«с чувством, с толком, с расстановкой». Потом она сняла с буфета деревянное блюдо с пирожками, выложенными в три ряда.

— Вот эти, с краю, — с мясом, эти — с капустой, а в центре с картошкой, — сказала она. Поставила передо мной тарелку, чай, сахарницу и сама села рядом. Как у нас с ней было заведено, я ела пирожок, предварительно нарезав его вилкой и ножом на мелкие кубики.

— А где мама с папой? — спросила я, ковыряя вилкой кубики, вылавливая и аккуратно отделяя лук. Бабушка заметила, усмехнулась и пробормотала в одно слово, как она это часто делала:

— Ну чем тебе этот лук не угодил? Ах, дурна девчушка, дурна девчушка, — пробормотала она про себя.

— Бабушка, — спросила я, — ну с тобой-то ведь можно? А где мама с папой? Уехали без меня?

— Они очень поздно, в шесть часов поехали. Я сказала, чтобы тебя не будили, все равно вернутся сегодня. На всех лавок не хватило у нас.

— Так ведь почти двести человек! — крикнула тетя Нина из-за двери. Она разбирала продукты в сенцах.

— Сегодня еще все Майеры приедут с Кирзавода, и Шандоры, они вчера у кого-то на юбилей гуляли, обещались сегодня пораньше, — объяснила бабушка. — А-а, вот и они, Наташа, Юра, добрый, добрый день, майне либе! Ну что, я тогда буду всю эту дворовую команду будить... Киндер, подъем! Пора вставать! Надо помочь папе во дворе, подъем-подъем!

Когда мы, доедая на ходу свой завтрак, высыпали во двор, дедушки сидели вокруг одного из столов, разговаривали и ели, а Феликс с дядьками раздвигали скамейки, на которых ночью спали гости, и ставили их снова буквой «П». Пока мы перенесли на кухню всю грязную посуду, прошло, наверное, часа два, не меньше, и мы порядком утомились и с Юлей и Дениской снова закутались в успевшие набрать прохладу одеяла на кухне.

— Ой, свадьбы такие долгие, — пробормотала Юля, зевая, — а хорошо бы, чтобы они вообще всегда были и не заканчивались, тогда можно не ходить в школу.

Мы с Дениской оба насупились, потому что еще не ходили в школу и очень завидовали. А потом я вспомнила, что я уже тоже почти школьница, и обрадовалась.

— А я тоже пойду в школу, я тоже пойду в школу! Только не знаю, когда еще.

— Ну, как когда, — засмеялась Юля. — Завтра и пойдешь, и я тоже, будем вместе.

Как-то это было все ново и волнительно. Солнце уже опускалось, и снова собирались гости, вчерашние и новые, и самое главное — мама с папой тоже уже вернулись. Я пробралась к ним, и папа посадил меня к себе на колени. Потом все стали хлопать, тетя Эльвира с дядей Феликсом опять поцеловались, а потом Эльвира сказала, что время пить чай.

Бабушка как раз накрывала сладкий стол с ривелькухами и аккуратно, по одному предмету, выставляла в середину стола свой любимый югославский сервиз. Мы пили из него чай только по самым большим праздникам — и то как-то раз умудрились отколоть кусочек от краешка чашки, и теперь бабушка все время расстраивалась, когда чашка попадалась ей в руки этой стороной. Сервиз

ей удалось достать через свою начальницу на шахте Кирова; на самом деле она, конечно, хотела чешский набор, но оказалось, что есть только югославские, и всего две штуки. Начальница взяла себе один, и бабушка тоже решила, что лучше не такой, как она хотела, чем вовсе никакого.

Мама надела новое зеленое платье, которое они позавчера купили в Москве, в магазине с глупым названием «Ядран». Родители так долго там ходили, что я совсем извертелась от скуки, потому что книжки у меня с собой не было. Чтобы подразнить магазин, я стала произносить его название задом наперед, без перерывов и быстро-быстро, потому что так звучало еще глупее. Зато теперь мама была в этом платье с баской и короткими рукавами такая красивая, что я даже покрутила головой по сторонам, чтобы проверить и убедиться, что все заметили, как вдруг появилась Катя и дернула меня за рукав.

— Там ряженые! Давай быстрее!

Ряженые готовились к выходу в спальне бабушки Мины. Пока они красили лица женской косметикой, мы допытывались, какой будет сюрприз и будет ли поддельная (подставная, поправила бабушка Мина) невеста. В прошлом году на свадьбе у Нелли дядя Феликс изображал невесту, а ее жених, Артем, размахивал руками и делал вид, что сердится, кажется, под конец даже на самом деле немного рассердился.

— Будет, будет? — продолжали расспрашивать мы, пытаясь делать вид, что помогаем им готовиться и перекладывая парики и краски из одной коробки в другую.

— Да будет, будет! — не выдержал самый главный. — Унбедингт! А то как же? Давайте, девчонки, давайте, — пропустил он нас в коридор перед собой. — Пора начинать наше колдовство! Ага, повеселимся, да? — подмигнул он мне.

Я пожала плечами на ходу.

— Я же еще не видела! Посмотрим!

— Ух ты какая, Фома неверующая — растерялся он.

— Ну а как я заранее узнаю?

Поздно ночью мы снова засыпаем, прикорнув прямо во дворе и не добравшись даже до своего царства из одеял на лавке. Тут тоже постелено, и музыка совсем не мешает, поэтому я опускаю голову на подушки и начинаю ждать момента, когда засну, потому что сколько ни пытаюсь, не могу его поймать. А потом из середины теплого, мягкого сна меня поднимают на руки, и я чувствую, как колется папина щека и слышу, что перестала играть музыка, а вокруг слышатся тихие, будто жужжащие, голоса.

* * *

Что ты будешь делать — постперестроечный, постсоветский Казахстан. Через десять лет я — вертихвостка с живым умом, высокомерно выговаривающая не более положенной меры тривиальные мысли, окруженная восхищенными мальчишками шестнадцати-семнадцати лет; и спасает меня только то, что природа наградила хорошими мозгами, а родители много чему успели научить, пока я еще была маленькой и должна была думать, что правила есть; пока я еще не знала, что их нужно нарушать, чтобы стать самой собой; и пока моя семья не махнула на меня рукой, оставив попытки понять и проследить, что же я такое.

Но тогда — тогда я носила самые высокие каблуки в школе, хотя и не самую

короткую юбку, — и что-то, наверное, в этом было, особенно когда я небрежно повела плечом, увидев в столовой Денисова. Денисов «держал» нашу школу, и вся его мафия, подчиняясь приказу, зачарованно расступалась, пропуская меня в очереди за чаем к тете Нине.

Точно так же меня обошли стороной проблемы с вымогательством денег, внезапным распахиванием дверей в женской раздевалке перед физкультурой, подножками на льду на глазах у всей школы и прочими элементами демонстрации власти этих парней в лакированных туфлях, брюках в полоску, черных рубашках и с одинаковыми прическами: отросшая неопрятная челка, волосы покороче острижены по бокам и отпущены подлиннее на затылке. С точки зрения феминистской теории это, конечно, было совершенно недопустимо — ведь я, пусть даже неосознанно, эксплуатировала стереотип об уязвимости своего гендера и разменивала его на тридцать сребреников покровительства и ухаживаний альфа-мальчика. (Да, Беркли, я имела в виду другое слово. Простая вежливость.) Но тогда я настолько же мало знала о феминизме, насколько много знаю сейчас, и была так же равнодушна к дискурсу, как и сейчас. Мое детство и юность прошли в традиционном патриархальном обществе, перед глазами сплошь были примеры женщин и мужчин, которые, хотя и могли делать одинаковые вещи (и, по большей части, делали, начиная с самого семнадцатого), отдавали, при очень однородном составе ключевых позиций, разную степень приоритета отдельным аспектам жизненной деятельности. Иначе говоря, при совпадении всех составляющих элементов мировоззрения в целом, мужчины и женщины выстраивали их ценностную иерархию по-разному. И пожалуйста, не нужно мне сейчас про давление отсталого консервативного дискурса и закостеневшую парадигму, которую нужно разломать и уничтожить к черту. Об этом мы с вами поговорим позже, в главе про Чечню. А в шестнадцать лет в моей жизни все складывалось так, что лучше не бывает. Денисову нравилась отведенная ему роль, я была довольна своей, а все вокруг — отведенной им и выбранной ими.

Сейчас, пытаясь представить свою школьную юность и людей, которые меня окружали, я вспоминаю только хриплые звонки и ряды старых парт, коридоры, закованные в зеленый линолеум, кудрявые волосы учительницы по химии, в которых каждый год появлялось все больше и больше седых прядей; тайные очереди за травкой, которую привозили по вторникам и пятницам; смутный гул столовой и ряд вечно окружающих нас с Денисовым (хотя — просто Денисова) преданных лиц — а я лениво листаю Мураками (считалось признаком независимого ума) и изредка смущенно улыбаюсь, не зная, что делать. За три года наших нежных не-отношений Денисов много раз приглашал меня на свидание, и каждый раз я отказывалась, сводя общение к совместным переменам в столовой; а все вокруг, так и не понимая, что между нами происходит, безмолвно приняли не-отношения за отношения и не задавали вопросов.

Правда была в том, что я до смерти боялась хоть на минуту оказаться с ним наедине, и мне вовсе не хотелось ни держать его за руку, ни ходить в кино, ни разговаривать вечерами по телефону, закрывшись от родителей в своей комнате. А когда мы спустя годы нашли друг друга в фейсбуке, оказалось, что нас даже на приветственное сообщение не хватит.

В остальном школа заключалась в том, что днем я училась на пятерки, без исключений, «это не достижение, а норма», тянула руку на уроке алгебры, чтобы

сбросить груз вызубренных на перемене формул, и честно, без прогулов, ходила на уроки начальной военной подготовки, учась маршировать в строю, надевать противогаз и перебинтовывать пулевое ранение.

Две ночи в неделю я крутила пластинки в клубе «Фабрика» — и родители разрешали, хотя слухи о том, что я работаю в ночном заведении, дошли даже до математички, и родителей вызвали в школу. Они были рады: впервые за шестнадцать лет я хоть что-то натворила. Мама просто светила, а папа довольно улыбался и шурился.

В шестнадцать лет я курила кальян в компании подруг или очередных поклонников, чье внимание я ценила тем меньше, что оно по большей части меня пугало, но не оставляла надежды однажды влюбиться. И хотя два вечера в неделю я не ночевала дома, у меня никогда в жизни не было свидания за пределами школы, я никогда не целовалась и недоумевала, где же в этой жизни все то, о чем писали Джейн Остин или Шарлотта Бронте. Мне никогда еще не случалось увидеть кого-то и забыть обо всем на свете, и было страшно, что это неправильно.

Каждое утро мама привозила меня в школу, и в восемь ноль-ноль я пела вместе со всеми гимн Казахстана. В четырнадцать ровно меня забирал папа, я обедала пиццей прямо в машине, по дороге к репетиторам. По понедельникам и четвергам я занималась английским, по вторникам и пятницам французским, в среду и субботу ездила на математику; четыре раза в неделю мама забирала меня от репетитора, и мы ехали на тренировку по теннису. Пятница и суббота были клубными днями: в десять вечера папа останавливал машину прямо около первой ступеньки лестницы в «Фабрике» и звонил охраннику Асланбеку. Асланбек выходил на улицу, встречал меня и заводил внутрь, и только после того, как за моей спиной закрывалась железная дверь, папа отъезжал от клуба. И каждый раз в три часа утра меня возвращал домой один и тот же водитель такси, папин бывший одноклассник.

То были первые годы, когда и до Караганды добрались волны пошлого лубочного гламура, и дурная мода быстро разошлась, превратившись в ширпотреб, вульгарный и приторный как пережженный сахар. Девочки при ходьбе вызывающе покачивали бедрами в мини-юбках, подражая то ли Джей Ло, то ли Бейонсе, а парни сплошь разгуливали, заткнув большие пальцы за ремни с огромными пряжками. Сравнивать доходившую до нас издалека моду нам, культурно нищим постсоветским детям, было не с чем, и мы не особенно задавались вопросом о том, существуют ли другие развлечения и занятия. В районной библиотеке для детей и юношества, пустовавшей дни напролет, можно было иногда увидеть людей в возрасте, в лучшем случае выбиравших книги своим детям или внукам. Мы-то даже представить не могли, что можно записаться и регулярно ходить в библиотеку, а наши родители, как мне кажется сейчас, были настолько растеряны и испуганы тем, что случилось с историей вообще, что сами не знали, не понимали, что хорошо, что неплохо, а что не очень. В клубах в это время напропалую крутили аренби, и пятнадцатилетние подростки получали возможность беспрепятственно вступать в мир, где было две дороги: или верить в нее или обслуживать ее.

Я занималась вторым под руководством DJ Alysh — Алыша Батырова. Когда я впервые пришла к нему, мы оба решили, каждый про себя, что я безнадежна. «Так, ну короче, нажимаешь тут, тут и тут, вот здесь крутятся

пластинки, тебе надо, чтобы ритм совпадал, слышишь, биты, короче, и есть же, подкручиваешь вперед или назад» — объяснил он мне, а потом сунул в руки кейс с пластинками:

— Давай!

Стыдясь признаться в том, что ничего не поняла, я решила пробовать наугад. Иногда у меня получалось, особенно когда Алыш стоял рядом; но чаще всего дело заканчивалось дикой перебитовкой, и когда Алыш выводил звук в зал, «лошади», — несовпадение битов в треках, которые ты сводишь, — вызывали у него все большую и большую усмешку в глазах. К четвертому занятию у меня началась паника: я не решалась признаться, что с самого первого занятия не понимаю, что нужно делать; заниматься диджеингом мне расхотелось совершенно, потому что снова приходиться и еще раз подвергать себя позору было невыносимо.

Выносимо это или невыносимо, за пять минут до репетиции я снова стояла на сцене. Алыш уже даже не старался скрыть свои скуку и обреченность, и я была благодарна ему за то, что мне не приходится гадать, недоволен ли он мною и насколько сильно. Мы встали за микшер, и все было как обычно — лишь с тем исключением, что где-то в середине репетиции я вдруг поняла, что именно он только что сделал.

— Извини, а можно еще раз? — невпопад спросила я Алыша.

— В смысле? — переспросил он.

Я нажала на кнопку «стоп».

— Давай заново.

Алыш пожал плечами и снова свел два трека. Я нажала «стоп» еще раз, встала к микшеру и повторила.

— Слушай, работает, да? Давай, сестренка, выдай жару!

Я переключила один трек, другой, снова свела, снова переключила и снова свела. Идеально. Еще через раз была легкая неточность — я прислушалась, чуть подкрутила пластинку и посмотрела на Алыша.

Он чуть наклонил голову набок, впервые рассматривая меня с интересом.

— Любопытно. А давай вот это, — и поменял пластинки.

Чуть лучше, чуть хуже, поняв механизм, я раз за разом справлялась с разными треками, которые он для меня подбирал.

— Надо же, то не получалось, а то здравствуйте, — сказал Алыш. — В чем дело-то было?

Я тряхнула головой.

— Да так.

Через три недели я отыграла свой первый сет и сквозь полудрему на уроке алгебры вспоминала свою дебютную ночь в качестве диджея. Друзья Алыша подходили ко мне, пожимали руку и поздравляли, а он сам подарил мне бейсболку и, похлопав по плечу, сказал:

— Хорошо зажгла, горжусь тобой как брат, есть же.

Неизвестно, что бы из меня вышло в результате, если бы вдруг не грянул гром: после долгих месяцев совещаний за закрытыми дверями родители объявили...

Нет, начинать надо с другого. Месяцем ранее я внезапно обнаружила, что люди бывают разных национальностей. И оказывается, это важно, очевидно,

очень важно. В наш класс перевели девочку из Москвы, которая странно разговаривала: она называла чье-то имя и сразу — национальность.

— Мой друг Руслан, чеченец... — говорила она. Или: — Та девушка, Катя, она еврейка... — Или: — Ну, у них такая, знаешь, обычная русская семья.

Оглядевшись по сторонам, я поняла, что действительно, все так и есть. Есть, оказывается, такая незначительная фишка, которая вроде как делала всех разными. Были казахи и были корейцы. Русские и украинцы. Евреи, немцы, греки, чеченцы и армяне. Оказывается, из-за нее все и выглядели по-разному и поэтому же носили разные имена. Но на этом отличия, кажется, и заканчивались. Мы все ходили в одни и те же школы, готовили дома одни и те же блюда, так же ездили в Москву, мечтали о Европе и говорили на одном языке. Это и есть та самая «дружба народов», о которой пишут в учебниках, догадалась я, и впервые в жизни задумалась о том, что кто-то ведь должен был ее придумать и построить. Сейчас бы я сказала: я поняла, какая пропасть разделяет идею, реальность и ее осознание. История города ответила на часть моих вопросов, но некоторые вещи я так и не смогла понять: например, почему у нас дружба народов была, а у Кати из Москвы ее не было. И сама Катя не понимала, о чем я спрашиваю.

Мне так никогда и не довелось до конца разобраться в этом вопросе, потому что однажды, когда я пришла домой, аккуратно повесила на плечики пальто, свернула шарф кольцом на полке и выровняла носочки сапог по кромке линолеума, на меня обрушился конец света. Германия.

Вначале я даже не поняла, о чем идет речь. Я подумала, что мы едем в гости к бабушке, и удивилась, что родители забирают меня из школы, прямо посреди четверти ради того, чтобы всего лишь поехать в гости. Это было не похоже на нашу семью, целиком и полностью состоящую из overachievers — чего никто из нас тогда, конечно, не знал.

— Но только надо подумать, что делать с английским и русским, математику можно отложить, там уже была контрольная, но еще диджеинг, я поговорю с Альшом...

Родители переглянулись. И тогда, прокрутив в голове то, как именно они сказали «едем в Германию», и то, что они не произнесли слова «возвращаемся», я поняла. Мы делаем как Шандоры и Реддеры. Мы переезжаем в ФРГ.

Сказать, что я не обрадовалась переезду туда, откуда в последние годы приезжали в чемоданах родственников куклы Барби, четырехэтажные пеналы, патрончики губной помады со вкусом кока-колы, заколки для волос и прочая бесполезная всячина, я не могла. Когда я подросла, тетя стала присылать мне какую-то совсем другую, не как у меня, одежду, которую, хоть она мне и не нравилась, я рассматривала с любопытством, пытаюсь представить, как выглядят и как живут девушки, которые носят эти футболки, брюки и юбки там, за границей; что у них в голове, что им интересно, что они чувствуют, и отличаются ли от меня. Нам по-прежнему присылали в посылках шоколад, который, честно сказать, уже никто не ел, но мы, казахстанские родственники, не знали, как объяснить нашим немцам, что здесь все изменилось и шоколад нам больше не нужен — да и, в принципе, ничего не нужно, только письма, звонки и если когда-нибудь смогут и захотят, — чтобы приезжали. Иногда между плитками шоколада попадались какие-то диски, другая музыка, другие фильмы, которые я не всегда понимала, — и потому, что немецкий, который был в ходу у нас дома,

был одряхлевшей, окаменевшей версией немецкого языка восемнадцатого века, на котором в фильмах, конечно, не говорили, — и потому, что и фильмы мне ни о чем не говорили.

Конечно, все это было отчасти и волнительно, да что там — круто! Классно! За два месяца до отъезда со мной уже стали заранее прощаться, и в школе специально для меня провели дискотеку, которую я организовала сама от и до, и впервые играла не в «Фабрике» — и хотя это, конечно, было немножко глупо, это было одновременно и очень приятно. Что-то приятное хотели оставить мне на память все. От Денисова, который, узнав о моем отъезде, принес в школу и подарил мне запечатанный в черную с серебряным тиснением оберточную бумагу флакон духов от Клиник, бывших в тот год популярными в школе — они назывались «Счастье» — и сказал, что это знак и прощание, потому что без меня он больше никогда не будет счастлив, и, он уверен, я без него тоже. До той самой учительницы химии, которая произнесла прощальную речь при всем классе и подарила мне палехскую шкатулку.

За два месяца я свыклась с мыслью о переезде, и когда действительно пришло время уезжать, прощалась я, как мне казалось, легко и беззаботно. Я была уверена, что в Германии прерванная самолетом линия просто продолжится — так же будет школа, будут друзья, ведь у меня всегда были друзья; мы с папой и мамой все равно вместе, в новом городе есть теннисный клуб, а мои сверстники в Германии по большей части свободно говорят по-английски — о чем вообще речь? Единственное, чего я, похоже, лишалась — это диджеинг; на мои вопросы о клубах в Нойберге Эльвира отвечала, что, вообще-то, в Германии все не как у нас, и я вряд ли смогу ходить по дискотекам. У нас тут на это ограничения по возрасту, так что как в Караганде, тебя никуда не пустят, и, если хочешь знать мое мнение, правильно сделают. Ее тон меня обидел.

«Ничего подобного», — сказала я и сразу поняла, что это несдержанно и неумно. Очень стыдно — с родной тетей! Мама нахмурилась и всплеснула одной рукой, а я знала, что если именно одной, а не двумя, то это значит: прекрати вести себя неприлично! До сих пор я слышала, как мама говорит это, тихо и быстро, один-единственный раз в жизни. Я свернула разговор, поблагодарила Эльвиру и ушла в свою комнату, не поднимая глаз. Я была права, и мы обе — и мама, и я — знали, что я это понимаю. За ужином мы с родителями посоветовались и решили, что специально звонить Эльвире в Германию и просить прощения не стоит, потому что это только привлечет к ситуации лишнее внимание и обострит ее. Думаю, сказала мама, что потому, что ты замолчала, а потом взяла трубку я, и была эта неловкая пауза, Эльвира догадалась, что ты поняла свою ошибку. А раз поняла — значит больше не повторишь ее.

Принимать на себя ответственность за детское поведение и взрослое решение мне понравилось. Невежливо отвечать тете было неприятно, и мысль, что в следующий раз я буду умнее и не поведу себя недостойно, подбадривала, ведь это именно то, о чем говорил папа, когда объяснял про внутреннюю силу и про закалку характера. Но уже тогда у меня стал проявляться несдержанный характер, который я впоследствии стала считать лучшим, что во мне есть, — острый, резкий, упрямый, не поддающийся хорошему родительскому воспитанию. Когда-то телефонное, а теперь ежеминутное высокомерие немецких родственников я невзлюбила, и всякий раз, когда Эльвира бралась объяснять мне что-нибудь, у меня закипала кровь, и иногда я, бывало, бросалась возражать

и защищаться — но останавливалась (когда вовремя, когда не совсем), понимая, что бы сейчас сказал мне отец и как расстроилась бы мама. Эльвира — моя тетя, не говоря уже о том, что она старше меня. И я молчала, застывая неподвижно, уставившись в стену стеклянными глазами. За пределами же семейного круга я в таких случаях занимала оборонительную позицию, не атакуя первой, но и не пропуская того, что, мне казалось, переходит допустимые границы, — и это то ли очень портило меня, то ли, наоборот, закаляло сталь, готовя будущего знаменосца глобализации, — я так никогда и не разобралась. Наверное, вопрос был не из самых важных.

Но это все было позже, а тогда мы стали собирать документы, потом собирать чемоданы, потом собираться с мыслями — и под градом звонков, совещаний с нашими в Германии и тревог о том, что теперь будет, я стала примиряться с мыслью, что некоторые части моей жизни придется оставить в Казахстане. Поверить в это шаг за шагом оказалось проще, чем я рисовала в своем воображении. Диджеинг и клубная культура, как оказалось, совсем не были частью моего сердца, только моей жизни — а жизнь подлежала изменениям, трансформациям, переломам и всему, что с ней сделают. Так я поняла это тогда.

В честь отъезда Алыш устроил для меня гудбай-пати: опен эйр в Парке шахтеров. Директор парка, мама девушки брата одного из друзей Алыша, разрешила нам в пятницу вечером устроить на одной из площадок в глубине парка, тех, что не выходили на центральную аллею, «свою тусовку». Ребята прикрутили к рампе пару фонарей, привезли колонки и усилитель и организовали алкоголь и автобус. Место хранили в тайне до последнего, и только за два часа до начала всем пришло эсэмэс — приглашение в старый детский театр в заброшенной части парка.

Я хорошо знала это место: еще в далеком детстве мы с родителями приходили сюда после походов в кукольный театр. Воскресенье у нас всегда было днем культпоходов. Мы сами, друзья родителей, а также, в разных конфигурациях, берлинские дяди и тети, у которых были дети моего возраста, все собирались вместе и шли в зоопарк, кино, кукольный театр, до которого тут рукой подать, или аттракционы и мороженое в парке. Мы тогда много времени проводили все вместе, и немногочисленные видеозаписи, которые папа делал, если удавалось на день-два выпросить на работе камеру, пестреют лицами, которые я помню только по этим фильмам, и отзываются странным теплом в душе.

Одним из наших любимых развлечений были «концерты», которые мы устраивали для взрослых после таких походов. В ход шли выученные в детском саду или школе стишки, песенки, танцевальные импровизации, гимнастические номера, а также сольные и массовые выступления неидентифицируемых жанров. Нашим с Катей коронным номером был казахский национальный танец, изображающий плетение кос, — мы складывали ладони ковшиком и ходили под музыку по кругу, выворачивая кисти. Все это есть в папиных «фильмах» на старых видеокассетах; как-то во время ремонта мы с мамой наткнулись на «семейный видеоархив» в так и не распечатанных после переезда в Германию коробках — и смотрели, не отрываясь, ощущая, возможно, отчетливо, как никогда, что мы поменяли не только страну, но и мир, в котором жили, — хотя,

наверное, это произошло со всеми. Это чувство странным образом и сблизило, и отдалило нас, пока мы неловко складывали кассеты обратно в ящик. Жаль, что со временем пленки почти стерлись, и теперь их даже не оцифруешь — приходится жить в том мире по памяти. Сцена, на которой мы плели косы не в такт, провалилась, и не будь тут давно не крашенного кирпичного павильончика, изображавшего юрту, я бы и не вспомнила детские места. Эту часть парка совсем забросили, и желтые, красные и синие скамейки в амфитеатре все были переломаны, дорожки между ними заросли травой. В павильоне мы когда-то переодевались между номерами и прятали от зрителей сверхсекретный реквизит — но сейчас я даже не рискнула к нему подойти. Земля под ногами дрожала от низких битов, и на другом конце площадки DJ SUPERMARIO, Миша, который ходил к тому же репетитору по английскому, что и я, то и дело приглушал музыку, чтобы послушать крики толпы.

«Феерия», — подумала я. Может, это была самая крутая пати, на которой я вообще бывала в жизни. Хотя бы потому, что все пришли сюда ради меня и забыли об этом достаточно быстро, чтобы не портить тусовочное настроение. Хорошо было забыть, что со мной здесь прощаются, и под лихорадочным мельканием стробоскопов и лазеров ощущения и настроение были просто космические. Прошло минут тридцать с тех пор, как я незаметно сбежала с танцпола, но в плотной толпе никто не мог этого заметить. Школьные друзья в левом дальнем углу площадки вполне могли думать, что я пошла переброситься парой фраз с клубными ребятами справа от них. Братья и сестры держались немного особняком, отвыкнув — или не привыкнув — в нашем тесном берлинском гетто к тому, что не все обязательно знакомы со всеми. За вспышками слепящего света на танцполе мои гости не могли разглядеть ничего, и хотя я была в каких-нибудь пятнадцати-двадцати метров от всех, плотная темнота неосвещенных углов надежно защищала мое одиночество. Моя теннисная команда позабыла обо всем на свете, и о завтрашней плановой тренировке, выскользнув на пару часов из обычного жесткого графика. А у меня уже не было завтрашней тренировки, у меня была моя большая прощальная вечеринка.

Если долго-долго смотреть на звезду, начинает казаться, что она движется. А если отвести взгляд — все точки на небе снова застывают. Я лежала на земле, подложив под голову куртку, и смотрела, смотрела, смотрела — как сначала кажется, что все в движении, а потом — что движения нет. Как под гипнотическим взглядом звезды начинают ходить по кругу — а стоит отвести взгляд, и понимаешь, что этого не было. А потом меня нашел Алыш.

— Эй, че не танцуем? — спросил он, присаживаясь на землю рядом со мной. — Твоя же вечеринка!

— Вообще моя, — выставила я руку, изображая хватаящее движение из клипа какого-то популярного рэпера, который крутили на всех каналах, радиостанциях и магнитолах маршруток, выкручивали на полную громкость в одиноких машинах, фланирующих по вечерам на улице Ленина, и страстно любили во всех без исключения ларьках с шаурмой, что только можно было найти в Караганде.

— Не грустно тебе уезжать? Или, наоборот, хочешь в Германию? Там, наверное, круто. Движняк постоянный, полно клубов, и вообще все по-другому.

— Не знаю Алыш, мне и тут было неплохо. У них все по-другому, у нас все по-другому, — какая разница...

— Да ну, брось, Караганда, — он развел руками, — пошли лучше, зажжешь напоследок, ща я стоню этого электронщика попсового с вертушек, дадим жару!

Через четыре дня, во вторник, пришла пора менять место, время и жизнь, и я обнаружила, что за два месяца непрерывных прощаний так нарепетировалась, что не могла отличить генеральный прогон от самого спектакля. Как будто я уже вышла из этого мира, став одновременно и родным, и чужим элементом, и поэтому все потеряло значение и остроту. В понедельник вечером в дверь неожиданно позвонил Денисов — «поговорить напоследок» и попрощаться со мной. Концепт был для меня новым, но от удивления я не стала разбираться в мотивировке этого действия и предполагаемой в нем конфигурации актеров и просто спустилась к калитке. Говорить было совершенно не о чем. Саша — так звали Денисова — был в настоящем и немного в том прошлом, где мы каждый день сидели рядом в столовой. Я жила будущим, которого пока даже не представляла. Минут через десять все остатки общего прошлого были исчерпаны, и продолжительная пауза подсказала, что пришла пора прощаться. Он как-то неловко поцеловал меня, впервые за все наши не-отношения — хотя я долго отказывалась признавать, что это был поцелуй, и вносить это событие в свой тайный, как и у всех подруг, дневник. По моему мнению, Денисов просто обнял меня и прикоснулся своими губами к моим, что полностью исчерпывало суть произошедшего.

Несмотря на мамины возражения, я взяла с собой в Германию серьезную коллекцию музыки — после новостей о переезде Алыш посоветовал мне перейти с винила на cd, и я срочно занялась составлением своей подборки. Диски были легче и меньше, на них можно было увезти больше звука, и даже пару готовых сетов, — на какой-нибудь фантастический, непредвиденный случай, если Эльвира ошибается, и я смогу попасть в клуб, если она опять ошибается, и мне предложат поиграть, позовут куда-нибудь, а я, например, буду не готова или стану нервничать, что потеряла легкость и надо снова набивать руку, не так сразу, — что-нибудь в этом роде. Но когда я в Германии впервые вытащила диски из чемодана — уже после концлагеря, после хайма, после всех унижительных расспросов и приговоров, — я поняла, что специальный чемоданчик с дисками смехотворен в новой жалкой жизни. Не только потому, что для музыки не было ни времени, ни возможности. А потому, что вырванные из привычного контекста все эти диски и сам образ жизни, который был в них запечатлен, стали абсурдными за пределами мира, где я собирала эту коллекцию, тщательно подгоняя первый трек с диска «А» к первому треку с диска «В», второй ко второму, чтобы легче было сводить, и так далее. Теперь все это можно было отнести вниз, в подвал, с грудой таких же бывших важных вещей. Наступил конец моей клубной жизни, а вместе с ней исчез и тот мир, где время шло, но ничего никогда не менялось. Так эта часть прошлого исчезла из моего настоящего, как будто ее отломали, раз и навсегда.

Глава третья, в которой я долго разговариваю с кем-то незнакомым, рассказывая то, о чем говорить вовсе не следует

— «Святая анорексия», вы говорите? Очень интересно, а по-латыни это будет...

И я просыпаюсь.

Принято считать, что начинать рассказ с прямой речи нельзя: моветон. Но что делать, если совершенно бесповоротно все что было до этого — смутная, бесконечная пелена событий, слившихся в мутное облако в голове, и вдруг кем-то брошенная случайная фраза резко ударяет по тебе, заставляя вынырнуть из этой пелены и остро почувствовать, что момент, когда ты услышал обращенный к тебе вопрос, отмечает переход из одного состояния в другое, от сна к болезненному и мучительному пониманию того, что ты и вправду существуешь, несешь ответственность за то, что случилось с тобой, и все, что происходит — происходит на самом деле? И тогда прямая речь, открывающая текст одновременно с твоим сознанием, звучит подобно выстрелу из пистолета, возвращающему к самому себе.

— Нет, честное слово, сначала я честно принимала аддерол из-за синдрома дефицита внимания, прямо по рецепту, мне его прописали. Но к нему постепенно привыкаешь, мне стало не хватать, а потом я уехала, ну, а в Америке повысили дозу и... Эйдиэйчди сейчас диагностируют у каждого пятого, если не чаще. Конечно, я за собой этого не замечала. Ну, это ведь даже не болезнь, я вас умоляю. Вот вы замечаете, как я подхватываю ваши фразы и договариваю вместо вас? Нет, правда, именно так и делаю, последите за собой. В смысле за собой и за мной. Да, оказывается, это не совсем правильно. Но все-таки это *социально сконструированная болезнь*, ее нет, это все колебания в пределах нормы, кривая Белла. Но аддерол... Знаете, сколько студентов мечтают о неограниченном доступе к аддеролу или риталину? Нет. Нет... Извините. Нет... И теперь умножьте на два. Ну, приблизительно. Абсолютно серьезно, читала на днях исследование об этом. Ну и как вы сами понимаете — через тридцать минут я уже расписывалась в аптеке. 120 таблеток, четыре в день. Две я приняла сразу же, там, у питьевого фонтанчика, — поняла, почему о нем столько говорят еще до того, как доехала домой, — а это, к слову, двадцать минут. Нет, вы не представляете даже. Совсем непохоже.

Как бы это описать... Острое чувство наслаждения собственным умом. Желание предпринять что-нибудь прямо сейчас, да что там, не только желание — силы, энергия, понимаете, по-настоящему. Это просто блаженство. Аддерол, кстати, выдают только по паспорту, сверяя фотографию. Интересно, если сравнить фотографии тех, кто принимает стимуляторы, что там будет — безумный, голодный взгляд непременного победителя? О, я рвала в клочья контрольные и тесты, спала в библиотеке, повторяла про себя спряжение французских глаголов параллельно другому разговору, например, когда болтаешь с подругами в столовой во время обеда. Потом — это было очень смешно — в колледже стали думать, что я никогда не сплю — я просто посылала письма в три часа утра, в пять часов, в восемь, и сначала все понимали, что это шутка, но потом приходит новый поток, новые люди, ротация студентов, постепенно коллектив обновляется, и вот следующий поток, те уже на самом деле стали

верить, и я даже не знала, смеяться ли над этим или переубеждать их по одному. Нет, конечно, я спала, вы не подумайте, просто спала в те часы, когда общежитие стояло пустое. У нас комнаты убирали раз в неделю, но я постоянно вешала на дверь табличку с просьбой не беспокоить и убиралась сама, по ночам, вообще все по ночам. Сон где-то с девяти утра до часу дня; занятия в основном начинались около двух... А по вечерам, обычно часов около двенадцати, я ходила по городу и курила — непрерывно, пока были силы. Я очень стеснялась, что курю, если честно, ну вот поэтому выбирала самые безлюдные дороги — чаще всего обходила весь город по периметру, а бывало, и два раза, зажигая одну сигарету за другой, пока не заканчивалась пачка. Почему курила? Нет, это долгая история, просто справлялась с собой, не очень успешно, совсем неуспешно, да, гомансе, но это будет в другой главе, а мы с вами говорили о...

Да, это правда. Не хочется есть вообще. Можно не есть часами, до обморока, да, было несколько раз. Я просто стала всем рассказывать про анемию, про недостаток железа. Конечно, на алкоголь списать было бы проще, но это то же, что и с сигаретами, тайная слабость, не хочу, чтобы кто-то знал. Слушайте, так время бежит незаметно — уже рассветает... Анорексия. Как бы вам описать. Постоянное, неутолимое чувство голода, к которому так привыкаешь, что перестаешь его замечать. Как только сходишь с таблеток, моментально звереешь, просто с ума сходишь. Голод управляет тобой, на бессознательном уровне, каждую секунду — поступки, которых иначе бы никогда не совершил, слова, которые бы ни за что не сказал, но это будь у тебя возможность хоть на мгновение, на одно-единственное мгновение перестать думать об этом, понимаете? Нет, не понимаете, я вижу. Но это невозможно как-то передать... Как бы вам объяснить... Вы были когда-нибудь в Дрездене, в галерее Старых Мастеров? Конечно, были, а помните картину Хосе де Рибера? Святая Инесса? Подождите, здесь же есть вайфай, сейчас найду... Вот, посмотрите на выражение ее лица, видите? Обратите внимание на кисти рук, да-да, я именно об этом говорю. Она такая прозрачная, как будто в одно мгновение может растаять... Есть очень интересная статья об этом, но не могу сейчас вспомнить название... Кажется, сам сборник называется «Фуко и феминизм»... или «Феминизм и психоанализ», они у меня на полке рядом стояли, поэтому не могу точно вспомнить, какой именно. Да, верно, но вы сейчас говорите скорее об антропологических факторах. Суть этого феномена как раз в *необходимости постоянного поддержания challenge как своего рода оси самоидентификации*... А со святой Инессой, конечно, уже совсем другой вопрос... Нет, об этом на самом деле очень мало писали, но можно, например, у Белла посмотреть — кажется, так и называется, «Святая анорексия», можно просто проверить по латинскому названию...

— «Святая анорексия», вы говорите? Очень интересно, а по-латыни это будет... — и, выделяя интонационно паузу, в которую я должна вклиниться с подсказкой, он смотрит на меня, приподнимает бровь, слегка кивает, подсказывая: ваша реплика, не тормозите сценарий.

— Извините, вы не могли бы повторить, пожалуйста? — очнувшись, прошу я чтобы выиграть секунду времени и потому что я правда не расслышала.

— Да-да, вы хотели мне продиктовать латинское название.

— Латинское название?

— Ну да, для особого типа анорексии...

— Ах, да, *Anorexia mirabilis*, я что-то вдруг задумалась и совершенно выпала

из реальности, простите, пожалуйста, — расслабленно и звонко отвечаю, полуулыбнувшись в конце фразы, ах, с кем не бывает, правда, и параллельно напряженно изучаю человека, с которым я разговариваю, похоже, уже не первый час.

Вы знаете, как это неприятно, когда в голове ни с того ни с сего шелкает, будто спадает туман, и ты понимаешь, что совсем, совсем не понимаешь, что происходит и что происходило последние несколько часов? Они исчезли из твоей памяти, как будто кто-то прошелся по ней ластиком. Отдельные моменты могут мелькать краткими искрами — вот ты стоишь у окна и ищешь точки, где Чарльз сливается с озером, а озеро — с небом. Вот ты спускаешься по лестнице, замечая, что все рассматривают тебя с удивлением; кажется, это из-за того, что ты идешь через гостиничный холл босиком и, действительно, вот девушка с геометричным каре при виде тебя зябко кутается в свитер; а вон тот дедушка забеспокоился и вглядывается в твое лицо — ой, спасибо, сэр, не стоит беспокоиться, у меня все в полном порядке, просто, знаете, смена часовых поясов сильно сказывается, видите, уже даже виски пробую в качестве снотворного, — потому что это один из таких старичков, которым это покажется остроумной шуткой. Спасибо, спасибо, а у меня как раз тоже есть знакомый, который любит «Чивас». Пожалуй, так и сделаю! Еще раз спасибо, да, хорошего вам отдыха.

И потом уже все сливается, кроме ощущения холода, и вдруг, вынырнув из этой полосы, я понимаю, что все еще сижу в лобби-баре, действительно, босиком, рваные джинсы и свитер наизнанку, на шее кольцами накручен шарф. Карлоу был бы вне себя, но я хотя бы не разболтаю ничего лишнего: в затылочную долю уже давно вживлен нейрофиксатор, и я надежна и безмолвна, как камень.

Но все-таки — как неприятно. Очень неприятно. Типичная антероградная амнезия случается с теми, кто подсел или перебирает с бензодиазепином. Принимаешь таблетку или две-три, ждешь, пока подействует, но сон не идет. Отчаявшись, решаешь заняться чем-то другим. А потом все заволакивает туманом, и когда очнешься, оказывается, что прошло уже несколько часов, а ты не помнишь, что делал и говорил в это время. Я же зарекалась, зарекалась выходить из номера и вообще заговаривать хоть с кем-нибудь. Что произошло? Молниеносно каталогизируя в памяти воспоминания обо всех подобных эпизодах за последний год, сопоставляю их, чтобы лучше представить себе *динамику привыкания и очертить возможные траектории и негативные тенденции*.

В первый раз, конечно, само включение-отключение сознания пугает — а вы бы как отреагировали? Но в двадцать первый я уже не удивляюсь, а просчитываю возможные действия. Самое главное сейчас — аварийный выход, переключение ситуации. (И заставляю себя отключиться от размышлений о том, какой вектор вырисовывается из череды подобных эпизодов. Так, не сейчас, сейчас главное — собеседник.)

— Ой, — я резко смотрю на часы, — извините, по-моему, я вас заговорила, а мне уже пора, да и вам, наверное, тоже. Мне до восьми утра нужно провести скайп-конференцию с коллегами, завтра презентация нашего проекта, но, к сожалению, часть рабочей группы не смогла приехать. Анорексия мирабилис, запомнили?

За долю секунды между моим щебетанием и его ответом я окончательно прочерчиваю в уме этот вектор и понимаю, что промежутки между эпизодами сократились в два с половиной раза, а продолжительность пробелов в памяти,

возможно, удлинилась, вероятность — процентов тридцать, для точности нужно восстановить в памяти каждый случай отдельно. Бензодиазепины. Сколько я на них — года четыре или пять? Что я помню о препарате? Побочные эффекты — достоверной информации, кажется, пока нет — когнитивные расстройства, айкью, психоз, зрительная память.

Собеседник хотел было возразить, но я, широко улыбаясь, протянула ему для рукопожатия руку, которую он безвольно принял. Минус балл. Отступив на шаг и продолжая улыбаться, подытожила:

— Очень приятно было поговорить! Надеюсь, еще увидимся. Хотя на таких конференциях никогда не знаешь... В любом случае, рада была познакомиться, — и, не дожидаясь ответа, развернулась и быстрым шагом очень, очень занятого аспиранта прошла к лифту.

В такой ситуации это проще всего. Никаких объяснений, никакой неловкости. *И существует статистическая вероятность* того, что в следующий раз, столкнувшись со мной лицом к лицу, он меня не вспомнит. Ведь у людей чаще всего плохая память на лица. Больше всего меня встревожило даже не то, что я наверняка рассказала много лишнего, пусть даже не о проекте, а о самой себе, а то, что из-за этой внезапной потери контроля над собой, неожиданной слабости, моя «вторая кожа», то невозмутимое, сдержанное спокойствие, которому я так долго училась, дало трещину и бесконечный мысленный хаос, которого я так успешно избегала в последнее время, грозит затопить мое сознание снова. Ну а кому это вообще интересно? Проект в любом случае под защитой, остальное неважно.

Двадцать третий этаж, пожалуйста. Да, спасибо большое. Нарушение механизма перемещения в долговременную память. Двери лифта закрываются, и на секунду я снова засыпаю и просыпаюсь.

Я врываюсь в свой номер в семь часов ноль-ноль минут — ровно в то время, когда я каждое утро начинаю завоевывать мир. Будильник уже разрывается от *мелодии, разработанной по инновационной методике с учетом новейших эмпирических данных о процессах когнитивного обмена и взаимодействия психики...* ну, проще говоря, жуткой мелодии, которую специально для меня написали приглашенные к нам в лабораторию два сумасшедших нейро-профессора из Индианы. Механизм соединен с моим браслетом Jawbone Professional Edition, *что позволяет синхронизировать биоритмы, время пробуждения и подходящую мелодию*; она будет играть еще тридцать-сорок минут, *вызывая мобилизацию нейронов и постепенно перенастраивая биоритмы мозга на заданную частоту*. Будильник также соединен с устройством отслеживания у дежурной медсестры, которая получает *сигнал об активации устройства и приблизительный прогноз по продолжительности синхронизации*. Таким образом, медсестра узнает, в какое время ей нужно быть у меня для проведения медосмотра, и корректирует дневной план работы с остальной командой — быстро, эффективно, и ни одной напрасно потраченной минуты. Прекрасно со всех сторон, если не считать, что я, как правило, пребываю в неведении относительно того, чего и когда именно мне ждать, потому что у меня единственной отсутствует доступ к этой информации. Причина такой информационной блокировки вполне очевидна: желание избежать эффекта плацебо, ведь если я буду *своевременно получать всю статистику*, то, *учитывая склонность человеческого мозга к вычислению закономерностей*, в моем случае еще многократно умноженной, я могу начать подсознательно искать связь между показателями, своим самочувствием и занятиями

и исследованиями, которые выполняются в этот день, — а значит, потерять объективность и подбивать объективные факты о своем самочувствии, например, под существующую только в моей голове схему — и в результате поставить под угрозу точность всего эксперимента. А когда речь идет о таких тонких и совсем не тонких материях, таких, как возможность программировать мозг человека, и еще о десятках миллионов долларов, — точность весьма желательна. Боже, я уже просто не могу избавиться от этого языка. Пожалуйста, дай мне снова возможность и силы говорить короткими фразами. Рывками снимаю джинсы, шарф, свитер, распускаю волосы и ложусь в кровать, продолжая прокручивать в голове отрывки воспоминаний о ночном разговоре, пытаюсь восстановить хотя бы общее направление и круг тем... Будильник тем временем *создает энергетическое поле, раздражая звуковые рецепторы с целью спровоцировать определенную реакцию нервной системы.*

Через десять минут в комнате появляется Лариса, и настроение у меня сразу улучшается: Ларису я обожаю. Во-первых, она такая русская эмигрантка, что даже самые нетронутые массовой культурой, чистые и непредвзятые иностранцы сразу распознают в ней советскую женщину. Челка перышками, бесконечные цветастые кофточки, голубые тени до бровей и каблучки-рюмочки (со свойственной ей бережливостью и практичностью, Лариса хвастается тем, что купила их в восемьдесят шестом году в обувном на бульваре Мира за 29 рублей — и до сих пор как новые) — все это такое узнаваемое и родное, что время от времени мне хочется обнять ее, вжаться в ее мужественные, фактурные и немного расплывшиеся плечи, уткнуться носом в плечо и на секундочку сделать вид, что сейчас мама решит все проблемы.

Из всех задействованных в эксперименте работников Лариса чуть ли не единственная, кто относится ко мне как к полноценному человеку, хотя я не могу сказать с уверенностью, оттого ли это, что я — русская девочка, потенциально годящаяся по возрасту ей в дочери, оттого ли, что она добра по своей природе, или оттого, что не совсем понимает, да и не особенно старается, суть нашей работы, моей работы и своей работы. В любом случае, едва войдя в комнату, Лариса начинает говорить, сопровождая меня историями из жизни и из газет всю свою смену; периодически приносит мне пирожки с картошкой, и своими постоянными, красноречивыми жалобами на то, как я мало ем и плохо выгляжу, обеспечивает мне легитимную возможность взять пятиминутный перерыв и спокойно поесть. А еще на нее всегда можно рассчитывать: малейший невербальный знак — и Лариса присаживается рядом на диван, смотрит мне в лицо, не отрываясь, пока я говорю, кивает головой, участливо предлагает варианты действий и всевозможные психологические интерпретации, и на голубом глазу ругает вместе со мной Карлоу, вторую медсестру Джессику, первого ассистента Джордана и всех остальных, на кого она работает, не утруждая себя мучительной оценкой своей профессиональной этики; в этот момент, пусть даже не намного дольше, Лариса считает, что наша с ней связь как «двух самостоятельных сильных женщин-эмигранток с нелегкой судьбой», а возможно, также и высшим образованием, и длинными ногами, гораздо сильнее и важнее, чем ее или моя подотчетность Карлоу и судьба нейролингвистического программирования. И не то чтобы завтра, или даже через пять минут, это ощущение не испарилось; даже в тот момент, когда оно острее всего, я знаю, что его на самом деле нет. В принципе, я и так все знаю, и в советах необходимости нет. Все, что мне нужно, — это чтобы в тот самый момент кто-нибудь меня выслушал, кивая головой. А на остальное у меня сил хватит.

Лариса постоянно делает мне поблажки. Если бы не она, я бы давно вылетела из института, растеряла всех друзей и не смогла бы избежать родительского огорчения.

Но самое главное — это то, что Лариса регулярно дает мне краткую возможность побыть самой собой, а не объектом эксперимента. И это та малость, которая делает видимой грань между сумасшествием и сумасшедшей жизнью. Потому что иногда мне кажется, что видимой черты нет — и что я, споткнувшись, потеряла равновесие, сорвалась и лечу в пропасть.

По правде говоря, я не знаю, делает ли Лариса так из симпатии или от легкой небрежности — но другие медсестры поддерживают видимость непрерывного и крайне активного присутствия в моей жизни, постоянно переходя грань между внимательностью и назойливостью; и я всегда помню, что при малейшем простом секундомера у меня сразу зазвонит телефон или в комнате объявится деловитая женщина бесцеремонного поведения. Лариса же, будучи занятой своими делами, в числе которых, как правило, числятся телефон и ее «новый мужчина», упрямо отвечает координатору, что у нас все в порядке и еще пять минут. И это становится смехотворно важным и ценным для меня в ситуации, когда мое время регламентируется по минутам и абсолютно никому не кажется неправильным давать мне выбор между едой и сном, сном и учебой, десятью страницами книги перед сном или чашкой кофе в перерыве между двумя сессиями томографа. Каждое движение минутной стрелки стоит тысячи долларов и делает меня все более и более дорогим продуктом; и проще превратить жизнь десяти человек в ад вечного хронометража, чем раздвинуть эти рамки. И вдруг посреди всего этого Лариса, полевой цветок беспечности и безыскусности, может полчаса листать последний выпуск People и не думать о том, что ей тоже платят зарплату.

— По-моему, все-таки полнят немного, заразы такие, — говорит Лариса вместо приветствия, рассматривая себя в зеркало со всех сторон. — Новые джинсы, как тебе?

— А по-моему, ничего, хорошо сидят.

Но Лариса, уже переключившись на режим работы, стремительно летит вперед.

— Выспалась? Таблетки приняла? Что у нас с давлением? Надо померить. Какой идиот придумал эти долбанные графики, — ворчит Лариса, быстро передвигаясь по комнате, рассматривая гостиничные безделушки, проверяя мои витамины, закатывая мне рукава, выглядывая из окна и читая сообщение на телефоне.

— Вообще не очень, только не говорите, ладно?

— Не говорите, так не говорите, — отвечает она, размашисто заполняя графу в таблице. — И что, опять не ела? Блин, девочка моя, а вот так вот уже нельзя. Смотри, сейчас разворачиваешься на сто восемьдесят градусов и мигом дуешь в столовку, поняла меня? У нас еще есть полчаса, потом поедем.

И так она то ли отправляет меня завтракать, то ли с ловкостью опытной медсестры, умеющей подсластить пилюлю и заговорить зубы пациенту, продолжает незаметно прокладывать себе и мне дорогу к завершению эксперимента, даже не замечая, с какой легкостью ей дается все то, что другие медсестры годами отрабатывают на курсах по коммуникациям с пациентом.

Лариса говорит безумолку — когда сидит рядом со мной на заднем сиденье микроавтобуса; когда заполняет документы в общественной больнице штата Иллинойс; когда деловито подкладывает мне под руку одеяло, перетягивает

резинкой повыше локтя и прокалывает вену; когда вместо шприца, рассказывая мне, как ей нравятся мои сережки, вставляет мне в вену тонкий резиновый катетер и наполняет кровью первые шесть пробирок. К томографу, впрочем, ее уже не подпускают. Там другая медсестра, Кристина, укладывает меня на передвижную полку, закрепляет упоры для висков, чтобы я не могла сдвинуть голову во время сеанса, наклеивает мне на лоб капсулу для фокусировки и вкладывает в левую руку звонок аварийного вызова, а в правую — прибор с тремя кнопками, которыми я буду работать во время сканирования. Наконец, Кристина накрывает меня одеялом и поверх, по моей просьбе, еще одним — в кабинете МРТ всегда, всегда очень холодно. Я закрываю глаза, включается красный свет, полка начинает подниматься и медленно заезжает в трубу томографа. Теперь в течение сорока минут мне будут показывать картинки, цитаты, задачи, формулы, куски текстов на разных языках, и я должна буду нажимать одну из трех кнопок в зависимости от того, знаком ли мне этот слайд и знаю ли я, как его перевести или решить. Через сорок минут сканер остановят, меня накроют теплым одеялом и переведут в соседнюю комнату, где уже будет ждать Лариса с новыми шестью пробирками наготове.

Второй сеанс всегда дается мне сложнее — он рассчитан на эмоциональный интеллект, на выдержку и самоконтроль, а вот с этим у меня нередко бывают сбои. Когда Карлоу распорядился показать мне записи из Гуантанамо, я настолько вышла из себя, как будто в один момент в голове что-то отключилось — резко нажала кнопку экстренного вызова, встревоженные медсестры моментально все отключили и прибежали меня спасать, а я показывала знаками, что надо срочно все с меня снять, отцепить все эти проводки и присоски; а потом не дождалась, сорвала все сама, спрыгнула с полки и прямо как была, в больничной пижаме, направилась в кабинет Карлоу. Не совсем точно помню *выбранную мною стратегию ведения переговоров*, но ходят слухи, что я очень, очень громко кричала, то и дело повторяя «аморально» и «вы что, совсем с ума сошли». За исключением этого, впрочем, суть моих высказываний так и осталась загадкой. Сеанс с хрониками Гуантанамо пришлось повторить. А с Карлоу месяца два, наверное, у нас длилось пассивно-агрессивное противостояние, вылившееся потом еще в один конфликт с последующим примирением.

Случай с Гуантанамо, пожалуй, был самым запоминающимся и не совсем рядовым. И факт в том, что эта часть эксперимента потребовала гораздо больше времени и работы, чем изначально планировалось. Даже сейчас Карлоу был сильно недоволен прогрессом. В теории, нейропрограммирование должно было *понизить мою эмоциональную восприимчивость и повысить интеллектуальную*. Таким образом, вместо *персонализации увиденного* я должна была *переходить к макро-восприятию: моментальное генерирование типических моделей и прецедентов, оценка воспроизводимой ситуации и параллельное многоаспектное прогнозирование*. И хотя я делала второе, *степень эмоционального реагирования не снижалась*. В конце концов, Карлоу принял решение *модифицировать критерии и ожидания на данном этапе, сосредоточившись на выполнении интеллектуальных установок*, и пересмотреть результаты над этим сектором позже, на второй стадии работы.

Сегодня мне показывали видеозаписи о русских эмигрантах в Германии — в основном потому, что Карлоу считает это моим больным вопросом. Судя по всему, прорабатывались сентиментальная тематика, комплекс, связанный с ностальгией, разлукой, тоской и архетипами, на которых он базируется. Вот сейчас, например, экран показывал двух худеньких маленьких женщин лет

шестидесяти, одетых очень похоже: юбки до колена, блузочки, почти одинаковые черные пальто, одна в шляпке, а другая — в газовом шарфике, они напоминали библиотекарей или служительниц музея, тех самых, которых так часто можно увидеть в консерватории или в Большом, обсуждающих в антракте, прохаживаясь под руку по коридорам, что в восемьдесят восьмом та актриса сыграла Раневскую гораздо лучше. Приблизительно девяносто пятый год (судя по одежде), скорее всего, сестры, выросли в Москве, владеют только русским языком. Камера преследовала их по пятам, показывая, как они пытаются снять с поезда огромный чемодан, в который, как можно было предположить *методом визуальных исключений* из флэшбеков, был заботливо уложен семейный хрусталь. Хроника дошла до лагеря переселенцев, и ситуация развивалась вполне предсказуемо: одна из старушек была отправлена «пуцать» в супермаркет, а вторая жаловалась на то, что она кандидат исторических наук, а наверняка отправится туда же. Закадровый голос, конечно же, объяснял, что эмигрантка проходит адаптационный период и следующие два месяца определяют, какой степени бериевской аккультурации можно будет ожидать. Я поставила на вторую в надежде на наиболее благополучное стечение обстоятельств. Потому что в таких ситуациях, знаю по себе, только и надеешься на что-то непредвиденное и немного деус экс махина. Наверное, через тридцать минут Карлоу получит по почте готовые результаты сканирования и позвонит, чтобы отчитать меня по телефону.

Сеанс заканчивается, и поскольку мы задержались на шесть, у нас остается четыре минуты на то, чтобы я переоделась, и десять минут на то, чтобы маленькими глотками, сидя за столом, не торопясь, выпить витаминный коктейль с протеином. Ровно через четырнадцать минут водитель тронется с места, чтобы в тринадцать-тридцать мы вошли в Гроссмановский институт неврологии, квантитативной биологии и изучения поведения человека.

Лариса садится на диванчик в приемной, а я задергиваю шторку в раздевалке, сажусь на пол и достаю айфон и тоненькую плитку бельгийского шоколада. Это мой последний шанс съесть эту шоколадку хотя бы за шесть часов до вечернего анализа крови. С градом опечаток я рывками строчу сообщения маме, сестре и Саре: «У меня все хорошо». Все волнуются перед завтрашним днем, но стараются не показывать, чтобы волнение не передалось мне. Даже Карлоу ведет себя более-менее прилично и то и дело говорит «пожалуйста». Пяти минут обычно хватает на коротенькое, кривое, но все-таки письмо, еще пять — и я выхожу из раздевалки — одетая, зашнурованная, собранная и готовая работать. Лариса спокойно поднимается с дивана, проходит по коридору за одну из стеклянных дверей, возвращается с пластиковым стаканом-тумблером и впикивает мне его в руку.

— Идем?

Еле сдержав улыбку, я шагаю за ней по коридору. Водитель, увидев нас, открывает дверь машины, но его взгляд упирается в коктейль у меня в руках, и я вижу, как этот гладкий лоб разрезает морщина, а в глазах загораются красным световые сигналы тревоги. Потому что все здесь проинструктированы, что, как и когда нужно делать.

— Так, о чем думаем, молодой человек? Поехали, мой друг, ты что, — не давая ему вставить и слова, тараторит Лариса. — Мы же опаздываем!

Она садится на переднее сиденье рядом с водителем, а я сзади, одна, пью свой вполне неплохой коктейль и набираю, теперь уже спокойнее, еще одно письмо.

Часть 2. Современные концентрационные лагеря для эмигрантов в Германии, или Как закалялась советская сталь в Оксфорде

Глава четвертая, в которой я вспоминаю, как живет русский эмигрант в Германии, и объясняю, как в молодых людях зарождается моя ненависть

Подобно старушке из сегодняшнего фильма про эмигрантов, я тоже когда-то исправно поднималась в шесть утра и отправлялась на социальные работы. Натянув кепку по самые мочки ушей, я сажала цветы, рвала сорняки и окапывала клумбы на главной площади Нойберга, надеясь, что никакая машина гугл стрит вью, никакие знакомые и никакой случайный турист не запечатлеют навечно меня в рабочем комбинезоне, с секатором, в брезентовых рукавицах, а самое главное — с тем выражением обреченности на лице, какое бывает у махнувших на себя рукой старых людей — мол, думайте что хотите, мне уже все равно.

Полгода назад я в шелковом платье стояла за диджейским пультом, мне было хрупких шестнадцать лет, и я застенчиво улыбалась всему миру. Потом я отнесла в подвал ставшую ненужной коллекцию дисков. А потом все случилось как-то очень быстро, как-то непонятно, что после первого приема у социального консультанта, за жалких две-три недели, кубарем скатившись с этой лестницы, я превратилась в криво покрашенного подростка с размазанной по всему лицу тушью и надписью невидимыми чернилами: «Нет будущего». Я не могла поступить в университет, потому что не окончила гимназию и не сдала выпускные экзамены; я не могла пойти в гимназию из-за разницы школьных программ, а добиться поступления на класс или даже два ниже нам не удавалось — и пока мы ждали помощи от переводчика или сразу же найденного через знакомых знакомых русского адвоката, меня отправили на социальные работы. Все затягивалось, нужны были справки, для справок — документы, для документов — переводы, оригиналы, подтверждения, выписки, бесконечные телефонные звонки, ожидание в молчаливых приемных и расспросы в серых кабинетах. Так, мне казалось, и пройдет остаток моей жизни. Мама говорила каждое утро, что это временно и так или иначе я снова попаду в школу, проучусь, самое большее, два года, закончу, поступлю в университет и все наладится — но пока я ждала, все складывалось не в мою пользу: потерянные письма, задержанные документы и просто бесконечное ожидание. Стоял октябрь, ближайшим сроком хороших новостей мог быть лишь сентябрь следующего года, и то если удастся вернуться в школу, и даже это — еще два года, еще институт, еще много, много лет. Мне казалось, что если ждать так долго, то уже и не стоит ждать, потому что как отсрочить начало своей жизни на годы, смирившись с тем, что до тех пор будешь только рыхлить грядки, красить заборы и мыть полы? И никакие уговоры, что можно ходить в кружок любителей театра (при городской ратуше, каждый второй четверг в семь часов вечера, вход открыт для всех желающих), не убедят в обратном.

Вот как у меня на лице стало написано, что я знаю, что это значит — страдать и испытывать стыд за себя. Вам когда-нибудь приходилось осознавать, что отныне вы для всех окружающих — пятый сорт и этого не изменить

никогда? Если так, то добро пожаловать в Германию глазами русского эмигранта. После стихийного бедствия прощальных визитов одного за другим, с надрывом, после всех родственников, когда каждый надеется, что снова увидите очень скоро, в душе поселяется сомнение. Никакой горечи расставания и тоски. Просто вдруг понимаешь, что только что поставил крест на своей жизни. Если грубо променял свою неприметную, тихую историю на такую же неприметную и тихую, но при этом не твою собственную, а выпрошенную займы. Если не оценил свои силы и не сможешь, стиснув зубы, помнить, что ты — это ты, а не сломленный жизнью сорокалетний старик или двадцатилетняя вдова в рабочей спецовке, что начинает подметать улицы в шесть утра. И так человек погрывает себя заживо, рассудив, отчасти очень здраво, что шансов больше нет. И нужно просто дотерпеть. Пока.

Таких, поставивших на себе крест, я видела тысячи. Иногда эта перемена происходила за какую-то минуту. Они входили в кабинет регистратора людьми, а выходили обломками. И каждый, кто проходил, спотыкаясь о новую жизнь, мимо меня, бросал камень в мой огород: я начинала их любить — каждого, по-русски, за страдание. И ненавидеть всех, кто надевал им эти застывшие маски.

Если задуматься, можно было с самого начала это понять. Что через пару лет обреченно осознаешь, как невелик выбор возможных стратегий выживания: равнодушие, полная трансформация или вечная злость. И что среди них — еще меньше тех, кто сохраняет самоуважение. А его так легко потерять здесь, в эмиграции.

Считается, что детям или подросткам все дается проще, ведь на их табулах раса еще много белого, и можно писать новую историю без того, чтобы теснить прошлое. Но со своей дружбой народов в голове я оказалась не готовой к тому, что отныне национальность и происхождение определяют и будут определять, кто я такая. Сегодня, если вы спросите меня, кто я, мой ответ отлетит от зубов: я — поздняя переселенка. Если вам этого мало, я назову свой параграф (седьмой, конечно же, несравнимо ниже четвертого в социальной иерархии, но хорошо хоть не восьмой) и подкреплю процесс самоидентификации синенькой книжечкой, свидетельством из Фридланда. Вы спросите, чем я занимаюсь, и я скажу, что сижу на социале, крашу тротуары и надеюсь снова начать учиться. И еще я буду знать, что я — русская, что может быть хорошо или плохо, а иногда не играет никакой роли — но категория национальности будет отныне доминировать в твоей жизни, как и у всех вокруг, сортируя людей по полочкам и задавая вашей судьбе тон.

Другое дело — родители. Для них все начинается с того, что они перестают понимать, кто они такие: ведь всю жизнь прожили в СССР с надписью «немец» в графе «национальность». И пусть они не очень-то отличались от всех вокруг, ведь плавильный котел тогда и там работал на славу, но фамилия, воспоминания о том, как бабушка, да даже еще родители, немножко разговаривали в семейном кругу на немецком (а бабушка до сих пор, если дойдет дело до партии в карты, вдруг перестает говорить по-русски и громит кенигом бубе, а таус бьет цейн), и вдобавок некоторые знания, пусть местами неточные и отрывочные, о том, как немцы вообще очутились по эту сторону Урала — все это делало немцев СССР немцами. Указ Екатерины Великой. Переселенцы. Автономная республика немцев Поволжья. Сталин. Репрессии. Депортация. Отправка в теплушках. Зима

в степи. Трудармия. Спецпоселения. Мирная счастливая жизнь. Перестройка. Девяносто первый.

И последний пункт в этом списке — репатриация — внезапно превратил их всех в беспорядочную толпу русских эмигрантов в Германии, в лучшем случае — фольксдойчев или казахдойчев.

Я помню, как все начиналось. Железный забор и белая табличка «Grenzdurchgangslager», лагерь для беженцев и переселенцев; поселение как будто мертвое — ряды пронумерованных белых домов, и ни души на улице. Длинные коридоры ледяных бараков, таблички с запретами со всех сторон и клетушки комнат, набитые двухэтажными кроватями, — там-то и обнаруживаются группы людей, знакомящихся друг с другом.

Ночи, когда не можешь заснуть то ли от плача соседей, то ли от собственных мыслей и сомнений в том, нужно ли было вообще сюда приезжать. Десятки женщин, похожих на увядшие цветы, и глаза людей, стекленеющие по мере того, как они проводят здесь дни и месяцы. В шесть утра нас будит громкоговоритель, называя фамилии и распределяя семьи по приемным. Под черным еще небом из всех бараков тоненькими струйками в столовую текут насупленные и печальные люди. А нас как новоприбывших к шести-тридцати направляют на рентген.

Концентрационные лагеря, фильтрационные лагеря, инновационные лагеря, интеграционные лагеря. Как же мы дошли до этого? Поначалу, чтобы веселить маму, я называла его концлагерем; но и меня ненадолго хватило.

Раньше каждый переселенец, приехав в Германию, проходил первую регистрацию здесь, во Фридланде, затем будущих, как мы, баварцев, отправляли в лагерь в Нюрнберге, и еще через несколько дней — окончательное распределение в отныне твой город или деревню.

Потом местные лагеря упразднили, и все учреждения по приему переселенцев переехали во Фридланд, чтобы этот лагерь *абсорбировал*, как гигантский паук, всех новоприезжих и выпускал граждан Германии. Еще позже Бавария и Нижняя Саксония спонсировали полугодовые языковые курсы во Фридланде: вероятно, их озадачила и взволновала волна переселенцев, хлынувших в Германию в девяностые; далеко не все из них, что и говорить, представлялись подходящими попутчиками на жизненном пути.

Так и появилась эта полугодовая тюрьма. За 6 месяцев пребывания здесь каждый, как ни сопротивляйся, научится говорить с продавцом в магазине и консультантом в офисе социального страхования; и что немаловажно, наряду с этим незаметно для себя «интегрируется» — это во Фридланде любимое слово, — переживет культурный шок, поборет ностальгию и адаптируется к реалиям современной высокообеспеченной и социально защищенной страны. А что, хорошо ведь в теории, и очень заботливо. Жаль только, что у многих срабатывает эффект обратной петли: по мере интеграции воспоминания о собственном прошлом искажаются и сопровождаются отречением от прежней жизни. И однажды слышишь от бывшего соседа, что — ладно бы только он — и ты сам жил в аду — простите, боролся за выживание в бандитской, варварской стране. Нет, не припомню.

Не знаю, как здесь было раньше, но шутить я продолжала недолго. Неделя-другая, когда я часами сидела на кровати, перечитывая, ввиду отсутствия каких бы то ни было альтернативных занятий, одну и ту же книгу, привезенную с собой — и мои мысли потекли медленнее, желание вернуться к бурной энергии

прошлой жизни стихло, а шутить было не над чем. В лагере не было ни библиотеки, ни интернета, никакого доступа к внешнему миру. День за днем мой информационный поток ограничивался текстами в учебниках немецкого, хождением кругами по территории лагеря и практикой молчаливого созерцания, которая, ввиду отсутствия духовной составляющей, не приносила мне ничего, кроме ощущения, что голова моя все больше и больше начинает походить на застоявшееся болото.

Не знаю, за что я держалась, наверное, за поглотивший меня страх, что день ото дня я таю, исчезаю и превращаюсь в другого человека. От несшихся со всех сторон запретов (преследовавших меня даже ночью, поскольку правила поведения лагеря, напоминавшие, что Фридланд — не гостиница и мы — не в гостях, светились в темноте, и моя кровать стояла как раз под ними) во мне поселилось чувство страха и постоянное ощущение, что каждый мой шаг и поступок — это ошибка, за которую могут наказать. И выходя из лагеря через 6 месяцев бесконечно долгих, бесцельных дней превращения в существо низшего уровня, я твердо понимала, что я еще и непойманный преступник, живущий взаимы в ожидании суда.

И все же, выйдя на свободу, я почувствовала, что несмотря на все омертвление, отупление и смирение, что-то во мне выжило. Что-то внутри все это время сопротивлялось, не уступая последнего рубежа — и наверное это была победа. Наверное, это был тот самый мой плохой характер. Он заменил нежность шелкового платья из хрупких шестнадцати лет, легкого и светлого, которого мне уже никогда не надеть — потому что его больше нет. Но оказалось, я словно наращиваю другую кожу, чтобы унижение не прилипало к своей, и переплавляю весь этот страх, неуверенность и безнадежность вокруг в злость — яростную, опасную, но, самое главное, не дающую застыть.

Что это было за время, что за дни, которые резали глубже и глубже нашу любовь, привязанность, уважение. Двадцать первого марта следующего года, когда наконец все мои документы были оформлены и возвращение в школу стало реальностью, мама устроила праздничный обед; в два часа дня мы сели за стол — мама, папа, я. Идеальная семья однажды, но, возможно, больше никогда. Папа скребет ножом по тарелке, измельчая в клочья веточку цветной капусты. Мама переключает каналы и доходит до MTV. Комнату наполняют звуки попсового подросткового рока, и этот саундтрек нам сейчас совсем не подходит. Мама не успевает еще снова нажать на стрелочку, как папа сразу вскидывается:

— Слушай, убери их, а? Что за манера слушать на полную громкость, уши лопнут сейчас.

Мама начинает лихорадочно, не глядя, давить на все кнопки подряд.

— Извини, я не специально, — говорит она, беспорядочно переключая и вызывая на экран цветные меню, значки яркости и контраста и перечень спутниковых каналов.

— Ты же знаешь, я терпеть не могу, особенно за едой, — продолжает папа, но она перебивает:

— Говорю же, не специально. Все переключила, и вообще... Все, все. Вообще выключаю, — извиняющимся тоном добавляет мама, и экран гаснет.

Отец тоже идет на попятную.

— Ладно, хватит, не об этом речь. У нас тут праздничный обед. Давайте про

это. А не про другое вообще. — И улыбается мне: — Поздравляю, дочка! Пусть у тебя получится то, что не получилось у нас!

И, конечно, эти слова — как пушечный выстрел, как сигнал к действию; актеры остаются на своих местах, меняясь ролями — и снова этот бесконечный глухой разговор, где один то и дело перехватывает у другого реплику, жест, взгляд, повышенный голос, взгляд, кидая слова, как мячи.

— Паша! — кричит мама, резко поднимаясь из-за стола. — Неужели обязательно каждый раз...

И я присоединяюсь к действию, выбегая на середину сцены, обращаюсь сначала к ней:

— Все в порядке, мама, — успокаиваю я, — это же хороший тост, чтобы у меня все получилось.

А папа швыряет нож в тарелку, попадая прямо в грудку осколков цветной капусты, и маленькие соцветия разлетаются по комнате; он встает, нависая над мамой, и выдыхает ей в лоб:

— Еще раз ты прицепишься к моим словам...

Не договорив, он выходит из комнаты и хлопает дверью в спальню. Даже не глядя на маму, я знаю, что глаза у нее уже красные, что она сгорбилась, что сейчас она осядет, опустится на стул, и ее плечи начнут дрожать, трястись мелко-мелко. А папа, захлопнув дверь, ложится на кровать, берет с тумбочки книгу и начинает пробегать глазами страницу за страницей, даже не пытаясь притвориться, что он читает. Иногда, когда мне кажется, что неправ был отец, я сажусь рядом с мамой, обнимаю ее за плечи и начинаю говорить, что папа не виноват, что просто ему тяжело... А порой, если мама перегнула палку, то иду к отцу и говорю о том, что ведь ничего уже не изменить и надо как-то жить дальше.

В первый раз я плакала вместе с мамой, в десятый — кричала вместе с отцом, в сотый — пыталась их помирить. Но к тысячному, месяц за месяцем, все немного наладилось, и стало легче. Вопрос «зачем» был списан в небытие, у меня началась школа, родители стали работать. Да, может быть нам не стоило уезжать. Но шаг был сделан, и мы стали строить планы, и постепенно снова почувствовали, что живем. Страх отступил, но не исчез; и по мере того как я выросла, чувство неприкаянности все росло. Я твердо усвоила, что все, абсолютно все может измениться в любой момент и опереться будет не на что. Изменится семья, изменишься ты, изменится все вокруг, и даже прошлое станет казаться другим. А Германия останется такой, как была, и даже изменившись, мы не стали и никогда не станем здесь своими.

Я твердо решила, что оставаться здесь непрошеным родственником я не хочу. Лучше уж тогда быть гостем — здесь, везде, где захочешь — принимать все решения самому и не оставлять их на растерзание непонятной жизненной логики. А свой мир человек может выстроить внутри себя, а не снаружи.

Так у меня не стало родины и дома. Когда я смотрела на себя в зеркало, мне казалось, что все это было заметно: уязвимость, готовность в любой момент броситься на свою защиту, упрямство, прорисованное в жестких линиях, очерчивающих подбородок и скулы — взрывоопасная конструкция, источающая просьбу о помощи. Но до Карлоу этого никто не замечал.

Германия вторгалась в личное пространство, и хотела я того или нет, *процесс трансформации моих отношений с окружающим миром был запущен*. Одним из самых полезных и ценных этапов для меня оказалось пристальное наблюдение

за своими немецкими сверстниками и их жизнью, разительно не похожей на ту, что была в ходу в Караганде. Сопоставление двух разных образов жизни шестнадцатилетнего подростка привело меня к простому выводу: если у чего-то есть два варианта, то может быть и больше. И понемногу у меня сформировалось, как я его вначале называла, «двойное», а потом «альтернативное» — видение. Сталкиваясь с любым новым явлением или предметом, я как бы раздваивалась и оценивала глазами себя прежней и себя сейчас; и это мыслительное упражнение можно было продолжать и продолжать, что я и делала, понемногу встраивая в свои мозги убеждение в том, что не существует ничего постоянного и однозначного и какой ни возьми вопрос, никогда не найти единственного ответа на него. Пытаясь совместить все возможные придумываемые мною альтернативные видения, я впитывала одновременно и все то, что естественно из них прорастает: знаменитую европейскую толерантность, которая по ту сторону Урала, без понимания того, как она функционирует, представлялась непонятным, лицемерным феноменом; с другой — равнодушную расслабленность, переходящую в отсутствие сердечности, о которой мы тоже много говорили, не понимая ее корней. Беспечно чирикающая с продавцами в магазинах, улыбаясь от души кассиру или помогая соседу вынести из подвала тяжелую коробку, я искренне испытывала симпатию к этим людям и точно так же искренне ее забывала; по сути, они ничего не значили для меня, а я — для них, и мы лишь скрашивали друг другу несколько минут жизни. С другой стороны, сталкиваясь теперь с чем-то неприятным или непонятным, я спокойно пропускала эпизод мимо и не спешила мысленно осуждать тех, кто был его причиной, — ведь это тоже было не близко к моей коже для того, чтобы реагировать.

Многие перемены были связаны с таким пересматриванием своего образа жизни, но, как я назвала это для себя, не только в макро-, но и в микроперспективе. Знакомясь с типичными в среде немецких подростков занятиями и хобби, я догадалась, что я могу и должна сама определять свои увлечения, подстраивая жизнь под себя, а не складывать свой образ жизни, исходя из того, что доступно в моем окружении, — как я, не задумываясь, делала раньше.

Период повторной учебы в немецкой гимназии был временем, когда я не только учила немецкий и перестраивалась на новую образовательную систему, новые взгляды на образование, новое отношение к учебе, но и начинала, впервые в своей жизни, принимать решения и выбирать из многообразия всего, что жизнь могла предложить, только то, чего я действительно хотела. Упрямство помогало мне этого добиваться; мне понравилось ставить перед собой цели и достигать их и понравилось осознавать, что жизнь — не обязательно поток, уносящий тебя в произвольном направлении. Принимать решения, пусть иногда совсем рядовые, и смотреть, как одно за другим они складываются в заданный тобой вектор, оказалось воодушевляющим занятием. И, важнее всего, оно помогало забывать о том, что внешний мир — угрожающий хаос, который, жонглируя обстоятельствами, затягивает тебя в свою воронку.

Посреди страхов и размышлений, частого одиночества, сократившихся в численности и интенсивности, но не исчезнувших до конца трудностей перехода в новую жизнь, хотя теперь точнее было бы сказать — трудностей совмещения двух жизней, и в сознательном укреплении своей «второй кожи», защищавшей меня от хаоса и распада — одновременно и незаметно, и очень резко — я сильно

переменилась. Та, что в шелковом платье, теперь казалась совсем смутной, размытой копией нынешнего оригинала; и единственное, что их объединяло, — это мечта влюбиться и надежда на то, что однажды просто встретишься с кем-то взглядом и вдруг поймешь: что-то случилось *невидимое* — реальный, видимый мир продолжает движение, вокруг водоворот людей и шум дорог и машин, и все как обычно; только вы двое ощутили, как воздух между вами задрожал. Возможно, вы даже знакомы, и в эту секунду вы даже разговариваете друг с другом, и откуда-то издалека до вас доносится шум собственных голосов, но все, что понимаете вы, — это то, что вы смотрите друг на друга, не отводя глаз, и все вокруг теряет резкость и расплывается — кроме вас двоих, и все, чего вы оба хотите, — это чтобы так было всегда.

Конечно, в то, что такое возможно, не веришь — но продолжаешь ждать. А те незначительные пару раз, когда что-то заставляло обернуться и пристально рассматривать кого-то, чтобы запомнить и однажды завести разговор, однажды встретиться, однажды начать встречаться — все это скучные истории. И хотя я соглашалась признавать их за отношения и считать себя частью целого, всерьез я их не воспринимала — и когда отношения заканчивались, в моей жизни ничего не менялось: то же скучное движение в застывшем бытии и надежда однажды из него проснуться.

Наиболее близким к влюбленности был в моей жизни эпизод, когда я провожала на вокзале мальчика-американца, мы встречались с ним месяца три или около того; а он отслужил положенное в US Army Garrison и возвращался домой, решив перед этим еще заехать в Берлин и Мюнхен — потому что когда еще выберешься в старушку Европу. И было понятно, что между нами особенно ничего нет, и поэтому когда он, не настаивая, предложил вместе провести каникулы, может, еще и в Кельн съездить, я так же легко отказалась, сказав, что увы, не получится — и ни у одного из нас не защемило сердце и не потемнело в глазах. Но в какой-то момент, когда мы уже стояли около поезда, я подняла глаза и вдруг увидела, как солнце играет у него в волосах, придавая глубокий блеск медным прядям; и заметила, именно в эту минуту, что у него такой теплый взгляд, что невозможно перестать смотреть на него, на золотистые искры в глазах, и не чувствовать, как этот взгляд согревает и успокаивает.

А потом объявили, что поезд отправляется, и мы спешно попрощались; я еще постояла на перроне и помахала рукой, когда поезд тронулся, разрывая наши отношения. Грустно мне не было. Но это ощущение, когда ты внезапно забываешь, что происходит, и можешь только с неожиданным чувством счастья смотреть на него, не видя ничего вокруг, — это мое единственное воспоминание, которое обещало, что может быть, однажды...

По окончании гимназии я не стала подавать документы в университет, придерживаясь решения не привязываться к этой стране, а пойти путем цепи эмиграций и перемещений, и — мне казалось — обретения большей свободы. Я устроилась работать в музей современного искусства и в течение года бойко рассказывала нечастым группам посетителей про то, как любой образ расплывается и может вбирать в себя *бесконечное количество интерпретаций*; в течение этого же года сдала экзамен, собрала и разослала свои документы, подала заявки на все гранты и стипендии, какие только нашла. А в начале мая, подтвердив в финансовых службах университета, что частичной стипендии от комитета по поддержке карьеры женщин-эмигрантов, а также моих сбережений и вложений

родителей должно хватить на то, чтобы оплатить обучение, я поставила свою подпись на приглашении из Оксфордского университета.

Я надеялась, что на этот раз смогу держать все под контролем и не сорваться снова в хаос. Родители тоже вели подготовку к отъезду: через месяц после меня и они покидали Германию, чтобы вернуться домой, в Казахстан, — и это было хорошо. Несмотря на все положительные перемены и старания последних лет, Германия все равно оставалась чужой, и ощущение «лишних людей» не покидало. И если родители не могли пойти путем постоянного перемещения, как задумала для себя я, они захотели вернуться к корням, которые теперь ценили гораздо сильнее. Я радовалась тому, что они снова обретут дом, а я — хотя бы его образ. Поэтому когда в конце сентября мама с папой провожали меня во Франкфуртском аэропорту на рейс до Лондона, опустив тяжелую минуту прощания, все было нормально, все было в порядке. Просто я знала, что теперь всегда буду одна. И это было окей.

Глава пятая, в которой я объясняю, что Оксфорд — это самое страшное место, где мне довелось побывать за свою жизнь, и здесь же рассказываю о том, что общего между аддеролом и прокрустовым ложем сверхчеловека

«Мечтательные шпили», как называют Оксфорд, — настоящая королева бурлеска. Под добротным шерстяным пальто умеренно-бежевого цвета, которое леди носит днем, никогда не заподозишь обманщицу. Чопорный наряд дамы из хорошего общества — выставленные напоказ фасады колледжей и выровненные по линейке квадратные лужайки, на которые нельзя наступать, а нарушивших правило студентов штрафуют за каждый отдельный шаг, на который они решились; приветливые швейцары; длинные деревянные столы в обеденных залах, стены которых так густо завешены портретами отцов-основателей, что даже начинаешь переживать: есть ли еще место для новых великих ученых, писателей и политиков, которые тут учатся?

Но есть у этого города — так пропахшего нафталином и запахом старых вещей, что после года-полтора, проведенных там, начинает казаться, что живешь то ли в кунсткамере, то ли в музее, тесном и пыльном — и темная сторона, о которой мало кто расскажет. Оксфорд — отъявленный манипулятор. Как и Кембридж, он обладает удивительной властью над своими субъектами: время, проведенное там, обязательно должно быть лучшим в твоей жизни, а говорить иначе могут только сумасшедшие. Но раз уж я выдуманный герой и мне дана полная свобода слова, буду рассказывать все как есть: мертвые музеи опасны тем, что они забирают все, что в тебе есть живого, чтобы и дальше влачить свое время.

За пару месяцев в Оксфорде у каждого студента вырабатывается свой туристический маршрут, который он показывает всем приезжающим гостям. Мой включал сады Модлин, где когда-то гулял Эдисон; кладбище в Тедди Холле; острую башенку Наффилда; перерыв на кофе в церкви Девы Марии; и еще порядка пятнадцати пунктов. Маршрут этот я проделала со всеми своими гостями по меньшей мере одиннадцать раз; но с каждым кругом иммунитет к Оксфорду, со всеми его видами, растет, и восхищение проходит. К красоте

привыкаешь быстро, сильно пресыщаешься, и начинает казаться, что эти средневековые фасады давят и сжимаются в удушливое кольцо на твоей шее. И вот тогда уже в своей студенческой жизни начинаешь предпринимать все усилия, чтобы избегать туристов, популярных маршрутов и особенно дней, когда в Шелдонском театре на Брод-стрит проходит церемония присвоения степеней и сотни одетых в мантии разных цветов отныне докторов наук вместе со своими семьями празднуют одно из главных, если не главное, событие своей жизни. А ты, если в это время спешишь на занятия, стараешься маневрировать между нарядно одетыми людьми и находить кратчайшие пути сквозь толпу прохожих, которые остановились посмотреть на торжественный выход докторов наук.

В то утро я спешила к Федору Михайловичу, профессору славистики, у которого я брала курс по русской литературе девятнадцатого века. На самом деле, конечно, звали моего профессора иначе, но есть у Оксфорда такая особенность — ввиду самой атмосферы этого города, его намоленных студентами статуй великих, к которым тянется день за днем шеренга пришедших на поклон почитателей, сам город располагает к мистификациям, поиску двойников и случайному попаданию в необычные ситуации. А необычные ситуации всегда связаны с трансгрессией, то есть переходом, олицетворяемым дверями. А вы никогда не задумывались, почему в книгах все магические сюжеты, которые разворачиваются в Оксфорде или в местах, которые его подразумевают, обязательно завязываются вокруг какой-нибудь двери?

Федор Михайлович в те осенние дни пребывал в плохом настроении, жалуюсь на осень; на Горького, который ничего не понимает в «Братьях Карамазовых»; на Лужкова, который подписал проект станции метро, а у него не спросил; на Качанова, чей «Даунхаус» возненавидел так люто, что впервые посмотрев фильм, прилюдно растоптал кассету и заставил Анну Григорьевну выложить «месьядостоевского» в интернет, сопроводив открытым письмом режиссеру.

То ли это все удручало его, то ли моя формулировка и воплощение рабочей этики еще не достигли нужных высот, но читая мои эссе, он все хмурился и рисовал топоры на полях распечаток. Неделя, вторая, третья, второй семестр, четвертая, пятая, шестая — я все переписывала и переписывала эссе, отшлифовывая их, как морская вода, до гладкости и неуловимого шума сверхидеи в каждой строке. Перед каждым tutorial я сидела на скамейке в Веллингтон-сквере и въедливо читала себе строчку за строчкой. Фирменный оксфордский tutorial заключался в том, что я стучалась в дверь к профессору — в тот год я занималась с тремя преподавателями, Федором Михайловичем, профессором Вульф, которая предпочитала просто «Вирджиния», и сумасшедшим молодым лектором по фамилии Паланик — и, дождавшись сдавленного «Войдите», заходила в их одинаково пыльные кабинеты; найти тропинку между разбросанными по всей комнате книгами удавалось редко, и я осторожно пробиралась к профессору, сидевшему за письменным столом, перепрыгивая с одного свободного островка пола на другой.

Во время чтения эссе я сидела на выцветшем синем диване (у Вульф), потертom коричневом кресле из дубленой кожи (у Паланика) или на полу — у Достоевского. Вирджиния всегда постукивала карандашом по столу, пока читала, а Паланик сжимал и разжимал кулаки (говорят, что тот самый клуб

существовал на самом деле, и Паланик все время летал туда тренироваться в перерывах между учебными семестрами).

Tutorials были основным пунктом нашей образовательной программы, и только из-за них тысячи студентов каждый день, дисциплинируя сами себя, проводили часы и часы в библиотеке, читая, доказывая что-то себе самому, периодически засыпая и просыпаясь за письменным столом. Дать восемнадцатилетнему или двадцатилетнему полную свободу, осознание того, что единственная твоя оценка — это та, которую ты получишь на выпускных экзаменах через четыре года, и обеспечить систему отбора, при которой в университет попадут только самые амбициозные и мотивированные, самые упрямые и бескомпромиссные — и никакой другой школы жизни не нужно. То, что все зависит только от тебя и ты должен стать следующим, чьи слова продолжают все эти гранд-нарративы; то, что ты в этом мире один на один со всеми, кого ты читаешь покрасневшими от постоянного недосыпания глазами; то, что ты в этом мире один, и только один, и даже если у тебя есть семья, друзья и подруга или друг — это не значит ничего, потому что это все равно реальное, физическое, и это другое, а на уровне идей ты борешься с Вселенной визави, и надеяться или опереться не на кого — вот базовые знания, которые усваиваются оксонцами в первые два месяца занятий.

Лекций у нас практически не бывало, и библиотека с туториалами составляли половину нашего обучения, вторую половину составлял шум. Шум, который все время окружал и укутывал тебя в Оксфорде, подспудно прокрадываясь в твои мысли и становясь постоянным фоном. Шум, который сопровождал речь ректора на приемах, казался одним из многих подтонов в наставлениях профессора во время занятия, а может, просто звучал в твоей голове все время, с тех пор как ты приехал в Оксфорд, и поэтому казалось, что он везде. Этот шум говорил одно: вы должны быть лучшими, самыми лучшими, вы должны быть самыми лучшими или посредственностью, талантливой, похожей на всех посредственностью, иначе вам здесь не место. Шум напоминал дьявола, который поселился у тебя на плече — и возможно это так и было — иначе как объяснить эту трансформацию людей, которые приходили сюда такими, какие были, а выходили уже совсем не теми; уверенность в своей исключительности, поедавшую самых молодых и дававшую сбой на тех, кто постарше? И ведь отчасти срабатывало, иначе как объяснить, что при том, что приходят сюда как в точку предела мечтаний, исполнившихся прямо на Земле, в рай для британских мальчиков и девочек, так быстро вскрывается разочарование и понимание, что это совсем не то, что ты думал. Что в то время как университет хочет быть прогрессивным и современным, мчась стрелой в будущее, что обеспечат его студенты, на самом деле эта махина настолько далеко отстает от картинки, к которой стремится, что разрыв между ними становится непреодолимым, увеличиваясь с каждой секундой, и студенты закрывают эту брешь своими телами, жертвуя спокойствием и рассудком и позволяя использовать себя и делать себя оружием.

А когда у тебя уже не остается ни сил, ни выдержки, ни рассудка, понимаешь, что ловушка захлопнулась, и всем все равно, что у тебя внутри, что ты вложил в эту жизнь, какие жертвы ты оставляешь каждый день у подножия знаний и честолубия, чужого и своего. Так этот город лепит из тебя сверхчеловека, потому что его навязчивый гул и шепот продолжает твердить тебе, что ты

сдашься и не выдержишь, а ты пытаешься выстоять любой ценой, и это сводит с ума.

И все это доводит до того, что вот она я, честная, всегда осторожная и всегда правильная — до двадцати лет ни одной сигареты, ни одного бокала вина, кристально прозрачна в рядах своего стерильно-чистого поколения, — в одну из ночей на третьем году своей программы бакалавриата я сижу в библиотеке перед своим компьютером и под бой часов, извещающих, что сейчас два, прямо из бутылки пью виски — методично, старательно, прилежно — и в надежде, что уж это-то мне поможет преодолеть блокировку мысли, что очень скоро, как только алкоголь ударит мне в голову, я наконец-то выдам свою магна-карту.

Достоевский все время придирался к формату, к запятым, к правилам и установкам; а через какое-то время я вдруг поняла, что если отбросить тот период, когда я еще ничего не умела, *количество критицизмов росло пропорционально количеству интеллектуальной ценности* той или иной работы. Я спросила об этом, и он согласился.

— Я учу вас ремеслу, — с нажимом выдал Достоевский. — Живой ум у вас и так есть, а моя задача — научить вас делать механическую работу — для этого и существует университет.

Одним словом, он ценил не порывы и прорывы, а основательность и проработанность — пусть даже на мелководье. Или же, подсказывала сразу амбициозная сторона, — пусть будет прорыв, но только такой, что ничего общего не имеет со студенчеством; сколько можно тут прозябать, давай уже работай на уровень единиц, работай так, чтобы никто не мог придраться, чтобы комар носа не подточил. Садись — и пиши «Преступление и наказание» прямо здесь и сейчас, и нечего размениваться на что угодно мельче.

Я презирала себя за то, что я не могу просто взять и перепрыгнуть эту пропасть, отделяющую один уровень мысли от другого, я хотела больше и выше, я хотела все сразу. И когда Достоевский стал иногда говорить хорошее, я и не улыбнулась ни разу, понимая, о каких мелочах у нас тут идет речь; я уже требовала и считала за минимальную ценность гораздо большее.

Через год такой борьбы у меня запали щеки, губы из вишневых превратились в пудровые, а глаза окружали синие моря так и не увиденных снов. Тогда-то я и перестала есть, разобравшись в том, что нет никакой связи между душой и телом и что не стоит вкладываться в физическое, если тебя интересуют лишь идеи.

А меня интересовали идеи, и теперь я видела, что одухотворенная худоба всегда более возвышенна и чиста, чем пышущее здоровьем тело. Я отказывалась от всех этих конных прогулок, гребли и занятий спортом, поедания сладостей во время вторых десертов на приемах, которые придавали румянец, здоровый вид и мышечную массу. Восковая кожа, фанатичный блеск в глазах, прочерчивающиеся косточки шеи привлекали меня гораздо больше и казались столпами настоящей красоты. Кроме того, на сон и еду стало не хватать ни времени, ни сил, и каждую напрасно потраченную минуту я мечтала проводить за работой. Усталость ведь легче переносить, когда ты бесконечно легок и голоден. Когда ты паришь, сложно вспоминать о том, что для хорошего самочувствия тебе чего-то не хватает. Сложно отказываться от головокружительного ощущения, когда кажется, что стоит открыть книгу и все секреты, построения, тайны и проекции

сами раскладываются у тебя на ладонях, как морские звезды или теплые снежинки, доверчиво идущие к тому, кто знает, как быть.

Когда скулы начинают выпирать, как детали металлоконструктора, приходит ощущение сверхчеловека — а то, что мир вокруг становится немного размытым, только добавляет ему прелести. Но однажды, как оказалось, ты можешь просто подточить сам себя — перерезать себе корни; перестараться и не рассчитать; и больше не суметь сделать ни шагу. Вот что случилось со мной. В один день оказалось, что в моей голове сплошное небытие, бесконечная табула раса; нет, вся основная информация, все примитивное и рутинное там было, и были базовые знания; но не стало того клея из порывов и вдохновения, из способности перевернуть элементы и найти точки их совпадения, способности видеть родственное даже в несовместимом — всего этого больше не было. И то, что раньше было тихим шумом в моей голове, шумом, прислушавшись к которому, я делала все, что делала, шумом, откуда мне приходили все мои идеи, и нужно было лишь сосредоточиться и настроиться на этот поток... Все исчезло. В голове была абсолютная пустота, и я слышала только то, что произносила вслух.

День за днем я сидела за компьютером и книгами, периодически впечатывая строчку или абзац и, поморщившись, удаляла все. Я всматривалась в книги, пытаюсь понять, как раньше все оживало во мне, когда я пролистывала эти истории; я разглядывала белую пустоту экрана, надеясь, что увижу там то, что побуждало меня насторожиться, ухватиться за мысль и заполнять пустоту, борясь с небытием.

Страшнее я ничего для себя не могла представить. Наверное, в шестнадцать та, что крутила пластинки, только посмеялась бы надо мной; наверное, в Германии, задумчивая и спокойная, пожала бы плечами. Но эта, новая, таких вещей не признавала и как и раньше, упрямо знала лучше всех, что ей нужно. Мне нужен был мой шум в голове, мне нужно было во что бы то ни стало вернуть все обратно.

Когда я сидела в библиотеке, наблюдая за тем, как другие студенты подставляют лица нежным лучам весеннего солнца, пробивающимся сквозь витражное окно, и улыбаются, мне хотелось взорваться, закричать и заставить их объяснить, зачем они это делают. Плевать на солнце, мне непонятно было, как можно сидеть здесь и улыбаться от того, что температура кожи поднялась на полградуса. Все это сопровождал частый, мелкий стук, который раздражал меня еще больше, и я не могла понять, откуда он исходит. И только во второй половине дня, посмотрев на свои руки, увидела: это мои пальцы дрожат так, что кольца на них бьются о поверхность стола, издавая это мелкое, неприятное постукивание.

Через две недели таких мучений мне в голову пришло решение проблемы, такое простое и ясное, что весь день было прекрасное настроение: казалось, что все уже разрешилось и все наладилось. Днем я как представитель библиотечного комитета ходила между столами и показывала жестами, что «это надо немедленно убрать», если видела у кого-нибудь воду в негерметичном контейнере, кофе или что-нибудь посерьезнее. А к двум часам ночи я, выбрав в Теско матовую черную бутылку с виски восемнадцатилетней выдержки, устроилась за своим обычным столом, предвкушая ночь работы. После первого глотка, с грохотом опрокинув подставку для книг, я рванулась к сумке за бутылкой воды. Никто

не предупредил меня, что на вкус будет как аптекарская настойка, приторно и горько.

— Все в порядке? — высунулась из-за стеллажа голова первокурсника, проявившего *осознанное сопереживание моей ситуации*. — Тут что-то упало.

— Да-да, все нормально, — судорожно ответила я, прикрывая бутылку курткой, — заснула прямо за столом и опрокинула подставку.

— Бывает, — поморщился парень. — Я сам тут четвертый день сижу. — Он закатил глаза и снова спрятался за стеллаж.

Пришлось снова идти в Теско, на этот раз за содовой. Перемежая виски то с колой, то с ванильной крем-содой, приглушающими приторный алкогольный вкус, я осилила около половины бутылки. Может, этого будет достаточно? На большее не хватало сил. Прошло двадцать, тридцать минут. Сострадательный сосед, кажется, начал делать за своим стеллажом зарядку. Я восхитилась его силой воли. Передо мной мерцал экран компьютера с белоснежным, пустым ворд-документом, и водопад мыслей вот-вот должен был хлынуть мне в голову. Ожидая, когда я, как безумная, начну записывать текст из своей головы, я размяла пальцы, как в начальной школе, и поводила над клавиатурой.

Но дело не шло. Я погуглила и поняла, что виновата сама, дав слабину. Нельзя было разбавлять виски колой, смешивание напитков приводит к *ослаблению эффекта, достигаемого поступлением в кровь алкоголесодержащих напитков*.

— За маму, за папу и за диссертацию, — суеверно сказала я, продолжая разглядывать свой белоснежный ворд-документ и зажмурившись, выпила вторую половину бутылки. Если бы мама или папа, а уж особенно тетя Эльвира увидели меня сейчас, они бы не нашли что сказать.

И я тоже не находила. Даже неразбавленное виски не работало. За час на экране появилось четыре строчки и исчезло три. В отчаянии запустив бутылкой в мусорную корзину, я резво зашагала домой, лихорадочно перебирая — или придумывая — новые способы сдвинуться с мертвой точки. Так ничего и не решив, я легла спать, а на следующее утро, когда переступила порог кабинета Лиз для собрания библиотечного комитета, на столе стоял мой Гленфиддич. Матовая черная бутылка, 18 у.о. Я поняла, что вместе с ненаписанной диссертацией мне предстоит еще больший позор. Но на собрании разговор шел о грядущих экзаменах, о поступлениях книг и о переходе на новую систему каталогизации. Библиотекарь Лиз ничего не сказала про бутылку и только в конце, бросив на нее взгляд, выдержала короткую паузу. И сказала:

— Кажется, у нас все. У кого-нибудь есть комментарии? Тогда спасибо всем, кто пришел. Спасибо, что добровольно помогаете поддерживать в библиотеке порядок, днем и ночью. Многие первокурсники, похоже, еще не совсем освоились с правилами дисциплины. Поэтому я на вас очень рассчитываю.

Я задержалась, и когда все вышли, спросила Лиз:

— Ничего, если я закрою дверь? Я хотела бы... хотела бы кое-что сказать тебе.

— Конечно, — ответила она невозмутимо. — Нажми посильнее, она плохо поддается. Сегодня минут десять мучилась с утра.

Плотно прикрыв дверь, я подошла к столу Лиз и, не давая себе ни секунды на малодушие, сказала — как могла, с достоинством:

— Лиз, это не первокурсники, это... была моя бутылка.

Она спокойно посмотрела на меня.

— У меня... writer's block. И я пытаюсь с ним бороться. Таким способом в том числе, — указала я на бутылку. — Но не стоило это делать здесь, извини.

Несколько секунд она продолжала меня разглядывать с тем же спокойным, невозмутимым выражением лица, а потом рассмеялась:

— Да господи, не переживай ты так! Не ты первая, не ты последняя.

Она взяла со стола бутылку и бросила ее прямо через всю комнату — в контейнер для переработки мусора, который стоял около двери.

— Золотце мое, сотни выдающихся умов пили здесь виски последние несколько сотен лет. Я тебя умоляю. Лишь бы только не первокурсники — они не умеют пить, и потом начинаются проблемы. Но в следующий раз, — она чуть наклонила голову, — бутылки выбрасывай около профессорских кабинетов. Во всем должен быть порядок.

— Ой! Да. Спасибо, Лиз, — я как-то не нашлась, как сформулировать свои мысли, — это немного неожиданно. Но я в любом случае больше не собираюсь. Это была... проба пера. Ошибка.

Лиз уже не смотрела на меня, а пролистывала настольный ежедневник, напевая себе что-то под нос. Когда я открыла дверь, чтобы уйти, она бросила мне, не отрывая глаз от плана дел на сегодняшний день:

— Некоторым такие ошибки приносили Нобелевские премии.

Мне бы хотелось с кем-нибудь поделиться своим удивлением, но я сочла за лучшее вообще не упоминать этой истории. Бутылку, впрочем, заметила не одна я, и она стала в тот день предметом многочисленных спекуляций и возмущений среди студентов. И даже на ежегодном приеме у вице-ректора в тот вечер я услышала анекдот про студента-юриста, запивающего виски административные нарушения по мере зубрежки. Нет, это, на мой взгляд, было уже слишком.

На следующей неделе я — в своей комнате — провела пробные сеансы со всеми вариантами спиртных напитков, которые могла достать в Оксфорде, и окончательно убедилась в своей исключительно высокой сопротивляемости алкоголю. В ход шли разные сорта, комбинации и очередность. Я знала, что стоит мне лишь разблокировать мозг и дать себе дышать и думать на полную, как я смогу сделать то, что хотела. Это должна была быть исключительная диссертация. Я была в этом уверена. Но предварительные итоги стали окончательными: алкоголь не действовал на меня.

С надеждами было бы покончено, если бы не мой приятель Оскар из колледжа Крайст-Черч. В ближайшую пятницу я собиралась выиграть у него с небольшим перевесом партию в теннис — потому что я всегда выигрывала. По уровню игры мы были примерно одинаковы, а у сетки он и вовсе играл заметно лучше, но у меня всегда оказывалось капельку больше чего-то, что не связано с теннисом — скорости, выдержки или терпения, — и раз за разом я выигрывала с минимальным преимуществом.

Но в алкогольную пятницу я проигрывала. Полсекунды там, полсекунды здесь — он успевал чуть быстрее, бил чуть сильнее и подавал, как Серена Уильямс, а я все время не успевала, как будто нас поменяли местами. Я решила, что все-таки это — алкоголь; нет, надо же — никаких полезных эффектов, а вместо этого — плохой теннис! К последнему гейму я настолько растерялась, что уступила всухую.

— Аут! И гейм, сет, матч! — крикнула девочка-судья. Мы подошли к сетке, пожали друг другу руку, поздравляя, как принято, с победой, и я, так и не

отпустив, разрыдалась, осознав, что впервые в жизни проиграла Оскару партию в теннис. Оскару! Оскару, который ленился догонять подачу и не мог взять смэш. Как это произошло? Я не могла написать диссертацию, больше не играла в теннис, больше не перевыполняла стандарты — что, теперь мне не место в Оксфорде?

— Ты же не умел так подавать, я же помню, ты же всегда осторожничал на второй! — объясняла я Оскару, пока он вел меня на скамейку. А потом стала рассказывать о том, что происходит в последние месяцы, о том, что я ничего не могу делать, и о том, что мне начинает казаться, что я схожу с ума, о том, что мысли летят быстрее времени, и я просто не успеваю.

Позже Оскар признавался, что внезапная женская слабость полностью сразила его. Но тогда я, конечно, этого не заметила. Просто увидела, как он отпускает мою руку, отворачивается, достает из спортивной сумки маленькую оранжевую склянку и вынимает синюю таблетку.

— Вот, — он улыбнулся, высунул язык и на кончике пальца поднес таблетку.

Из коридора слышались голоса следующей пары игроков, я на секунду отвлеклась, а когда обернулась — ничего уже не было. Оскар застегивал молнию на сумке.

— Что это было? — спросила я.

— Это был аддерол, детка.

Так я впервые услышала это слово.

Ходили слухи, что Глеб мог достать все, что угодно, и «железно, просто железно» хранил вашу тайну — поэтому вытряхнуть его номер телефона даже у такого близкого приятеля, как Оскар, было нелегкой задачей: все, кого он снабжал, боялись потери Глеба меньше разве что исключения из Оксфорда. Глеб перенаправлял финансовые и интеллектуальные потоки в Оксфорде в нужные русла: договаривался со школьниками и другими студентами, которые покупали аддерол на свое имя, имитируя АДД, и перепродавали Глебу — и направлял столь необходимые запасы тем, кто выжмет из них все, стремясь к совершенству и вершинам мира.

Но спустя несколько вечеров Оскар сдался, и через две минуты я уже набирала телефон парня, который торгует всем подряд. От Оскара же я знала все нужные слова и приблизительные цены, так что мы быстро договорились, и уже в понедельник встретились в Старбаксе, чтобы обменять деньги на таблетки. У Глеба всегда были грязные волосы и мутноватый взгляд — потом я встречала в своей жизни еще много дилеров, и каждый раз меня удивляли их кричаще затуманенные глаза. Но самое главное, я получила баночку с таблетками, которые преобразили мою жизнь.

На почве совместно пережитого мы с Оскаром даже стали встречаться и пробыли вместе два месяца, после чего решили вернуться к простой игре в теннис. А я не только вернулась в строй на прежние позиции, но и стала агрессивно прогрессировать, сделала рывок, раз за разом принося своим профессорам очередные распечатки и унося все меньше и меньше помарок на полях. В конце семестра в онлайн-транскрипте меня ждали идеальные оценки, а после каникул мы с Достоевским уже спорили, и временами его аргументация казалась мне недостаточно убедительной.

Одновременно мне открывался совсем другой мир, параллельный основной

жизни Оксфорда. Это был мир фанатиков с безумными глазами, которых пугала мысль остановиться хоть на секунду и которые точно знали, что добьются всего, чего захотят. Поверить невозможно, что все это всегда было рядом со мной, а я не замечала ни странностей, ни особенностей, ни глаз этих людей; отныне я буду с полувзгляда определять тех, кто состоит в этой подпольной организации — где бы и когда мы ни были, распознавать такое не разучишься никогда. С некоторыми такими же, как я, у меня завязалась дружба, которую я поддерживаю до сих пор, посылая и получая время от времени письма: воспоминания вроде того совместного периода в Оксфорде сложно забыть или сгладить, тем более, что они до сих пор настолько глубоки и резки, будто мы смотрим на фотографию, а не на перемешавшиеся в памяти воспоминания.

Отныне, как мне казалось, каждый день в Оксфорде продолжается схватка не на жизнь, а на смерть, как будто мы должны были выстоять на ринге до конца и без правил. Как заведенные, мы атаковали свои дисциплины, вгрызались в исключения, рвали в клочья непонятные темы и, забрызганные кровью непроверенных гипотез, выходили из библиотек, лекториев и кабинетов профессоров победителями. Мы боролись и боремся со старым миром, паразитирующим на старых репутациях и возможности печатать все подряд; с теми, кто заботится лишь о том, чтобы закрепить за собой статус и место, будь то депутатская неприкосновенность или профессорское кресло. Кстати, о них — разочаровавшиеся в осознании того, что часть из тех, кого мы считали суперновыми, на самом деле лишь звезды-карлики, а добрая половина вообще остается на местах лишь для того, чтобы поддерживать высокий средний уровень, то есть, по сути, образцовую посредственность, мы топтали в крошево то, чему нас учили, чтобы выйти из битвы победителями. Иногда они сдавались безоговорочно, вознаграждая наше упрямство A+ и рекомендациями в те самые компании и лаборатории. Иногда мы выходили с оценками похуже — и это было даже круче вылета Цукерберга из колледжа, потому что ему хотя бы не приходилось тратить свое время и силы на то, что он вскоре перевернул, мы же работали и продолжаем работать на разрушение системы изнутри.

Мы доказывали, что можем делать все, что хотим, и успевать все и везде. Замученные мальчики и девочки из истеблишмента, замурованные в преппи-стиль, со всеми их *extracurriculars*, блестящими оценками, опытом волонтерства в Африке и прочими святыня святынь, не годились нам в подметки. Эти мелкие зверьки по инерции выполняли все на «отлично» и были самыми скучными людьми в мире, с мозгом, запрограммированным на достижение слова «успех», идеальный средний балл, работу в консалтинге, стартовую зарплату не меньше икс, костюмы от Зеня и туфли от Маноло Бланик. Такие девочки и мальчики с четырнадцати лет одевались в серые и бежевые костюмы, хорошо зная, что черно-белое роднит их с официантами и прочими низшими классами, которые существовали где-то сами по себе и с которыми нельзя было соприкасаться. Мы же против этих механических хорьков были настоящие *badass*, оторвы — и победа была за нами.

Глава шестая, где я знакомлюсь с Амади, и разрушение становится неизбежным

Существовала и другая сторона жизни в Оксфорде. Утром, разглядывая себя в зеркале, я заметила, как резко очерчена стала носогубная складка; от уголков глаз разбежались морщины; а губы так и норовили растянуться в ослепительной голливудской улыбке в скобках тонких полосок около губ. Признаки постоянного притворства так быстро въедаются в лицо. Я отхожу подальше и снова приближаюсь, поворачиваю зеркало к окну и пробую поднять подбородок. Но это официально: я — новая Анна Павловна Шерер.

Но ведь ничего удивительного, если всегда все определено: дресс-код — черный галстук, смокинг, бабочка, коктейльные платья и мантия поверх. Аперитив — игристое вино, потом белое, красное и под конец — портвейн, выдержка зависит от пафосности торжества. Общепринятая манера общения — скользить в толпе от одной группки к другой, лицемерно улыбаться всем и каждому, отработанными подачами производить впечатление за пять минут, громко восхищаться и повторять «oh my God», и переходить в новую группу.

А завязывать связи, между прочим, — целое искусство, сложный навык, который кому-то дается от природы, а кому-то — через пытку бесконечных вечеров, когда приклеиваешь к уголкам губ улыбку, задаешь вопросы, показываешь себя и подмечаешь у других приметные жесты, интересные фразы, определяешь за пятиминутный разговор, что это за человек, и заносишь его в каталог памяти, чтобы однажды, лет через пять или десять, встретившись уже на другом приеме, улыбнуться так же тепло, как и в ту давнюю встречу, и небрежно бросить: а, Пол, помните, в две тысячи двенадцатом, на вечере выпускников в Оксфорде, мы с вами спорили о мемуарах Маргарет Тэтчер... Конечно, конечно. Да, я теперь работаю в... Да, конечно, нужно как-то пересечься на ланч. К сожалению, в следующую пятницу у нас уже забронирован столик в... Но знаете, мы с мужем по субботам обедаем в... Кстати, я слышала о вас от... на конференции в... Поздравляю, поздравляю, ваша последняя статья меня очень впечатлила... И так далее, до бесконечности, с разными людьми, с каждой фразой не приближаясь к ним и отдаляясь от себя.

Ничто так не учит искусству быть в центре событий быстрее, как ощущение принадлежности к касте избранных — и семейное состояние, и гениальный ум, хотя и не помешают, тут далеко не главное. Ключевые характеристики — это каста одаренных, целеустремленных и прорвавшихся. Прорвавшихся к двери, за которой достаточно будет просто бросить «Оксфорд, две тысячи шестой» или «Йель, юридический», — и вам уже предлагают сигару, хлопают по плечу, и можно расслабить узел галстука в предвкушении беседы по душам. Два-три слова — и ты автоматически начинаешь что-то из себя представлять, даже если секунду назад твой собеседник уже отчаялся изображать интерес.

Нетворкинг — чума на весь наш с вами общий дом; бич, истребляющий быстрее, чем все другие запущенные механизмы, любую искренность, честность и сердечность среди ста процентов людей, на чьи плечи упадет эта холера. Приходишь первый раз, и кажется, еще немного — и я сойду с ума, еще минута — и я уже не выживу.

Как сейчас помню свой первый выход в свет: скромно улыбаясь, стою,

вжавшись плечами в каминную полку; не знаю, куда себя деть, и не пойму, почему все так быстро уходят. Я пришла искать друзей; на ухо мне маленькая брюнетка в красном платье года на три младше меня рассказывает про совместный проект ее лаборатории с министерством обороны. И, ой, потом я вижу ее уже в другом конце зала. В своих поисках я обратилась к худшим, самым неподходящим для этого источникам — светским мероприятиям Оксфордского университета.

Наивно было искать здесь общения, сближения, возможности услышать друг друга и заинтересоваться кем-то. Никто не хотел меня, никого не интересовало, что я хотела сказать, — и уж тем более никто не собирался отвечать любезностью на любезность. И вовсе не потому, что это были плохие люди, нет — просто за годы пребывания в этой адской машине они уже полностью осознали правила игры, смирились с ними и приняли постриг прагматизма и эгоцентризма. Фундамент для связей, социального статуса и взаимовыгоды закладывается именно тут, а все остальное вынесено за скобки. Нетворкинговые тусовки — секретное оружие и оплот истеблишмента. Но это понимаешь не сразу. А когда поймешь — ты уже Анна Павловна Шерер, на современный манер.

И вот она новая я, королева тусовок и мастер трехминутных бесед. С окончательно сформировавшимся в Оксфорде сочетанием нежной внешности (отображающей неотразимую и тщательно отмеренную уязвимость и мольбу о помощи) и точности мысли и твердости взглядов, у меня больше нет трудностей с привлечением на железный поводок внимания собеседников или с выискиванием слова в кармане для остроумных бесед — траекторию разговора я элегантно направляю так, чтобы раскрывать то одну, то другую сторону — внимание, не своего — их характера, цепляя такими переходами людей и заставляя их задерживаться рядом со мной, чтобы продолжить беседу еще и еще, а в результате — вдруг раскрыться и самой понять, что за изюминка и сумасшедшинка таится в тебе. Вот мой секретный козырь, дарю: все любят признаваться в тайном безумстве. Давайте людям эту возможность полюбить вас. Я обычно так и делаю в случайных разговорах, машинально, хотя и с хорошими намерениями — не быть скучным собеседником.

Вот только однажды я не выдержала и устроила концерт. Решила почему-то, что один раз можно и развлечься, и доказать самой себе, что врага можно победить на его же собственном поле — было бы желание. Никаких случайных фраз, только проверенные приемы, только самая радушная улыбка, только максимальная доброжелательность и готовность слушать. Только максимальная готовность в ответ делиться своим, легкое балансирование на грани вежливости и откровенности, легкий уход в сторону личного как мера чрезвычайно интересного разговора. Подбавить щедрую долю драматизма — и через двадцать минут я уже была окружена плотным кольцом гостей, которые, потягивая шампанское, подходили послушать, о чем говорит та девушка в кожаной куртке, а начав слушать, забывали свои бокалы на ближайшем столе и старались протиснуться поближе, чтобы ничего не пропустить.

Признаюсь, это было глупо, но я сознательно хотела привлечь все внимание, загипнотизировать эту толпу связеискателей, доказать себе и нам всем, что можно изменить правила игры, что не все в этом мире подчиняется контактам и привычкам. Я рассказывала о своем детстве и путешествиях, не жалея красок и сильных слов, бурно артикулируя и даже слегка переигрывая,

потому что этого никто не замечал. Я на время перестала быть всем, что было мною, — и превратилась в другого человека — из тех, кто в полдень, в компании друзей небрежно закатав рукава вельветового пиджака, сидит, развалиясь, в лодке с бутылкой вина, отпуская комментарии всем встречающимся; из тех, кто в столовой возмущается, что колледж уже не тот, что раньше, ведь когда он был здесь подростком с родителями, официанты приносили на завтрак шампанское; из тех, кто входит в эти абсурдные тайные общества, смысл которых заключается в том, чтобы два раза за семестр ужинать на чьем-то древнем серебре и делать об этом записи в пятисотлетнем кожаном блокноте. Я стала всеми теми, кто мне здесь не нравился и раздражал своим снобизмом, лицемерием и двуличием — всем тем, что и является столь характерным для Оксфорда.

То ли я все же переборщила с таблетками, то ли просто от волнения помутнело в голове, что-то отключилось — и я совершенно потеряла контроль над собой. В какой-то момент посреди ночи я увидела себя со стороны — как я, закинув ногу на ногу, сижу на барной стойке в окружении мигом появившихся верных слушателей, пью розовый martini, покачиваю туфелькой и рассказываю, как впервые прошла по Хай-стрит ночью субботы и насчитала двух тигров, шесть лебедей, балерину, двух ведьм, четырех клоунов, и одного Махатму Ганди — и даже бровью не повела, ведь это Оксфорд. Столица костюмированных вечеринок и алкоголя рекой! — и все смеются и поднимают бокалы за меня.

Я посмотрела на это все как будто со стороны и поняла, каким абсурдом и бессмыслицей занимаюсь, полагая, что я здесь и сейчас веду какую-то партию и чего-то добиваюсь. Трачу свое время на то, чтобы один раз поставить галочку, убедиться, что я могу играть по правилам соперника и все равно выйти победителем — неужели я этого и так не знаю? Что со мной?

Я сунула бокал с martini прямо в руки бармену, прыгнула с барной стойки и выбежала на улицу, прежде чем мои слушатели успели надеть маски удивления и понимания. В глазах вспыхивали и гасли фонари, мелькали кирпичные стены, удивленные глаза, все куда-то летело, падало, расходилось по швам. Что это было? Что еще я натворю? Не хватало воздуха, и я стала задыхаться.

* * *

Фонарь в переулке Девы Марии почему-то в тот вечер погас, и в тот момент, когда я протянула руку к дверной ручке, дверь резко распахнулась, я не удержалась на ногах, и вместо ручки схватила кого-то за руку.

Говорят, что в момент, когда на тебя обрушивается любовь с первого взгляда, ты запоминаешь все, как на фотографии, и можешь восстановить в памяти много-много лет спустя; я ничего подобного не помню, только остроту больно принявшей нас мостовой, и то, как он, вскочив, приподнял меня за плечи и стал спрашивать, заглядывая в глаза:

— Ты в порядке? Прости, ты в порядке? Это я виноват! У тебя что-то болит?

Конечно, на самом деле он говорил не «Ты в порядке», а «Are you o'kay?» — что могло бы значить «Вы в порядке?» и совсем другую историю — но мысленно я перешла с ним на «ты» и тоже уставилась ему в глаза — правда, молча.

— Я никогда не видел тебя здесь, — сказал он голосом, что бесконечно

после этого преследовал меня, заставляя прокручивать в голове все обертоны, переливы и перемены интонации разговоров, которые я помнила наизусть.

— А я никогда не видела тебя в Брейзноузе, — ответила я.

— Так и есть! Я зашел сюда впервые, — засмеялся мой собеседник и, протянув руку, помог мне подняться. Мы вышли на Хай-стрит и медленно пошли в сторону моста.

— Меня зовут Амади, — представился он.

— Очень приятно. Ну и что же тебя впервые привело в Брейзноуз? Хотел посмотреть на портрет Голдинга? — пошутила я.

— Нет, не так. Решил познакомиться с тобой, — улыбнулся Амади, и от неожиданности я остановилась посреди дороги.

— Шутишь?

Но нет, он не шутил, он ждал моего ответа.

— Ты знаешь, — медленно произнесла я, — мне нравится эта идея.

На следующий день я уже не могла прочесть больше одной страницы в книге, потому что кроме Амади в голове не было ничего, и я повторяла про себя его имя снова и снова, зачарованная гармонией звука и безупречностью, совершенством его имени, не замечая, что солнце за окном уже проделало путь от левой створки к правой, а я все продолжаю сидеть, откинувшись в кресле и скользя по книжным полкам рассеянным взглядом.

Мне снилось столько всего прекрасного. Счастливые и беззаботные, мне снились Федор Михайлович, летящий вместе с Палаником в бизнес-классе самолета Лондон — Лос-Анджелес на некую тренировку, и Вирджиния, плетущая венок из книжных закладок; мне снились лица старых друзей из Караганды, и даже, как символ того, что все возможно, коллекция дисков, которая все еще хранилась в подвале нашей квартиры в Германии.

Мальчик по имени Амади, который, как оказалось, приехал в Оксфорд из Чечни, сбил все мои приоритеты и настройки, которые я год за годом так тщательно корректировала, чтобы избежать падений, привязанностей и ошибок. Шагая с ним в обнимку по Хай-стрит, я смеялась в голос, когда он рассказывал истории из своего детства, и иногда резко останавливалась посреди тротуара, притягивала его к себе, ерошила волосы, придумывала варианты уменьшительно-ласкательных имен для этого, еще не вполне похожего на нынешнего Амади, героя историй, и когда мы целовались, у меня внутри все замирало: и от нежности, и от ощущения хрупкости и ценности этих моментов, от восхищения его профилем с орлиной линией носа, которая никогда не поддавалась моим рисункам, и мужественно очерченным подбородком и линией губ; и я была так счастлива, что мне все время казалось, что вокруг играет музыка — во всяком случае, она всегда играла у меня в голове — у нас, всегда одинаковая, — когда мы воскресным утром занимали тот же столик, что пустовал с тех пор, как уехали мои друзья; когда мы ходили в музей Эшмола, и все картины, которые мы там видели, были про нас, и только про нас; и когда мы ездили на выходные в Лондон, и наши дни там были сочетанием всего, что я любила на разных этапах своей жизни, и поэтому я так любила их — мы просыпались поздно, ходили в Британский музей, возвращаясь по многу раз к одним и тем же картинам; танцевали сальсу на улицах; сидели на ступеньках на Трафальгарской площади, потягивая вечный кофе из Старбакса, пока не надоедало; заходили за ночь в несколько разных клубов, не задерживаясь нигде больше чем на полчаса, чтобы

не заскучать, — и все это было пронизано таким ощущением полноты жизни и абсолютного, безоблачного счастья, в котором ни на секунду нельзя было усомниться; мы как будто все время проводили в ритме танца или фильма — потому что мир был сосредоточен только на нас двоих, и если бы меня спросили, знаю ли я, что такое абсолютное счастье, я бы, не сомневаясь, ответила: да — потому что именно это я чувствовала тогда — настолько глубоко и сильно, что не раз и не два, когда мы возвращались в Оксфорд по уже сереющей вечерней дороге и он держал меня за руку, а я бросала искоса взгляд на него, рассматривая его внимательные глаза и в то же время расслабленную, уверенную позу, а потом он перехватывал мой взгляд, и мы смотрели друг на друга, улыбаясь — не раз и не два я, отворачиваясь и бросая взгляд в окно, на пролетающие мимо поля, думала о том, что если бы сейчас машина вылетела бы с трассы и мы оба мгновенно погибли бы, так и держась за руки и не успев понять, что произошло, — это было бы остановкой на пике, абсолютной высоте — и если бы у нас были обязательства только друг перед другом, а не перед семьями, друзьями и близкими — то я не смогла бы найти лучшего завершения для этой истории — и отчасти даже хотела этого.

* * *

Когда Амади исчез, я узнала о себе кое-что новое: курильщик из меня, оказывается, неважный. Первую сигарету я зажгла не с той стороны, на второй опалила пальцы, а третью уронила. На четвертой мне дал прикурить проходивший мимо парень в сувенирной ушанке: январь в Оксфорде — не самое приятное время года. Я сделала первую затяжку и закашлялась.

Он исчез через три месяца после нашего знакомства, и это случилось восемь дней назад. Я сразу все поняла. Стоило ему пропустить наш ежевечерний звонок, как я тут же бросилась набирать его номер, боясь именно этого: что он исчезнет так же внезапно, как и появился той ночью в переулке Девы Марии; не сочтет нужным ничего объяснять и оставит мне заботы и размышления: что пошло не так, отчего ему все стало скучно, отчего он даже не счел нужным попрощаться, отчего он просто отключил телефон.

— Пожалуйста, только не это, — повторяла я, — только не это, только не конец всего, пожалуйста, пусть это просто разрядился телефон.

Продолжая набирать его номер, я беспрерывно глотала таблетки и слезы, но в ответ только и слышала женский голос, извещающий меня, что поговорить мы больше не сможем, а потом сообщение обрывалось, и шли короткие частые гудки. Приложив мобильник к уху, сидела в кресле и считала свои вдохи и выдохи, потом пришла в себя и снова нажала на кнопку повтора.

Он в это время уже moved on в свою новую жизнь, а я до утра, в панике пыталась найти, о чем думать, — и лишь только в шесть смогла наконец отключиться — но в десять уже снова на ногах и снова набирала номер и слушала снова и снова тот же голос, сочувственно повторяющий, что абонент отключен. И так же не было ответа на письма, и все сообщения в сетях оставались непрочитанными, подтверждая то, что последний раз пользователь заходил сюда много дней назад. Так продолжалось семь дней. Я лежала в кровати, свернувшись калачиком и не выпуская из рук телефон.

Все это было впервые со мной, и я не умела, не знала, как выходят из таких ситуаций и забывают людей, нет, даже проще — как живут дальше? До знакомства с ним у меня была какая-то своя жизнь — но с тех пор она стала

нашей общей, я, не задумываясь, щедро предложила все, чем обладала — и теперь, без него, выходило, что у меня ничего не осталось.

Я совершенно растерялась. Я растерялась настолько, что не могла вспомнить, что заставляло меня раньше просыпаться с утра, выходить на улицу, слушать лекции и читать книги. Я уже понимала, что бессмысленно набирать его номер, но продолжала, чтобы не забывать, что произошло и чем я живу. Каждый вечер ко мне заходили приятельницы, выражали сочувствие, предлагали помощь. Я смотрела в стену мимо них, а один раз попросила встретиться с Глебом и передать ему деньги на новую банку таблеток. Девочки стали меньше спрашивать, а потом и реже приходить. Месяцы спустя, когда я пришла в себя, я вспоминала эти визиты и сгорала со стыда; но тогда меня раздражало, как складки их юбок растекаются по моей кровати, теряя свою остроту и расплываясь в цветных пятнах.

Я ждала неделю. Ничего не произошло. Семь дней молчания были настолько мучительными, что хотелось возненавидеть его за все это, за состояние неопределенности. На восьмой день, в понедельник, я приняла решение хоть что-то делать — хотя бы пойти в колледж, провести остаток дня там, с друзьями и однокурсниками: может быть, мне так станет легче. Но стоило мне на самом деле оказаться среди людей, как на меня нахлынула паника: мне не нужны были никакие другие люди, мне нужен был только Амади. От боли и слез почти исчезло зрение, и очертания домов, дорог и силуэты людей расплывались у меня перед глазами; я злилась, что ничего не могу с собой поделать, даже перестать плакать.

Амади страшно не любил, когда курили, поэтому, когда я окончательно потеряла надежду поговорить с ним, в ближайшем киоске я попросила пачку сигарет и зажигалку. Я курила одну за другой, без остановки, и к седьмой разглядела, что на каждой сигарете есть специальная кнопка — чтобы менять вкус. Теперь я курила и шелкала, курила и шелкала, меняя вкус, надеясь, что вдруг — шелк — и новый вкус окажется вкусом к жизни. Но ничего не происходило.

Часть 3. Долгая дорога в Чечню, Америка,
где я почти никому не чужая, и вся правда о глобализации,
хотя в это никто никогда не поверит

Глава седьмая, в которой повествуется о том, как упрямство приводит меня в Чечню. Здесь же присутствует описание многих, многих поездов

Три месяца спустя, под монотонный скрип старого принтера я мерила шагами кухню и коридор, слоняясь из угла в угол съемной квартиры и теребя в руках его письмо. В тот вечер я ночевала в Приштине, Косово. До этого была Румыния. Еще раньше — Сербия, Венгрия, Австрия, Италия и Франция.

Мрачноватая и чудная, это была прекрасная квартира с легким привкусом средневековья, где в другое время и в других обстоятельствах я бы хотела пожить месяц-другой, чтобы каждое утро просыпаться, видеть обои в мелкий цветочек, спускаться по деревянной винтовой лестнице, есть свежие булочки на кухне и сидеть за столом около открытого окна, рассматривая проходящих мимо людей и думая, кого из них можно было бы поместить в свой роман. Но сейчас я была

поглощена бессмысленной авантюрой и сама себе не могла объяснить, что, собственно, я здесь делаю.

Когда Амади исчез, больше всего на свете мне хотелось сбежать, никогда больше не видеть Оксфорд, вернуться куда-нибудь домой — в Казахстан, даже в Германию — просто лечь на кровать и спать до того дня, пока я смогу проснуться, не испытывая боли.

Но я должна была идти дальше, как когда-то хотела, даже если сейчас я не хотела ничего. Через три месяца предстояли выпускные экзамены и защита диплома, и день за днем я каждую секунду думала о том, чтобы не думать о нем, заставляя себя просыпаться, садиться за стол и вчитываться в чужие тексты, сочиняя свой. Зато по ночам я отпускала себя и, когда выходила на прогулку по пустым улицам, стыдливо пряча от прохожих сигарету, оживляла в памяти все, что у нас было связано с тем или иным местом, и надеялась, что завтра это будет проще. Но не бывало никогда, и однажды я уже так устала от этого, что на очередном приеме в колледже, в краткую паузу между десертом и обсуждением благотворительного базара я обратилась через стол к Питеру (физика, PhD, общеуниверситетская команда по гребле, политические пристрастия: тори, секретная влюбленность: Маргарет Тэтчер, хобби: театральный кружок, главное достижение: современная постановка «Орестеи», дополнительный бонус: утонченные черты лица).

— Питер, слушай, а ты встречаешься с кем-нибудь?

Над столом зависла секундная пауза, и сразу же соседи вернулись к прерванным разговорам, и лишь сосед Питера подтолкнул того коленом, думая, что никто не видит. Утонченный математик только покачал головой.

— Отлично, — улыбнулась я и, переходя с Маргарет Тэтчер на тон более мягкий и нежный, спросила — а возможно... возможно, ты хочешь пригласить меня на свидание? Может быть? Когда-нибудь?

И вместо Питера, рванувшись вперед, громко ответил нетерпеливый сосед:

— Конечно! Конечно, он хочет.

— Да-да... Я буду рад пригласить тебя на свидание, — пробормотал, наконец, и сам Питер.

— Класс. Тогда позвони мне завтра.

Ректор в этот момент закончил разговор с соседом слева и переключился на соседа справа: это был знак к тому, что и всем остальным нужно повернуть голову и завести разговор с новым собеседником. Я снова включилась в застольный ритуал и улыбнулась своему соседу справа. Профессор Кромби был оживлен так, будто это он только что пригласил на свидание почти незнакомого человека, и до конца ужина вспоминал свое знакомство с женой.

Питер позвонил; свидание было чудовищно неловкое и потому очень короткое. А когда я пришла домой, меня ждал конверт с билетом на рейс авиакомпании Эйр Франс и распечатанным подтверждением бронирования одноместного номера в гостинице. Билет и гостиница были выписаны на мое имя, а кредитная карта, с которой произвели платеж, принадлежала Амади. Так я заодно узнала и его фамилию, хотя предпочла бы знать, зачем он прислал билет.

Наверное, в такие моменты и проявляется характер человека. Чем ты себя сделал или заставил сделать — и чего ты по-настоящему хочешь, что в тебе по-настоящему живет. Очевидно было, что ставить под удар свою учебу в Оксфорде, а значит, и докторантуру, и дальнейшую карьеру, и все свои амбициозные планы — глупо. Но у меня, как это уже стало понятно, был плохой, упрямый характер.

* * *

В то лето я узнала, что мир состоит из одиноких, как и я, людей. Я меняла поезд за поездом и везде видела пустые глаза, умоляющие взять за руку и никогда не бросать. В поездах по ночам я ходила туда-сюда одна по пустым вагонам, не в силах усидеть на месте, потому что моя тоска заставляла меня находиться в постоянном движении. Я бросала сумку и переходила из вагона в вагон, от хвоста поезда в начало и обратно, пока меня не запоминали и не останавливали вопросами. Путешественники все время хотели разговаривать, и я присаживалась на полку и слушала их. Все они, к моему удивлению, рассказывали одну и ту же историю. Про то, что молодым умереть не получилось, и теперь надежды на счастье уже нет и все, что остается, — ждать, наблюдая за тем, как искра внутри тебя медленно гаснет. Женщины глазами просили рассказать их истории, а мужчины звали передать немного своего тепла и той неумной тревоги, что сквозила во мне, им, и заставить их сдвинуться с мертвой точки, в которой жизнь уже ничем не отличалась от смерти. Я проходила через бесконечные ряды жаждущих внимания, и стоило мне лишь снять шарф и осторожно примостить его на кресле как стену между мной и соседом, как тот уже поворачивался ко мне и, едва встретившись со мной взглядом, спешил рассказать свою историю, про которую я заранее все знала. Я слушала все эти невероятные жизненные истории, этих любовниц, и детей, и смерти, и от того, как я внимала им и как погружалась в них, через десятки и сотни историй все эти жизни и центры земли стали для меня сливаться в одну, а я вдруг поняла, из чего складывается мир, из чего складывается земля, из бесконечных точек, претендующих на центр и не отличающихся одна от другой. Однажды я обнаружила себя рассеянно разглядывающей пейзаж за окном, не отличая озера от леса и гор от заводов так же, как я перестала различать темные и светлые дни в своей жизни. А потом я стала отрывать взгляд от окна и разглядывать других пассажиров, тоже взывая к их вниманию, как спящая красавица, ожидающая принца. И заметив это за собой, я в панике вскочила на ноги, понимая, что надо бежать, не останавливаясь, пока эта тоска не пропитает меня, но в этом не было необходимости, потому что мне и так все время приходилось бежать. Никто нигде не ждал меня, я приезжала в город, указанный на билете, брала такси, отправлялась по адресу из распечатки и ждала. Из Парижа меня позвали в Рим, в Риме долго не происходило ничего, а через неделю, когда я была готова вернуться назад, в Оксфорд, пришла открытка из Белграда. А еще через пять дней — из Бухареста. За все эти непонятные переезды и перелеты я так устала, что мне уже даже не было интересно, зачем он это делает и зачем это делаю я. Ясно было только, что это все как-то бессмысленно и жестоко и что человек, который любит, никогда не стал бы так поступать. Но почему-то я все равно приняла новое приглашение.

В Приштине все снова замерло, и Амади исчез на две недели. При других обстоятельствах я обязательно посвятила бы городу и его людям и домам хотя бы страницу или две. Рассказала бы вам, что видела, каких людей встречала; что не нашла необычным, а что меня удивило. Описала бы, как проводила время и где гуляла, с кем познакомилась и какие у меня появились тут привычки. Но правда в том, что я была настолько поглощена мыслями об Амади, что думала лишь о нем, отеснив на задний план все остальное. Все приятное, что могло быть связано с новым городом, но совсем неважное; и все серьезное, вроде ломки без

аддерола, потери связи со всем миром, денег и утраты чувства реальности — но тоже неважное.

И вот, после двухнедельного ожидания, наконец пришло письмо. Не открытка, как раньше, а настоящее письмо, написанное от руки на плотной серой бумаге размашистым мужским почерком. Письмо было нежное и ласковое, письмо было такое, будто Амади писал его полгода назад, в разгар нашего с ним времени, ни на минуту не отпуская мысли обо мне.

Настолько нежным был этот тон, что в первый раз я проскользнула через все письмо, даже не поняв, о чем оно. А во второй раз поняла. Амади приглашал меня приехать к нему на родину, в Чечню, и среди прочего говорил о следующих вещах: он счастлив тем, что я, как верная спутница, следовала за ним, когда он просил; что я ни разу не усомнилась и не передумала; и что ему кажется теперь, что наши отношения получили достаточную проверку и мы можем друг другу доверять. И наконец, он считает, что настоящая женщина должна быть готова пожертвовать всем, что у нее есть, ради семьи и любви. И если это так, то он ждет меня в Чечне, готовый надеть на меня платок и кольцо. И сделать меня спутницей своей жизни, поясняя последняя строчка.

* * *

И снова те же самые вопросы. Рискнуть и довериться странному человеку, которого ты думаешь, что любишь, но, возможно, и не знаешь вовсе? Я пролистывала письма из Оксфорда, сидя в аэропорту. Рейс был не прямой, а через Москву, и у меня была последняя возможность подумать. Письмо от декана, письмо от Достоевского, письмо от Вульф. Все они были обеспокоены — все, кроме Паланика. Само собой, ведь все-таки это он написал, что терять нечего, и что единственный ответ на любые вопросы в жизни — это стремление к саморазрушению.

Так что я ни о чем не переживала. На случай новых многоходовых комбинаций и сюрпризов от Амади я забронировала такси из аэропорта и гостиницу в Грозном — просто потому, что совсем не была уверена в том, что случится, когда я прилечу, увижу ли я вообще Амади и будет ли эта остановка последней на моем пути. Его письмо было таким неожиданным и таким странным, что я даже не до конца верила в то, что все это правда. И когда я задремала в самолете, мне приснилось, что он сидит на соседнем кресле и держит меня за руку.

— Боишься? — спросил он.

Я покачала головой.

— Тебе больше никогда ничего не нужно будет бояться. Ты дома.

— Дома? Здесь, с тобой?

— Да, — ответил он и погладил меня по голове, а потом, подняв руку, прицелился пальцем мне прямо в середину лба и выстрелил. — Ты дома, потому что дома — нет. Я же говорил тебе.

— ...Наш самолет приступает к снижению. Мы рассчитываем прибыть в аэропорт города Грозный через двадцать минут. Просим вас подготовиться к посадке, занять свои места, привести спинки кресел в вертикальное положение, убрать откидные... — разбудил меня голос стюардессы. Просыпаться не хотелось — и потому, что мне показалось, что дальше во сне должна была быть еще одна фраза, и потому, что после всех стыковочных рейсов и трансферов, не говоря уже о том, что последние два месяца я вообще непрерывно находилась в дороге, в самой нервной и непредсказуемой дороге, какую только можно

представить. Медленно и лениво я сделала по порядку все, что перечислила стюардесса, достала из сумки зеркальце, пригладила растрепавшиеся за время сна волосы и слегка обновила помаду. Потом снова откинулась на спинку сиденья и закрыла глаза, снова погружаясь в короткий, рваный, усталый сон, который все никак не могла сбросить; и даже посадку не заметила, открыв глаза только тогда, когда пора было выходить из самолета.

— Дочка, ты что тут, весь самолет задерживать будешь, дома не можешь поспать, да? — одернула меня пожилая женщина с соседнего кресла, и я, встrepенувшись, подняла свою сумку и пошла по проходу навстречу городу Грозный, и боялась подумать, что навстречу Амади, ведь вдруг все это — письмо, приглашение, перелет — было не по-настоящему.

Но все было правдой. Из-за заказанных мною машины и гостиницы мы, конечно, поссорились в первые же пять минут после моего приезда, потому что Амади был глубоко оскорблен моим недоверием. Как я ни пыталась объяснить, что сложно доверять человеку, который заставил тебя проехать за ним по всей Европе, так ни разу и не соизволив с тобой встретиться, Амади был неумолим и разъярен, и пока мы шли к машине, ни разу не посмотрел на меня, продолжая бурно жестикулировать одной рукой — а подходя к машине, он опустил мою сумку на землю и продолжил уже с поистине дирижерским размахом. Он же всегда мне говорил, что если дело идет о доверии, то полумер тут быть не может — или всё, или ничего, и он надеялся, что если уж я снизойду до того, чтобы приехать в Чечню, то неужели во всем остальном я не могу расслабиться и положиться на него? Он сердито замолчал, подняв сумку, убрал ее в багажник и открыл для меня дверцу машины. Я подошла ближе.

— Ну при чем тут снизойду, Амади, — сказала я. — Я все-таки приехала. Тут он смягчился и наконец посмотрел на меня.

— А вот здесь ты, конечно, молодец, — улыбнулся он. — Ну что, Оксфорд, поехали? Добро пожаловать домой.

* * *

После пары кругов по вечернему Грозному (из машины не выходили) Амади отвез меня в гостиницу «Грозный-сити», заказал мне в номер ужин, познакомился с каждым «братом», которого мы встретили на пути от ресепшена до двери номера, и снова исчез. За окном все полыхало неонами, притихая и переходя, по мере приближения к мечети «Сердце Чечни», от вульгарного кислотного к более благородному и естественному свету. Это впечатляло — за всю свою одиссею я не видела ничего подобного. Амади оставил мне телефон с местной сим-картой и одним-единственным номером в памяти — своим собственным. Я все еще не верила в то, что теперь все по-настоящему, но он взял мобильник после первого же гудка, и мы разговаривали долго, почти два часа, пока он ехал домой, поднимался по лестницам, включал и выключал свет, пока ходил по своей комнате, хлопая дверцами шкафа, передвигая что-то на столе и разбирая кровать, и даже пока он немножко, пару минут, пытался бороться со сном. Разговаривая с ним, я тоже бродила по своему номеру — из гостиной в спальню из спальни в гостиную, в коридор, снова в гостиную, спальню, и обратно, и заново — пока не повесила трубку. Спать расхотелось совсем, и я не могла заснуть до самого утра. За окном возвышалось «Сердце Чечни».

А утром началось. Хотя я теперь и была в Грозном, и голос, который мне был так нужен, возникал в моем телефоне в любую минуту, когда мне этого хотелось, самого Амади рядом со мной не было. Вместо него мою жизнь

заполнили его сестры, тети, бабушки, подруги сестер и подруги подруг сестер — потому что я здесь была довольно-таки неожиданным развлечением. В девять утра раздался стук в дверь, и четверо незнакомых женщин, игнорируя мое сонное недоумение, стали располагаться в гостиной. Большое кожаное кресло передвинули в центр комнаты и накрыли одеялом, чтобы там села денана — бабушка. Меня посадили рядом.

С той минуты в моем номере появлялись женщины, девочки, девушки. Гости приходили группами, стайками по несколько человек, боязливо заходили и оставались надолго. Они приносили с собой пакеты и сумки с банками варенья и свежим инжиром, медом и разными домашними специалитетами, которые я скоро оценила и быстро научилась отличать хингалш от чепалгаша.

Гости решали, что я буду делать, куда мне пойти и чем меня развлекать — с шумом, спорами и периодически даже звонками мужчинам. Иногда они просто сидели со мной и развлекали чаем и разговорами, иногда включали телевизор и смотрели ток-шоу, новости, сериалы, рекламу. И беспрерывно, беспрерывно приносили с собой: свадебные журналы, буклеты салонов красоты, рекламки разных мелочей, которые, как оказывалось, были очень нужны невестам; и много, много шума и суеты. Разглядывая золотистые платья с длинными, до самых кончиков пальцев, рукавами, я не переставала удивляться: неужели все это и вправду происходит со мной? Я-то думала, что когда-нибудь кто-то, кого я ждала так долго, сделает мне предложение на палубе крейсера «Аврора», мы махнем в Оксфорд, проведем в моем колледже свадебную церемонию, и все. Но здесь все было сложно и чинно, было много обсуждений, инструкций, мне говорили, что и когда нужно будет говорить, что можно будет делать, а чего нельзя, как себя вести, как держать голову, куда смотреть, и что из того, что я делаю сейчас, ни в коем случае никогда не повторять. В конце первого дня я стала говорить по-чеченски в пределах свадебной тематики.

Все было совсем не просто, Амади куда-то исчез, но каждый вечер говорил мне по телефону, чтобы я никого не слушала, что мы сами решим, что и как делать, и что он полюбил меня такой, какая я есть — свободной. И, — добавляла я, — по местным понятиям, пожалуй, что и дерзкой. «Уж очень смелая», — услышала я в разговоре двух тетюшек, пока разливала чай. Об этом же говорили мне намеками и женщины-парикмахерши, которых привозили из салонов прямо в гостиницу, чтобы все было здесь как дома; и девушки с тюбиками, баночками и кисточками, которые предлагали мне репетиции свадебного макияжа; и милая дама с подушечками для свадебных колец; и целая армия суровых портних, из которых одни закатывали глаза, когда я выходила из спальни в гостиную в джинсах, а другие чуть ли не хлопали в ладоши от восторга.

Да, все здесь было неоднозначно, разнородно, разношерстно, *негомогенно*. Почти каждый день устраивались прогулки и катания по городу, и когда мы с девочками выходили из прохладной машины и неспешно прогуливались по проспекту Путина, в трех шагах за нами шел водитель, небрежно поглядывающий по сторонам. Не то что это было так уж нужно: мимо нас то и дело проходили другие девушки и женщины — кто поодиночке, кто группами; и хотя все они носили платки, косынки или широкие ободки и обязательно макси, в остальном они не слишком отличались от девушек из Казахстана, какой и я была еще меньше десяти лет назад. А вот глядя на них сквозь линзы оксфордского мира, я сразу отмечала разницу в поведении, в манере держать себя, будто сотни невидимых нитей не давали им сделать лишний шаг в сторону и направляли,

создавая со всех сторон бесчисленные constraints, затрудняющие не только ходьбу.

Одновременно, стараясь понимать и принимать новые впечатления и новый мир вокруг себя в его полноте и глубине, стремясь поддерживать в себе новое, но сохранять и старое, я не упускала из виду и другие вещи: нежность и трепетность девушек, которые окружали меня; их грациозность, которая, похоже, произрастала именно из этих ограничений в поведении, из лавирования между натянутыми в воздухе и невидимыми мне нитями традиций и порядков; элегантность и сложную кокетливость их нарядов, которую можно было оценить, только оценив сложность саму по себе. Здесь не было ничего простого. Через двойную оптику я смотрела на жизнь чеченских женщин и видела много плохого и много хорошего. Пыталась понять жизнь в Чечне, или хотя бы в Грозном, и видела, точно так же, много плохого и много хорошего. И лишь почувствовала, очень остро, что в моем новом мире прогресс поедал человеческое и живое — а здесь, где он только поднимал голову во второй раз, оставались еще частицы чего-то другого, смутно мне незнакомаго.

На второй день я освоилась и начала запоминать, кто есть кто и кто кем кому приходится; кто как со мной себя ведет и кто не хочет меня здесь видеть. И это тоже было непросто, я быстро поняла, что вокруг меня и за меня идет постоянная неистовая борьба, и что я — новая, чужая «невеста» — вношу сумятицу и раздор в их привычную жизнь. Две женских и девичьих коалиции продолжали быть настороже каждую минуту и секунду и, затаив дыхание, следили за тем, что будет со мной здесь, на их территории — потому что раньше такого не случалось и потому что то, что сделаю я, было для них гораздо важнее, чем я могла предположить.

Все вместе они водили меня в мечеть и учили читать Коран, уверенные, что я обязательно должна и хочу этому научиться. Я все делала с ними, но не говорила, что пробовать и жить — совсем разные вещи. Половина из этих девушек смотрели на меня горящими глазами, мечтая о возможности уехать, как и я, куда-нибудь далеко-далеко, где есть другая жизнь, похожая на интернет и непохожая на жизнь на Кавказе. Они бойко обсуждали и рассматривали одежду, которую я привезла, расспрашивали про то, как там живут люди, что носят девушки, правда ли, что можно вот так просто ходить на свидания то с одним, то с другим, и какую там слушают музыку. А самые смелые признавались мне, тайком от мамы или держа маму за руку, что они хотят другого, что они жаждут знаний, что готовы идти вперед. Я говорила о том, что смогла сама, и о том, что у меня не получилось, — и любовалась тем, как менялось выражение их глаз и как решимость ложилась на их скулы и губы — и мысль о том, что кто-то может их этого лишить, сердила меня и выводила из себя, взывая к хаосу, к тем сторонам моего характера, что мама так хотела смягчить, а я выпустила на волю. И хотя, как никто другой здесь, я знала, что эта дорога одинока и безысходна и что на знания и волю ты горсть за горстью, не замечая поначалу, ведь его так много, обмениваешь свое счастье — я знала и то, что исступленное желание понять и голод, доводящий до остова вселенной, — сами по себе несут разрушение, сами по себе необратимы и обречены на то, чтобы нести беду.

Другие женщины вели себя настороженно, и с ними все было наоборот. Они больше молчали, а я спрашивала; они отвечали коротко и сдержанно, а у меня, заинтересуй их что-нибудь, резко требовали деталей и словно пытались наощупь определить, не умолчала ли я о чем-то, не скрыла или недоговорила ли

важных подробностей. Впрочем, расспросы случались редко, и они не слишком интересовались мною и моей историей: для них я была невеста, и это говорило обо мне почти все, что нужно. Но они продолжали неустанно наблюдать за каждым моим шагом, а я не переставала расспрашивать про их семьи, быт, отношения, планы на будущее и мечты — о последних, Впрочем, говорили неохотно, — пытаюсь проникнуть в самую суть, примерить на себя их образ мысли, их взгляды и верования, их убеждения и правила. И поначалу мне все казалось, что этот наряд сшит не по мне, что ворот сразу начинает душить, а грубая ткань царапает кожу. Но когда прогулки выпадали на вечер, и братья, отцы и мужья приходили и приезжали к крыльцу «Грозный-сити», чтобы забрать своих женщин, я начинала сомневаться. Потому что я вдруг замечала, что все эти девушки и женщины были счастливы. По-настоящему счастливы.

Все было очень сложно. Я старалась избегать «проблемных» тем, отмалчивалась, когда могла, и тихо сидела рядом с денаной, избегая лишнего внимания. Но когда они спрашивали, я не пыталась понравиться, не юлила и не темнила, отвечая на все вопросы решительно и ясно, и прямо говорила, о чем думаю, во что верю и как хочу жить — даже если ловила тяжелые взгляды и видела, как они начинают перешептываться. Я знала, что часть из них не одобряет меня, не одобряет моих рассказов и особенно не одобряет моего приезда сюда. Слухи о моей поездке в одиночку по Европе, о непонятной и оттого на глазах обрастающей вымыслами погоне за Амади; шепот о том, что я, приехав сюда, бросила все, что у меня было, и до сих пор не сказала об этом своей семье; и даже эхо несвязных и обрывочных историй, отдаленно напоминавших эпизоды моей жизни в Караганде, в Германии, в Оксфорде — все они шлейфом ползли за мной, куда бы я ни шла, и я управлялась с ними, как со слишком длинной мантией на немодном и неудобном платье: использовала, чтобы держать на расстоянии одних и отгораживаться от разговоров, в которые не хотела вступать, — а временами, наоборот, перебрасывать как мостик между собой и теми, у кого искала понимания или кому хотела его дать.

Мои долгие годы изучения этики толерантности, политики терпимости и тысяч трагических историй, где для всеобщего счастья не хватило лишь малости, того или другого, привели меня сюда как на экзамен. А может, это просто линия моей жизни, путаясь комками и оставляя петли, вдруг вытянулась, устраивая мне проверку без компромиссов.

Была своя мудрость в том, что они отказывались заглядывать в мой мир и так оберегали свой. И я любовалась этой цельностью, этим решительным отказом вступить на тропу вопросов, что манят идти вперед, но уводят в бесконечность и в никуда: чаще всего — в сторону от счастья; и всегда — прочь от дома. Потому что нужно уметь смириться с тем, что самая прямая дорога к счастью — это незнание, и эта же дорога — самая щедрая и надежная: идущие по ней проходят путь вместе, ограждая друг друга от лишних мыслей, от сомнений и хаоса.

Поэтому все, что я могу сказать вам, — оставьте чеченских женщин в покое. Нет ничего хуже, чем жалеть счастливого человека, который искренне не понимает, что не так с вами, а не с ним. Вложите все эти гуманитарные доллары и евро в фонды для больных детей, для стариков с тонкими от недоедания ветвями рук, в эмигрантов и беженцев, чьих домов больше нет, в тех самых девочек, которые действительно хотят, но не могут получить образование. Только оставьте в покое чеченских женщин, если они сами не попросят вас о помощи, учите их, только если они захотят жить по-другому. Навязанные и

насильные, меня выводят из себя все эти освобождения женщин — мусульманских, не мусульманских — от гнета, в котором вы ничего не смыслите.

* * *

Коротая минуты до прихода Амади, я подошла к зеркалу, проверила прическу, тушь, помаду, покрутила серьги, посмотрела на себя так, по-другому. А потом выдвинула верхний ящик трюмо и достала платок. Это был самый первый подарок Амади, еще из тех оксфордских дней, когда я уже не знала, верила или нет. Платок был темно-зеленый и очень шел к моим глазам.

Когда он увидел меня, у него чуть дрогнули губы, а на лице появилось такое победоносное, детское, мальчишеское выражение, что и я сама едва сдержала улыбку. Мы ужинали в ресторане под куполом, и весь Грозный был отсюда как на ладони — сверкающий, чистый и ухоженный. Дороги, прорисованные по линейке, парки здесь и там, немного среднестатистической современной архитектуры, громада мечети и серые крошки еще не восстановленных окраин. Я попыталась представить, как все это выглядело лет десять назад, лет пятнадцать, и каково это — пережить девяностые, пережить первую войну, вторую; переживать все стереотипы на своих плечах, переживать все потери. И каково это — когда твой город исчезает, а потом снова, в считанные годы, появляется, как из-под земли, только уже совсем другим, не таким как был? А что на душе у людей и в сердце? Я наблюдала столько раз за всеми сестрами, тетями, за прохожими и водителем, пытаюсь понять, как они делят свою жизнь на «до» и «после», и видела бесконечную белую стену, которой люди отгораживались от того, чего не хотели помнить.

Поймав взгляд Амади, я отвернулась от окна.

— Знаешь, — сказал он, — у тебя бывает, что в глазах вспыхивают такие искорки, шальные. Пугает это меня иногда. Страшно мне нравится, что ты такая отчаянная, что не боишься ничего, что глаза у тебя бывают такие, что понятно — тебя сейчас вообще ничто не остановит. А мне кажется, что когда я тебя встретил, ты все-таки была мягче, была другая. Что-то в тебе еще было такое, детское... — он осекся, и нам обоим стало неловко. Амади крутил в руках вилку.

— Это было... еще до всего. До того, как ты... Как я поехала за тобой, — начала я, не поднимая головы и рассматривая узор на своей тарелке. Мы никогда об этом не говорили, и оказалось, что произнести это вслух так обидно, так жалко, что конец фразы вышел почти шепотом.

— Это было плохо, — сказал Амади. Не спросил, просто сказал. Я не стала отвечать, и он продолжил, медленно подбирая слова: — Просто я вдруг почувствовал, что ты... ты, такая сломанная, такая... — он пожал плечами, словно не зная, как сказать, чтобы не обидеть меня, — такая яростная... неуправляемая, разрушительная. Как будто ты сама себя ненавидишь. До смерти. И я подумал, что может, если тебя подтолкнуть, если ты дойдешь до такой грани, когда сама поймешь, что надо остановиться, — он снова посмотрел на меня, выжидая, — я не ответила. — Не самая любимая наша тема, — махнул он рукой. — Не самая лучшая часть прошлого, правда?

— А вот это точно правда, — засмеялась я.

А в ответ он протянул мне ту самую, полураскрытую, как цветок ландыша ранней весной, коробочку, про которую все всегда столько говорят, — и я осторожно приняла ее, разглядывая свое кольцо.

Оно было изумительное, красивое, красивее я не могла бы представить,

простое и чистое, и такое цельное и благородное, что сложно было вообразить, что любое другое кольцо — когда угодно, где угодно, при каких угодно обстоятельствах — окажется больше «моим», чем это.

Амади улыбался, глядя на то, как я заворуженно рассматриваю кольцо, и, наверное, это в нашей с ним истории была самая, самая счастливая минута. Он стал рассказывать:

— Свадьба будет через три недели... первый день отпразднуем... на второй день поедem в горы в мое родное село... Твое платье... Гостей будет...

Он говорил что-то еще — и вдруг остановился.

— Эй, ты меня слышишь?

И я услышала себя как будто издадека:

— А разве ты уже спросил, согласна ли я выйти за тебя?

Амади засмеялся; он был в хорошем настроении.

— Конечно, самое главное я забыл.

Он осторожно взял кольцо, тронул меня за руку, и спросил...

И я ответила:

— Нет.

* * *

Мы еще оставались какое-то время в ресторане, потому что мой ответ и ему, и мне показался шуткой, вроде бы сказанной всерьез, но от этого не менее глупой. Что-то говорили, в чем-то не соглашались, а потом я стала говорить громче, и Амади осадил меня:

— Не при людях! Не позорь меня!

Мы спустились ко мне в комнату, потому что Амади все спрашивал, почему, все требовал объяснений, и я была — как в беспамятстве. Я хотела сказать:

— ...просто потому, что я никогда уже не смогу тебе доверять. Это ведь с ума свести может — что ты сделал. Конечно, люблю. Конечно! Невозможно представить, насколько сильно, — ты подумай, кто бы еще без единой надежды проехал всю эту дорогу, лишь бы только продолжать надеяться увидеть тебя. Я тобой бредила, я о тебе не переставала думать. Зачем ты это сделал? Неужели ты не мог просто мне поверить? Я ведь сделала бы все, что ты попросил. Смотри, я ведь даже платок надела, хотя ты не просил. А здесь, что произошло здесь? Ты оставил меня, ты решил, что я сама справлюсь. А если я не знаю, как лучше для тебя? Если кажется, что все вокруг знают все и только я одна не понимаю и продолжаю все рушить? И как ты не поймешь, что теперь уже никогда не вернуть все, как было. Все говорят одно и то же, одно и то же. Нет смысла ждать или откладывать, мы все равно с тобой так и не будем счастливы, как это получается у других людей. Может, из-за меня это все? Или все просто нужно было делать по-другому? Все понятно теперь, все стало очень понятно, и даже приезжать сюда не стоило. Но я так надеялась. Я так надеялась!

Но вместо этого я только повторяла и повторяла:

— Что, если ничего не получится? Если у нас ничего не получится? Что будет тогда?

Последнее, что он спросил у меня, было:

— И ты проделала весь этот путь, чтобы сказать, что не выйдешь за меня замуж?

А я ответила:

— Я проделала весь этот путь, потому что хотела сказать, что выйду за тебя замуж.

После этого он ушел.

Назавтра ничего не случилось.

На второй день ничего не случилось.

На третий день он не позвонил.

На четвертый день он мог позвонить, но меня уже не было в Чечне.

* * *

Никогда — ни до, ни после — я не проявляла столько силы, как в те последние тихие дни в Оксфорде. Все до последнего рывка, до последней мысли я отдала той же цели, что и несколько месяцев назад: не думать об Амади; только теперь было хуже.

Я защитила диссертацию и в конце августа, не сказав никому ни слова, уехала в Америку. Контракт был подписан на семь лет, и до недавних пор мне бы казалось, что это все равно что навсегда. Семь, двадцать или сорок пять, для меня не имело значения, потому что кроме времени в моей жизни больше ничего не оставалось.

В этот момент начинаешь понимать, что значит фраза «нечего терять». Не тогда, когда я бесконечно набирала его номер, чтобы слушать пустые гудки. Не тогда, когда бравировала перед его сестрами, не показывая, что мне страшно. Не тогда, когда еще можно было принять кольцо. Потом. Сейчас. Потому что до этого момента еще что-то оставалось, потому что до этого момента еще оставалось будущее, еще оставалось то, что могло бы случиться.

И тогда понимаешь, как в этих молодых и злых рождается моя ненависть. Потому что нужно потерять абсолютно все и даже надежду на это, потому что нужно перестать испытывать привязанность, любовь, тоску или страх. Потому что тебя уже ничего не испугает. Потому что ты сама отказалась от того, что могло быть — из страха, что и это не сможет тебя согреть и заставить почувствовать себя дома.

Глава восьмая, в которой происходит то, чего и стоило ожидать

В шесть часов мы возвращаемся в отель, и до конца дня у меня остается одно-единственное задание: появиться ровно в семь тридцать на вечеринке в баре на крыше, сфотографироваться вместе с Карлоу пару раз и сразу же исчезнуть. После этого я могу возвращаться к себе в номер и ложиться спать.

Но ради этих пяти минут под камерами придется еще не меньше часа потратить на то, чтобы правильно выглядеть. Все эти мероприятия, которые организует Карлоу, несут фирменную печать его деятельности последних лет: сочетание, совмещение большой науки и атмосферы глянцевого журналов. Всех в лаборатории, кажется, я уже говорила, одевают стилисты; через пять минут ко мне должна будет зайти девочка, которая приведет в порядок волосы, а остальное я уже сама.

Девочка приходит точно в назначенное время, ее зовут Дина, и пока она укладывает мне прядь за прядью крупными, небрежными локонами, я, закинув еще пару таблеток, крашу черными тенями глаза, придавая своему образу столько драматизма, сколько возможно — хотя Карлоу, я уверена, и этого будет мало.

К семи пятнадцати я полностью готова и, бросая взгляд в зеркало, не могу не согласиться с тем, что сконструированный и просчитанный стилистами образ (хотя сегодня все еще думают, что я научный ассистент, который проживает жизнь, составляя статистические модели — черт, я опять начинаю говорить этим языком) завтра будет неоднократно вспоминаться и наложенный на увиденное при эксперименте, будет делать меня холодной, инопланетной и очень грустной, как будто у меня на плечах вес целого поколения, — и отчасти это будет правдой.

Но меня все это сейчас волнует очень мало. Больше всего мне бы хотелось снять с себя все эти геометричные жакеты из тонкой кожи, топы с баской, идеальные брюки и байкерские ботинки на каблук. Может быть, мне нужно перестать принимать всю эту дрянь, — думаю я, выбрасывая на ладонь еще две таблетки аддерола и запивая их водой из-под крана. Да, надо попробовать как-нибудь заснуть без таблеток, самой, нормально.

А когда я в последний раз вообще что-нибудь делала нормально? — возражаю я сама себе. Но ведь что-то у меня было до того, как я стала работать на Карлоу? Что-то свое? Ведь до эксперимента у меня была какая-то своя жизнь, в промежутках между наплывами отчаяния и постоянными переменами?

И я вспоминаю, что ведь действительно — что-то у меня было. Я занималась антропологией — наукой, которая учит нас вживляться к человеку под кожу и становиться им. Я ездила по всему миру, наблюдая, задавая вопросы, расспрашивая о самом сокровенном и пытаюсь составить из всех этих историй цельную картину. Я спрашивала людей о том, кто они и какой стране принадлежат, отчасти в надежде, что однажды услышу что-то, что относится и ко мне, что скажет и мне, где мой дом. Но не находила и только наматывала сотни километров на поездах и самолетах, и продолжала надеяться.

А ведь именно благодаря этому в моем мире и появился Амади — он приехал в Оксфорд из Грозного для работы в огромном международном проекте по Северному Кавказу, слишком огромном, чтобы мы могли найти друг друга там — но в первый же вечер, когда он приехал в Оксфорд и вышел посмотреть город, мы нашли друг друга.

А ведь может случиться так, что завтра, во время демонстрации, среди зрителей окажется и Амади? Ведь мог он приехать на «эксперимент века». А может быть так, что когда закончится эксперимент Карлоу, я смогу продолжить то, что бросила, потому что нет ничего интереснее и увлекательнее, чем работать в «поле», чем идти наощупь и находить нужную информацию, чем видеть, как твоя работа наполняется живым дыханием и превращается в факты, кристаллизуется в идеи, проходит шлифовку и обработку, а потом возвращается назад, чтобы претерпеть проверку и мягкой пеленой опуститься и растаять среди тех людей, в чьих домах ты сидел часами, становясь частью этой семьи и пытаешься думать так, как они думают; быть ими, превратиться в их историю; вдыхать и выдыхать воздух, которым дышали их предки, и переживать их войны; и снова собирать все это вместе, накладывая слои времен друг на друга и переплетая их, чтобы четче видеть закономерности и пробелы; находить пересечения, взаимосвязи и складывать картину целиком, — и все это так чисто и ясно у тебя в голове, что этот переход материи в идею, и обратно, кажется таким идеальным и умиротворяющим, словно объясняет тебе, понятно и просто, откуда уходит и приходит все в мире, — даже если это лишь иллюзия.

«Дом, — говорю я себе зеркальной, — это то, что может быть у других, но никогда у тебя».

Не потому что я — это всегда не я. Опасность нескончаемого путешествия в том, что если не за что держаться, с каждым перемещением становишься другим человеком и, переходя из одной точки в другую, теряешь где-то посередине одно свое «я» и заменяешь его другим, найденным по дороге. Уже аэропорт накладывает свой отпечаток, и проходя через коридор к стойке паспортного контроля, чувствуешь, как напрягаются для улыбки лицевые мышцы, а походка приобретает твердость и пружинистость.

В мире, который можно перевозить в багаже и в котором отсутствуют любые ориентиры и привязки, единственное, что остается, чтобы не потеряться окончательно, — это придумать себе правила и отделить ими территорию твоего мира от окружающего хаоса. Ведь хоть что-нибудь, что-нибудь одно хотя бы! — должно оставаться неизменным, иначе теряется всякая вера и желание жить. Это как ограничить территорию, разделив черное и белое — и никаких оттенков, никакого серого, иначе все распадется, вернувшись в хаос, который до сих пор преследует меня, стоит лишь открыть глаза, а самый страшный кошмар, от которого в ужасе просыпаюсь, — это ощущение, будто ветер подхватил меня и несет по кругу, а я не могу вырваться. Нет ничего страшнее, чем оказаться с хаосом наедине.

Лежа по ночам в постели, ожидая, пока включатся пятнадцать миллиграмм зопиклона, я представляю свою жизнь как череду гостиничных номеров. И хотя, возможно, в вас уже проснулась жалость, поверьте, это не так плохо для человека, который соглашается считать домом расстеленную постель. Так же, как кто-то вечер за вечером заходит в ванную комнату в своей квартире, одним и тем же, доведенным до автоматизма жестом включая свет и видя себя в зеркале, на фоне всегда той же самой, вечно знакомой стены — я привычным жестом достаю свои вещи из чемодана, ставлю в пустой стакан для зубных щеток свою — и вешаю на дверь табличку «не беспокоить» там, где другие сказали бы своим: «Я хочу немного поспать, сделайте музыку потише».

Постоянно переезжая с одной съемной квартиры на другую, из одного гостиничного номера в третий, останавливаясь то в крыле для участников конференции такой-то и такой-то, то в гостинице для гостей проекта еще одного, то в студенческом общежитии или общежитии для постдоков университета очередного, я считаю, что в доме порядок, если блокнот и ручка с логотипом отеля находятся строго рядом с телефоном на прикроватном столике, бутылочки с шампунем и гелем для душа в ванной выстроены по линейке, а бланк для отправки заказа в прачечную лежит в шкафу.

В семь двадцать пять — звонок в дверь, и в комнату деловито входит Лариса. Окинув меня взглядом, спрашивает:

— Идем?

— Идем, — говорю я. Я настроена сегодня как-то очень решительно.

В зале шумно и людно, играет стильный лаунж; все похоже на светскую тусовку, а сочетание декольте и профессорских свитеров выглядит живо и интересно; все-таки Карлоу молодец. Чтобы занять руки на время светских бесед, я беру у официанта бокал с шампанским. Около сцены стоят Ричард, директор нашей программы, и Карлоу; когда я подхожу к ним, Ричард суетливо пожимает мне руку и говорит, что просто не может дождаться завтрашнего дня.

— Я тоже, — сухо замечаю я.

Но Ричарду все нипочем — он не слышит моего тона и продолжает как ни в чем не бывало рассказывать про то, какие догадки у него есть насчет завтрашнего семинара. Зато Карлоу не провести.

— Давайте сфотографируемся вместе, — предлагает он, и пока мы позируем, спрашивает одними губами:

— В чем дело?

Готового ответа почему-то нет, и я медлю.

— Да все в порядке. Устала немного.

— Еще минут пять или десять, ждем фотографов из Вашингтон-пост и Вог.

Пять минут растягиваются на тридцать, и приветливо всем улыбаясь, я изнываю от усталости и желания вернуться в номер, включить музыку или почитать что-нибудь — и может, принять еще пару таблеток. Черт, я же решила завязать с аддеролом. Ну, может быть, не сегодня — завтра. Сегодня все-таки страшный вечер.

Карлоу мелькает здесь и там и наконец снова появляется рядом со мной.

— Все, можешь идти отдыхать.

— Отлично. Тогда, выходит... до завтра?

— Да, — кивает он. — И я тебе позвоню через полчаса, пройдемся еще раз по всем деталям.

— Хорошо.

Мы выходим вместе, Карлоу нажимает кнопку «Р», а Лариса провожает меня до номера.

— Хорошо, рано закончили, — говорит она. — Можно выспаться перед большим днем.

— Да, это верно, — отвечаю я.

— Нервничаешь?

— Да нет. Я же не знаю, что будет.

Лариса провожает меня до двери, но не прощается, не уходит, и в воздухе висит неловкая пауза.

— Если что-то нужно будет еще сегодня, вызывай.

— Спасибо, что вы, все в порядке. Осталось только сегодня. Все правда в порядке.

«Она тоже знает», — подумала я, глядя ей вслед.

Я еще вижу, как Лариса медленно удаляется по коридору, как она заворачивает за угол, как полоска воздуха между мной и остальным миром сокращается; и — все — позволяю взрыву накрыть себя. Разъяренный Виктор рассматривает крапинки на стене. Как в замедленной съемке, он разворачивается, я вижу, как проходит по его лицу едва заметная дрожь, как кривятся красиво очерченные губы, как сжимаются кулаки, как вспыхивают глаза.

* * *

Звонит телефон.

— Алло, — поднимаю и все еще смотрю на себя в зеркало, замечая, как вспыхивают глаза, как рука заметно напрягается и пальцы сжимают трубку, а мой собеседник в эту минуту, по ту сторону, стряхивает пепел с сигареты тонким движением человека, привыкшего к тому, чтобы за ним наблюдали; теперь он даже со мной, за кулисами, не может от этого избавиться, не может перестать,

потому что шансы на выигрыш слишком велики и осталось совсем немного — один, нет, два шага, и нельзя расслабляться, хотя ведь все под контролем, ей можно доверять, она не подведет, уверен, эта справится, не то что все предыдущие, с таким-то характером, можно быть спокойным; и в долю секунды вернувшись мысленно ко мне, по эту сторону, спокойно, как обычно...

— Привет, лапочка. Ну как у нас дела?

— Лапочка, — повторяю я задумчиво. — Как у меня дела...

— Алло, — говорит голос в трубке, — я что-то плохо слышу, все в порядке?

Я вспоминаю, как Карлоу поправлял свитер, перетягивая кончиками пальцев вырез так, чтобы было соблюдено правило золотого сечения, а схватив мой взгляд, застыл на секунду, пойманный с поличным; и сразу же приходил в себя и смотрел на меня таким особенным, глубоким взглядом, смысл которого мы оба знали и знали, что мои дни отсчитаны и текут, и однажды я проснусь, и никто, даже сам Карлоу, не сможет мне приказать, что делать, помешать или остановить — и только от него, от Карлоу, зависит, какое решение я выберу сама, зависит прямо сегодня, прямо здесь и сейчас, потому что даже он потом будет бессилен. Все равно что мертв. И я стряхивала с себя этот взгляд, а Карлоу резко отворачивался, делая вид, что этого диалога не было и просто слезятся глаза (ведь все-таки уже совсем немолод), а худая ассистентка просто задумалась, но ей, в общем-то, за это и платят, так что все в порядке, давайте просто продолжать, не стойте на месте, надо поправить свитер.

— Что-что вы говорите? Алло, алло, я не слышу.

Наступает долгая пауза, такая долгая, что за эти затянувшиеся секунды и я, и Карлоу успеваем уже понять, что что-то не так, так просто не бывает такого долгого молчания, это значит, что-то случилось, и в ту секунду, когда у Карлоу начинают мелко дрожать пальцы, и кольцо на безымянном левой руки ударяется двукратно о поверхность стола, а лоб разрезает глубокая морщина, я слышу, как он вздыхает, чтобы выбросить резко вопрос, и...

— Алло.

Доктор Карлоу задерживает дыхание.

— Алло, — осторожно отвечает он.

— Алло, — повторяю я. — Кто вы?

И он понимает тут, что просто так плохо слышно, что я не могу разобрать его голос, и с облегчением левая рука снова опускается на стол, а голос опускается на полтона:

— Еще раз, это Карлоу, вообще не пойму, что происходит...

И я прерываю его:

— Я не могу вас вспомнить, Карлоу. Кто вы?

— Что?

— Кто вы?

Молчание.

— Что происходит? Немедленно перестань! Алло, алло!

— Извините, я не пойму, о чем вы, — говорю я и кладу трубку.

Через двадцать секунд телефон звонит снова, и я поднимаю, как ни в чем не бывало, говорю деловым голосом:

— Алло, — как будто у меня на линии еще семьдесят человек и всем им я сейчас и легко помогу.

— Что происходит? Что такое? У тебя все в порядке? — я чувствую, что

Карлоу уже начинает задыхаться, что ему тяжело, что несмотря на тонкий свитер и гимнастику каждое утро, возраст все-таки дает знать о себе, и внезапное волнение...

— Зачем вы мне звоните? Я не знаю вас. Оставьте меня в покое.

— Тебе плохо? Я выезжаю.

— Мне не плохо, я просто не понимаю, зачем вы мне звоните. Кто вы?

— Доктор Карлоу. Ты что, не знаешь, кто я?

— Бред какой-то.

Я кладу трубку во второй раз и сразу же поднимаю, не давая звонку прозвенеть.

— Опять вы?

— Не смей выходить из комнаты, слышишь? Никуда не выходи, не говори ни с кем и никого не впускай. Все поняла?

Пожимаю плечами, хотя он этого и не видит, так пусть почувствует.

— Да у меня, в общем-то, и так все хорошо.

— Пообещай мне, что ты не выйдешь из комнаты в течение следующих тридцати минут!

— Да я вообще не понимаю о чем вы, доктор. Не нужно мне никаких тридцати минут, — сдержанно говорю я, — сидите дома.

— Черт побери эту девчонку, — кричит Карлоу уже не мне, а кому-то другому, другим. — Ты там еще? Сейчас позову Ларису, Лариса придет!

— Подождите три минуты, — говорю я, — мне нужно кое-что проверить, — и после паузы добавляю: — Если не подождете, я выйду из комнаты.

— Я жду, — ледяным голосом отвечает профессор Карлоу после короткой паузы.

А тем временем я слышу, что параллельно он нажимает кнопочки на своем мобильном. И говорю:

— Вы что, не слушаете меня? Я же говорю, мне надо вам что-то сказать, подождите ровно три минуты, не исчезайте никуда, я боюсь одна.

И вдогонку мне несется:

— Сумасшедшая, уже поздно ведь все равно, слышишь?

Я выбегаю из номера, вызываю лифт, мысленно просчитывая все возможные варианты действий Карлоу, их всего четыре, на его месте я бы поступила именно так, я надеюсь, что он так и сделает, да, но при любом раскладе у меня есть минут двадцать, может, полчаса, портье наверняка не сразу сообразит, в чем дело, есть еще охрана, но этим я сейчас скажу. Парадоксальность ситуации заключается в том, что все немногочисленные меры предосторожности направлены против того, кто может захотеть помешать эксперименту извне, но никак не изнутри. Я нажимаю круглую кнопку с буквой «Р», спускаюсь прямо к своей машине и солнечно улыбаюсь охраннику. На все это уходит не больше тридцати секунд.

— Прогуляться, мэм? — спросил меня мальчик лет двадцати, с нелепо топорщившимися, слишком широкими плечами униформы.

— Покатаюсь немного, — ответила я, — а то скоро здесь будет сумасшедший дом, — и помахав рукой, резко, имитируя ретивость неопытного водителя, выезжаю на Вашингтон-стрит.

Направление уже не имело значения, так что я просто выскочила на ближайшую развязку и с удовольствием вдавила в пол педаль газа.

Дома будущего, чикагские небоскребы сопровождают меня вдоль реки, постепенно переходя в скучные однообразные коробки. Как и везде, визитной карточкой в Чикаго был только центр города, а дальше жизнь горожанина из небогатого района ненамного отличалась от жизни такого же среднестатистического жителя любой другой страны. Под колеса машины выкатился футбольный мяч, и я резко затормозила, чтобы двое мальчишек и девочка лет пяти могли подобрать его.

Современная архитектура вместе с ощущением вечного холода уже остались далеко позади. Покрутив кнопку, я поймала радио и посмотрела на часы. Даже при самом оптимистичном раскладе вряд ли у меня было больше двадцати минут — скорее всего, уже скоро за мной замаячит черная машина, которая тихо и мирно вернет меня назад в Трамп. Учитывая завтрашнее событие, никаких карательных санкций можно было не бояться. Завтра я все равно стану другим человеком. Впрочем, у меня было еще немного времени.

«Надо же, второй раз за два дня — неплохо для прошлогоднего хита», — подумала я, когда в эфире снова появилась Лана с любимой старой песней, а стрелка спидометра потянулась еще выше. То самое тридцатисекундное воспоминание, не вышедшее в эфир музыкальных каналов, одна искра, которая могла взорвать мир.

Полуденное солнце обжигало, переплавляя тысячную толпу на площади в единую вязкую людскую массу. Я стояла на красной кромке стены, раскинув руки в стороны, и ветер продувал меня насквозь, выметая последние крошки страха и опасений за свое тело. Потому что лишь оно оставалось там, и когда Лана, стоявшая за моей спиной, обвивала меня рукой, то ли обнимая, то ли угрожая, все слова, которые она нашептывала мне на ухо, — и я могу вспомнить, как ее артикуляция, движение губ гипнотизировали камеру, — все это уже было так несущественно и так далеко. Вместе с порывами ветра национальный гимн, исполняемый десятками тысяч голосов, вырвал меня из ее рук и, перевернув тело в воздухе, как бумажную куклу, попавшую в эпицентр бури и страсти, бросил прямо в руки, объятия, пальцы, зубы, губы и голодные рты всей этой толпы. Влюбленные в меня как в идею, их всех объединяющую, все они жаждали обладать мной и стать мной, сделать свое тело моим телом. Настолько захватывал этот порыв, что я даже не услышала, не почувствовала своего крика, неслышного среди окружающего безумия, вырвавшегося, когда руки, державшие меня, вцепившись в меня, вгрызаясь ногтями, стали разрывать мое тело на куски.

И я уже не чувствовала ничего, только видела, как заалевшие рты полыхали от крови, когти стали ястребиными, кураж голода и страсти кружил головы, и сглатывая слюну, они нападали на соседей, чтобы урвать и себе частицу экстаза, — падая от переполнявшего восторга на колени и обнимая женщин, мужчин, детей, перемазанных красным, — алчущими губами. А мне, разобщенной в них и одновременно ставшей всеми сразу и поглотившей их, было так прекрасно, боже, так хорошо, как будто я — воронка смерча, бесконечное поле, сладкий ветер, тысячи рук, разрывающих мое тело; у них на губах, во рту, все как одно, сливаясь бесконечно, заполняя души восторгом, насыщая навсегда единой кровью и хлебом и утоляя жажду до последней капли крови, оживляя иссохшие исстрадавшиеся сердца; тела; души; города; желтую степную траву, пересеченную припыленными дорогами, и растаявшие в ней надежды.

Я никогда не была, я никогда не буду так счастлива.

Глава девятая и последняя — она, кажется, имеет место быть год спустя, и в ней я врываюсь на саммит «большой двадцатки» с непередаваемой речью — хотя неизвестно достоверно, я ли это или кто-то другой

Я не займу у вас много времени, честное слово; просто в перерывах между обсуждением украинского вопроса, сирийского вопроса, кавказского вопроса и прочих больших проблем мне бы хотелось завладеть ненадолго вашим вниманием и кое-что прояснить или, если хотите, предупредить. Мы все знаем, что время клинча супердержав уже прошло, так что пока вы ищете нового общего врага, чтобы центрировать свою геополитику, разрешите объяснить, что ваш новый враг — это я, и ваше новое оружие массового поражения — это тоже я.

Поймите меня правильно, когда я говорю «я», я имею в виду «нас», то есть тех, кого другие презрительно называют «подходящим материалом в условиях глобализации»; тех, с горящими глазами и неумной жадой знаний, кто не постоит за ценой вроде аддерола или риталина; тех, которые с вами будут говорить на вашем языке, потому что знают их пять или семь, а то и десяток. Тех, кто так привык мотаться по свету, что вполне уютно устроится и в безликом отеле, откуда будет продолжать разрушать ваш устроенный мир с привычными врагами, пока вы не знаете, как с нами бороться, а мы с вами — можем любым способом, потому что для нас, после плавильни глобализации, действительно уже все средства хороши, и мы — сами за себя. И самое главное, нам все равно. Правые или левые, с запада или с востока, нам все одинаково родные и одинаково чужие, и когда вы обвиняете нас в предательстве Родины, это нисколько нас не задевает и не обижает. Это ведь правда, это вы отняли у нас то, что называете своей Родиной, и ничего не дали взамен. Так что пока национальные государства борются друг с другом за то, что нам вообще не интересно, нас интересуют империи другого плана — те, где никто не будет говорить нам в лицо, что мы — безродные космополиты.

Конечно, это я говорю от себя и на своем языке, на том, что я слышала в детстве. Я — продукт экспорта своей уже несуществующей великой державы, которой — единственной — я чувствую себя обязанной, и я обещаю отдать долг. Я — такой же продукт, как автомат Калашникова или наши великие суицидальные писатели — вообще-то, если честно, мои товарные характеристики в сумме — это комбинация того и другого; но представляю себя на мировом рынке я как интеллект и продаю себя как мозги — предмет желания по ту и другую сторону Атлантики, что прекрасно скрывает мой главный потенциал и движущий стимул: неутолимую жажду разрушения, в которой я и такие, как я, сожжем все, что нам не дорого — то есть все.

Нам приписывают упоение блестящим положением. А по сути мы — карта Джокер, изгой большого мира. Мы сублимировали свою энергию в развитие интеллекта и силы воли, в способность сутками не спать, работая над разрешением невыполнимой задачи. В умение улыбаться, когда на самом деле собеседника хочется ударить по лицу. В способность продолжать, несмотря ни на что, стиснув зубы, потому что победа — это единственный исход, который «считается». Я, конечно, могу продолжать и продолжать, но все и так понятно, верно? Это те люди, и такие люди, которые вам угрожают. Мы — не прежние поколения, которые жаловались на все подряд и ничего не делали. Мы — это дети глобализации с острыми зубами. Вам есть чем ответить?

О нет, не думайте, что мы планируем великий заговор и ядерную войну; это все лишнее. Никакой войны не будет, вы впустите нас сами. Потому что —

посмотрите на меня: я умна, зла и обаятельна — в тщательно контролируемой мере, чтобы вы не подумали, что я недостаточно серьезна. И если этому всему еще можно сопротивляться, то печати вечного сиротства и беспризорничества на моем лице (и в душе, конечно, но этого вы не видите, потому что думаете, что у меня ее нет, равно как и способности чувствовать боль, радость, отчаяние или любовь: черта с два!) вы не сможете ничего противопоставить. Потому что это — как бы вы ни отрицали — бесконечная, невыносимая боль, которой невозможно сопротивляться, которая сводит с ума и снимается только разрушением. А вы знаете, что это ваша вина. Ваша, мистер президент, ваша, госпожа канцлер. И ваша, дорогой премьер-министр. И ваша тоже, конечно, спасибо за подсказку. Я — ваша сирота. Мы — ваша ошибка. И если вы не знаете, сколько раз маленькой девочке нужно плакать навзрыд в самолете, чтобы постоянное чувство расставания и потери не стерлось и не стало привычным ноющим ощущением для молодой женщины, которая это все пишет сейчас, — это не моя проблема. Это ваша стратегическая ошибка.

Я вообще-то родилась и выросла в стране, где однажды две зимы подряд не было света и горячей воды, где чайник кипятили над костром на улице, а спали в зимней одежде. А однажды на моих глазах четырнадцатилетний (хотела сказать мальчик — куда там) русский muzhik забил другого до полусмерти монтировкой из-за пачки сигарет. Ну а потом мне досталось эмигрировать, и на день третий, рассматривая с верхней полки двухъярусной железной кровати потолок барака номер шесть и чувствуя, как Данте и Шекспир растворяются за колючей проволокой лагеря для этнических немцев-переселенцев из Казахстана и прочей новоевропейской шпаны, я решила послать всех вас к черту. Потому что я не буду пятисортным гражданином второсортной эпохи лишь потому, что вы так сказали, и не буду проверять, сколько лет мне понадобится, чтобы меня в этом убедили. Я буду отрицать одну эмиграцию другой, следующей, и превращу эту бесконечную потерю в метафору, потому что тропы впечатываются в душу сильнее, чем слова, я это знаю, это моя профессия. Я буду передвигаться бесконечно, не задерживаясь надолго ни в снобистской разнеженной атмосфере Оксфорда, ни в кукольном Бамберге, ни в свежем и жестком Грозном, потому что теперь каждое расставание укрепляет мою решимость и делает меня еще более опасным солдатом моей группы. И вот теперь я благодарю Америку за то, что в этой стране никто не смотрит на меня как на чужую, потому что здесь чужой и родной — это одно и то же. Но я честно предупреждаю, что и это временно, и это опасно, потому что я не задержусь ни здесь, ни где угодно еще. Мы все не задержимся.

Так что прошу прощения за то, что я отвлекла вас от решения очень важных мировых проблем. Просто подумала, что стоит указать на ту проблему, о которой вы еще не подумали. Может быть, я хочу, чтобы вы разрушили нас, пока мы еще не подняли голову, может быть, еще каких-то пять, десять лет, и станет поздно. Может быть, я хочу, чтобы мы проиграли, потому что тогда мы все обречем дом и покой. Может быть, мне надоело мириться с тем, что боль — это нормально, что боли — нет. И да, конечно, прошу прощения за тон. В двадцатом веке приходилось кричать о наркотиках и сексе, чтобы быть услышанными. У нас свои слова и угрозы, но все равно приходится заимствовать интонации у Паланика и Эллиса, если не у Павлика Морозова (простите, плохая ассоциация), чтобы заставить кого-нибудь оторваться от иллюзии демократии, свободы речи и прочей ерунды.

Вам есть что сказать в свое оправдание?

Ольга Сульчинская

МЫ вместе едем в скором времени

Купе

В зеркале гаснут, шипя, огоньки,
Ширится ночь, набирая дыханье.
В сонном купе мы на расстоянье
Вытянутой руки:

Можно дотронуться — только нельзя.
Можно дотронуться — и невозможно.
Будем дышать в темноте осторожно,
Будем считать, мы просто друзья.

Дребезг неясный, лёгонький звон,
Видно, стакану велик подстаканник,
«Милый ли спутник, мимо ли странник,
Кто же ты, кто ты?» — гадает вагон.

Если ты руку протянешь ко мне,
Два мироздания пойдут на сближенье,
Мы навсегда переменим движенье
Тёмной земли... Или это во сне?

Бьёт электричеством яркий белок,
Станция меркнет в чернильных осколках.
Спят безмятежно соседи на полках.
Выше и выше летит потолок.

Сульчинская Ольга Владимировна — поэт, переводчик, прозаик. Родилась в Москве. Окончила филологический факультет МГУ и Высшую школу гуманитарной психотерапии. Работала редактором, переводчиком, копирайтером и преподавателем психологии. Автор трех книг стихов. В «Дружбе народов» печатается впервые. Живет в Москве.

Танго безвестности

Волна рисует на бегу
Memento mori.
Уедем жить на берегу
Чужого моря,

Где ни прохожих, ни зевак,
Ни лиц известных,
И даже с удочкой чудак,
И тот из местных.

Приятным глазу будет свет
И дом уютным,
Куда ни писем, ни газет
Не принесут нам.

Никто в воспоминаньях нас
Не упомянет,
Мы сами не заметим час,
Когда не станет
Нас.

Письмо рыбаку

Мы все одинаковы. Ты не почувствуешь разницы,
Касаешься пальцами или ласкаешь ресницами —
Одна только женщина в сердце смеётся и дразнится,
И в поздние сумерки входит с деревьями, птицами,
Как в толщу воды. И у всех у нас злые и детские
Ужимки, и то же вязанье с тревожными спицами,
Мы все так похожи! А неводы рыболовецкие
Не интересуются бедными рыбьими лицами.

Песня инцеста

Выколи мне глаза, сестра Иокаста,
Выключи глаза, Иокаста, серая птица!
Разум теряю и над собой не властна,
Кровь закипает в жилах моих, сестрица.

Век не глядела бы, чтоб не хотелось гладить
Нежную кожу, розовых уст касаться.
Не отвернуться, с сердцем никак не сладить.
Выколи мне глаза, сестра Иокаста.

— Поздно, сестрица Федра! Готовь обновку.
Спать ли, не спать ли вместе — одна дорога:
Шей себе саван да запасай верёвку.
Страшно мы любим, зато мы и судим строго.

Каждая пусть получает, что захотела.
Стой, царица, на пасынка всласть глаза.
Злое желание съест молодое тело.
Кони, унесшие Лая, ждут слов Тезея.

Метафора

Рядами проходят женщины,
Одеты в красные платья. Подолы
Метут пыльную землю.

Первыми бегут девчонки,
Мелькают босые пятки,
Мечутся бусы.

За молодайками вдовы, старухи.
Ветер длинные волосы,
Седые, колышет.

Все они вскидывают локти, поднимают руки
И — ряд за рядом —
Щёлкают пальцами,
Всё быстрее!
Так начинается дождь.

Скорый

Мы вместе едем в скором поезде,
И повести свои для нас
Выводят снеговые волости
До слёз, насколько хватит глаз.
Мы вместе едем, в скором времени
Чтоб обменяться наконец
Судьбой, ладонями, коленями
И — рафинад на леденец.
А тот, кто после выйдет в Питере —
С оленями на сером свитере
И неподъёмным рюкзаком —
И небывалый, и обыденный,
Как будто со спины увиденный...
Да ты и не был с ним знаком!

Евгений Алёхин

Восхождение

Повесть

Одним из немногих стихотворений вне учебной программы, которое я знал в свои четырнадцать, было «О разнице вкусов». Отец его очень любил, часто читал целиком или цитировал фрагменты, вот я и запомнил. А когда увидел фото автора в передаче «Серебряный шар», сразу сказал:

— Это же Кузьма, мой одноклассник!

Я даже пытался закрепить за Колей Кузьминым новое прозвище — «Маяковский», — но для всех он остался Кузьмой.

Он был старше всех в классе и оправдывал свою «старость» тем, что заболел не вовремя и пошел в школу на год позже, а уже в январе, в первом классе, ему исполнилось девять. Но мы, конечно, дразнили его второгодником. Впрочем, Кузьму мало беспокоили такие подколы, единственным, что он почему-то явно не любил и за что мог дать по морде, было обращение «Кузя». Можно было сказать «Кузьмич», это он прощал, но «Кузя» его подбешивало. К нам Кузьма попал в восьмом классе, и за два учебных года мы с ним стали приятелями, но не друзьями. Меня Кузьма был старше ровно на полтора года, день в день. 20 января 1984 — 20 июля 1985. Это очень серьезная разница, когда ты подросток, для меня он был авторитетом, я невольно подражал ему, часто брал его фразы на вооружение. За ленивой афористичностью Кузьмы и безразличием к учебному процессу, скоростью реакции, умением подобрать нужное слово в любой ситуации стоял неведомый порочный опыт, к которому я тянулся.

Если бы вы попытались стрелкнуть сигарету у Кузьмы на улице, когда сигарет у него не было, он бы невзначай бросил через плечо, не замедляя шага:

— Один папирос и тот прирос.

А вы бы стояли, как вкопанный, пытаясь понять, действительно ли прозвучал такой каламбур или вам послышалось? Надо ли отстаивать свою честь или лучше не связываться с этим коренастым пареньком? Тяжелые кулаки на

Евгений Алёхин родился в 1985 году в г. Кемерово. Окончил среднюю школу, сменил несколько мест учебы и ряд профессий, пытаясь держаться на расстоянии от божьего образа жизни, но все же нашел себе место среди представителей «креативного класса». Написал четыре книги прозы, выпустил несколько рэп-альбомов, основал свое издательство, участвовал в создании художественных фильмов в качестве актера, сценариста и режиссера. В настоящее время живет в Москве. Публикация в «ДН» — рассказ «Подробности одиночества», № 4, 2011.

длинных руках, пытливый и умный взгляд, усмешка человека, который прохаживал жизнь, боевой шрам на носу. На самом деле, никакой не боевой — старший брат Кузьмы размахивал ножом-бабочкой и случайно чиркнул по носу, но результат выглядел очень красиво, внушительно. Часто я провоцировал Кузьму, и он без злобы меня поколачивал. Особенно ранней осенью и поздней весной, в сухие теплые дни, было хорошо после уроков подраться в парке. Лишь пару раз мне удавалось пробить его оборону, увернуться от рук-молотов, пробраться к туловищу и свалить на землю.

Но максимум, чего я добивался, комментарий вроде такого:

— Лучше заканчивай. Долго держать не сможешь.

Обычно мы вставали, отряхивались, хватали свои школьные принадлежности и дальше спокойно шли домой. Он быстро перевоплощался из воина в поэта. Только что сосредоточенный и твердый как скала, Кузьма уже расслабленно продолжает некогда оборванный рассказ о поездках на дачу с дядей и старшим братом:

— Я вышел покурить, поспал у ограды, вхожу обратно. Встаю в коридоре, как вкопанный: мой дядя прямо на лестнице бьет своей бабушкой телке по лбу.

— Зачем по лбу? — удивляюсь я.

В моем воображении возникали люди, буднично занимающиеся развратом и живущие в нем, непостижимые, как речные насекомые.

— Ну ради прикола. Расчехлился и для разминки стучит ей членом по башке. Я говорю: «Мозги ей не вышиби, дядя!»

В сексе важно быть изобретательным, — мотал я на ус. Всегда я был очень доверчивым, и, скорее всего, Кузьма специально сбивал с толку, понимая, что для меня эти истории — инструкции к действию, что я готовлю арсенал, и ему хотелось снарядить меня в путь к большому сексу самой сомнительной и нелепой инструкцией.

— А ты? Когда уже расчехлишься? — спрашивал я, тут же, как попугай, повторяя новомодное слово.

— Пока не удалось, — отвечал он с искренней досадой. — Была неудачная попытка с одной целочкой. Только ткнул, а она закричала: «Мне больно, я не буду!»

— А сколько ей было лет?

— Шестнадцать. Думал, уже верняк, но попалась нетронутая.

Такая откровенность после драки заставляла меня не только восхищаться его историями, но и сопереживать герою-рассказчику. Несмотря на всю крутизну, Кузьма еще не получил главный приз. Это успокаивало, заставляло тщеславно надеяться, что я смогу превзойти своего учителя жизни на любовном поприще.

Вот бы успеть этим летом. Если я сделаю это до своего пятнадцатилетия, никогда уже мне не сидеть с кислой рожей на втором плане жизни, — вот так я думал. Но возвращаясь к Кузьме, я должен сделать важное признание: он стал для меня одним из самых влиятельных людей в жизни, я видел в нем сильного старшего брата. Я подражал ему, его стилю, а расплачивался своей помощью в учебе и искренней любовью к его рассказам.

* * *

Мероприятие в ДК мне быстро надоело. Директриса говорила что-то в микрофон, называла имена выпускников. В основном говорила для одиннадцатого класса, нас, девятиклассников, только вскользь поздравила и сказала:

— Надеюсь, большинство останется учиться дальше. Мы вас ждем.

Меня правда ждали, и директриса, и учителя, даже в шутку грозились не давать аттестат, чтобы остался в школе. Сам я пока не знал, что делать, вроде бы и хотелось уже распрощаться с ними, но у нас в семье было принято получать высшее образование. Десятилетка в школе, вуз, честный труд, пока не сляжешь в гроб, и никаких лишних мыслей. Даже моя родная сестра-бунтарка уже заканчивала институт культуры, сводный же брат учился в КемГУ на матфаке, а сводная сестра поступила в институт пищевой промышленности.

Предполагалось, что я буду изучать литературу (последнее время я втянулся в школьную программу) или математику. Или, может быть, информатику. Мне хотелось бы заниматься информатикой, я был королем в QBasic среди средних классов, даже пытался изучать «Паскаль», до тех пор, пока сводный брат не переехал к своему отцу вместе с персональным компьютером. К сожалению, учителя ИВТ приходили к нам ненадолго, чтобы получить отсрочку от армии, и преподавали спустя рукава. В итоге каждый раз я писал одни и те же простые программы, чуть-чуть улучшая их, заранее получал свою пятерку, играл на уроках, забывая навыки.

Все уходило на второй план, пока я думал о голых женщинах и плыл по течению. Решения откладывались на потом.

Директрисе и учителям было больше нечего сказать, на сцену вышли ребята из пятых-шестых классов, учительница музыки села за фортепиано, и началась самая ненужная часть мероприятия.

«Когда уйдем со школьного двора», — завывали ребяташки, мне стало стыдно, и я решил покинуть помещение.

На крыльце стоял Кузьма с сигаретой. Он сегодня надел брюки, светлую рубашку с коротким рукавом и галстук. Зачем он так вырядился, было непонятно, никогда прежде не видел его при таком параде.

— Вот это красавец! — сказал я. — Дай-ка затянуться. — Я взял у него сигарету и втянул несколько раз.

— Осторожней, детям столько нельзя, — сказал Кузьма.

— Сегодня буду пить, — пояснил я, — настраиваюсь на саморазрушение. Голова сразу закружилась.

— Пошли домой, что там делать? — предложил он.

— Может, буханем сразу? Есть деньги?

— Надо переодеться, — ответил Кузьма, — а потом можно и бухануть.

— Прости, — осторожно заметил я и подмигнул, — но ты похож на фразера. Он быстро хлопнул меня ладошкой по подбородку и поправил:

— На сутенера.

День был жаркий, мы вяло прошли мимо школы и вышли на стадион. Я спросил у Кузьмы, не хочет ли он пойти в десятый? Он только отмахнулся.

— Зачем? Ты у нас умник, ты и иди.

— Пошли, — говорю я, — потом вместе в универ поступим.

Он закинул бровь так, что она ударилась о его «ежик»:

— Рехнулся что ли?

— Но тогда ты должен мне один бой, — я даже схватил его за плечо. — Мне надо отыграться. Давай прямо сейчас? Рукопашная без борьбы.

Он скинул мою руку, огляделся по сторонам в недоумении. На стадионе никого не было, солнце пекло уже совсем по-летнему.

— Успеешь еще получить по башке.

— Да ладно, — у меня родилась необоснованная надежда на победу. — Я тебе прошу твой сраный долг, только давай немного побоксируем. Мне кажется, на этот раз тебе хана. Я созрел. Только галстук свойними.

Ему было лень. Но я знал, что он не сможет устоять, если подобрать нужные слова:

— Ты должен мне сотку, Кузя. Мелкий жулик.

— Ладно, — он бросил свой пакет на молодую травку. — Мне даже галстук не придется снимать. Дрался бы лучше дальше с Кучей, мазохист.

Почему-то я разволновался, как на собственные именины, вот уж сомнительный подарок быть поколоченным. Я прыгал кругами — возбужденная макака. У меня тоже были длинные руки, но я не умел правильно бить. Боролся хорошо, а бить не получалось, если я сильно ударял человека, самому становилось больно. Нужно было избавиться от этого. Я был настырным купальщиком, не умеющим плавать. Кузьма выставил одну ногу вперед, нашел опору, стоял, грозный и бронзовый, толком даже не подняв рук, но это не значило, что он был безопасен. Я подскочил, кинул обманку рядом с его ухом, резко ткнул в бок, срезал лишнее пространство и по инерции чуть не швырнул Кузьму через бедро, но он неожиданно сильно оттолкнул меня, отскочил, успев щелкнуть по челюсти, и сказал, будто одернул заигравшегося пса:

— Без борьбы.

— Извини, забыл.

Я нанес несколько ударов по его корпусу, вроде бы удачно, а потом Кузьма поймал мою руку, потряхнул меня всего, как куклу, крепко втащил в солнышко и бросил на траву. Я даже пернуть не успел, а он уже запрыгнул ногами мне на спину.

Похоже, он просто лично мне впервые продемонстрировал, на что способен.

— Успокоился?

— Нет, — промычал я.

Тогда он уселся на спину, крепко взял меня за шею и сказал:

— А у...бать и переспросить?

Я пытался повернуть лицо, чтобы ответить как-нибудь остроумно, но успел только почувствовать дыхание табачного дыма и увидеть фрагмент его верблюжьего лица да кусок галстука, и тут Кузьма ткнул меня рожей в траву, а сам слез. Он верблюд, я — лошадь-ублюдок, — подумал я зачем-то, — и нам не понять друг друга.

Только поднявшись, я почувствовал боль в груди и подбородке.

Когда мы подошли к моей калитке, он вдруг достал деньги из кармана брюк и сказал:

— Могу отдать тридцатку. Остальное ты уже получил.

— Очень щедро, — ответил я.

Он отсчитал три десятки. Так мы и расстались. Я немного постоял, глядя,

как Кузьма идет по улице к пятиэтажкам. Почему-то сердце билось, обидно было, что я не смог забрать у него сто рублей, или черт знает еще почему было обидно. Выклянчил тридцатку, что я за дешевка! Невыносимо захотелось отмотать драку назад, провести ее иначе, попробовать переиграть. И если этот путь ведет в тупик, то вообще отменить ее, отказаться от такой стратегии. Но на все у меня была одна попытка, я напросился на махач и погорел. Попутал чего-то, прибор для измерения реальности выдал неверные показатели. Казалось, что я смогу справиться, даже проучить Кузьму, этого беззаботного афериста, но куда уж мне.

Месяца два назад Кузьма потерял мой льготный проездной, и сотня, которую я назначил, — очень скромная сумма за такой зихер. По проездному даже в пригород, где мы жили, лишний рубль не надо было доплачивать, а из-за Кузьмы мне пришлось выслушать ругань отца, а отцу ехать в собес и выпрашивать для меня дубликат, который выдали далеко не сразу. С Кузьмой мы были немного похожи, можно было решить по черно-белой фотографии, что я — это он год или два назад. Вот я ему и давал проездной, без всякого недоверия, а он возьми да и скажи, что потерял. А еще добавил:

— Если придут мусора, ты мне его не давал.

У меня чуть глаза не выпали.

— Ты где его потерял, дурень?! — заорал я.

— Нигде. Просто запомни, что ты мне его не давал.

— Опять тачки вскрывали?

— Никогда я не вскрывал тачек. Только если негде передернуть, — сказал он и пошевелил кулаком в области ширинки.

Однажды Кузьма рассказывал, что они с братом вскрыли пару тачек. Мне представлялось, как они утаскивают магнитолу, провернув очередную делюгу, а проездной с моими ФИО остается лежать прямо на водительском сиденье. Так что тридцатка и пара ударов не тянули на компенсацию.

* * *

До дома Кузьма в этот день не добрался. Мы разошлись, и уже через несколько минут его окликнули возле подъезда одной из «змеек». Два выпускника девятого «Б» уже полезли в бутылку: Леджик и Козырь, а с ними затесался еще один типчик — Кипеш. Козырь был нашим местным сумасшедшим, пару раз остававшимся в свое время на второй год. Молчаливый, жилистый, смуглый, замкнутый, неадекватный, добрый, агрессивный, безотказный — все сразу. Козырь мог позволить себя эксплуатировать или усыпить, мог быть блаженным или бешеным. Но без провокации он не представлял ни для кого угрозы. Что касается Кипеша — вот от этого чувака я старался держаться подальше. В свои тринадцать он смачно ругался матом, смолил, как паровоз, мог перепить кого угодно и уже сформулировал для себя жизненную философию, которой по зиме поделился со мной.

— Жука, я не хочу прожить сто лет по совести, не хочу делать добро, не хочу становиться ученым, — сказал он мне, неприятно царапая нутро своим высоким тембром, пока я пытался унять головокружение от плохо разбавленного спирта, сидя на ступеньках подъезда. — Я лучше проживу тридцать пять лет в свое удовольствие. Я в рот долбил.

Мне тогда стало жутко от этого темного гедонизма по Кипешу. Вроде бы обычная гоповская ахиня, но эти слова произносил человек младше меня и таким уверенным тоном. Я через силу посмотрел в страшные глаза, потом перевел взгляд на посеревший будто от яда, поглощаемого через рот, резец Кипеша. Эта темная дырка рта загипнотизировала меня. Рябое лицо Кипеша исказила самодовольная улыбка, он затянулся крепкой сигаретой «Магна», от вкуса которой я бы блеванул. Действительно, Кипеш в тот момент жил в свое удовольствие и никак иначе.

Я отчетливо представляю этот еще детский, не сломавшийся, голос, звонко произносящий:

— Кузьма, иди к нам!

Кузьма оборачивается на голос Кипеша. Тот ставит щелбан себе в челюсть, жестом говоря: «давай бухать».

— Конечно, я за любой кипеш, — отвечает Кузьма.

Этот каламбур представляется мне кличем, на который придет беда. У меня такое чувство, будто я сам видел Кузьму в момент, когда он произносит эту фразу. Но я не мог этого видеть, конечно, я уже был дома. Кормил коз, дрочил, мылся, собирался пойти гулять. Это Леджик потом пересказал то, что знал о встрече Кузьмы с Кипешем и Козырем. Сам Леджик пробыл с ними недолго, только чуть выпил и пошел по своим делам, на собственное счастье отделившись от истории, через день попавшей в заголовки газет.

* * *

Мне позвонил Демон (он же Дельфин или Дельфик) и позвал отмечать Последний звонок на бульваре. Я сказал, что идти так далеко не очень хочется. В действительности я просто побаивался появляться на бульваре в теплое время года. С тем же успехом можно было отправиться в джунгли без какого-либо оружия.

— Пошли, будет Юлина подружка. Ты ей понравишься.

Это меня заинтересовало.

— А сколько ей лет? — спросил я.

— Почти шестнадцать. Не думаю, что она еще целка, — ответил Демон и заржал.

Он был ушлый тип в этом плане: рано начал и поменял уже несколько девчонок. Я на всякий случай прикрыл динамик трубки, чтобы похотливые интонации Демона не смогли проникнуть в дом.

— Ладно, зайду за тобой через полчаса.

— Давай быстрее. Я буду ждать во дворе. Твоя телка уже ждет тебя.

С Демоном мы подружились год назад. Сначала мы дрались, но не потому что не поделили что-либо, а по долгу. Класс на класс: восьмой «А» против восьмого «Б». Планировалось это как целое ледовое побоище, но в результате многие отпали, кто-то зассал, кто-то не захотел. Им, по сути, некого было выставить. Был Миша, настоящий силач, и был Козырь — с которым просто никто не согласился драться. Все остальные — проходные бойцы. Сперва мне предлагали идти на Козыря, но я сказал, что с психами не дерусь. Многие припомнили мне третий класс. Как-то раз я бил кулаками по парте и громко

орал, на потеху одноклассников, незаслуженно получив двойку. Так что говорили они, давай, будет отличное зрелище, если поставить двух психов. Но я настаивал, что стал нормальным. В действительности я вел себя почти адекватно уже несколько лет, не считая пары резких выпадов: против школьного психолога, проклятого гомосека, одно время достававшего меня расспросами насчет моего детства, и одной тупой учительницы. В результате эти выпады помогли мне подняться на ступеньку, ведь даже здоровяк Миша подошел пожать мне руку: мол, я видел, как ты ругаешься с ней, а потом хрюкаешь в рожу русичке, вот это номер ты выкинул!

Ладно, я не рискнул выйти против Козыря, и он отпал. По большому счету, все это затевалось, чтобы посмотреть, кто победит: Кузьма или Миша. Остальные два боя были простой мишурой, разминкой перед зрелищем, гвоздем программы. Я даже нарисовал в тот день на классной доске двухмерных бойцов и подписал: «Kuzma vs Misha».

Битва состоялась на полянке в парке, кто-то стоял на шухере, палил тропинку, если вдруг мимо пойдут взрослые.

Сначала с нашей стороны вышел Куча. Его противник был моей комплекции, и я тайно болел за него. Давай, мысленно говорил я пареньку из параллели, не бойся Кучу, он просто шумный здоровяк, пытающийся выглядеть лидером, внутри он очень пугливый, ему гораздо проще дается учеба, чем драка.

В учебе Куча был универсален, как и я. При желании мог добиться хороших оценок, хоть по русскому языку, хоть по химии. А на улице его легко можно было сломать.

Я знал, что если дать Куче резкий отпор и завалить, он будет беспомощным, большой жук, перевернутый на спину. Что он может заплакать от бессилия, что он боится удушья и получить в промежность, и боится настолько сильно, что готов сдаться при первой угрозе. До появления Кузьмы мы часто дрались с Кучей, еще с третьего класса, ради тренировки и вследствие ссоры, и я знал его, как облупленного: он быстро выдыхается. Уворачиваешься, заставляешь его немного попотеть, и он теряет бдительность, делаешь подсечку, зажимаешь шею — дело в шляпе. Даже сдавливать особо не надо: Куча сам закричит: «Задыхаюсь!»

Но противник Кучи этого, конечно, не знал, он хотел лишь продержаться пару минут, нанести несколько ударов, заработать очки и выкинуть белый флаг.

Потом вышел я против Демона. Он был даже худее меня, но не выглядел испуганным. Я понятия не имел, умеет ли он драться. Вообще его практически не знал, парень и парень. Когда мы стояли лицом к лицу, за секунду до начала, я спросил на всякий случай:

— Ты Мамонту можешь вломить?

Это внезапно пришло мне в голову, просто хотел уточнить, чтобы соразмерить силы. Я смотрел реслинг, и отчасти сегодняшнее событие расценивал как шоу, думая, что оппоненты (мы) могут посоветоваться перед боем. Так что, если Демон не мог справиться даже со своим одноклассником Мамонтом, которого я побеждал одним щелчком, мне бы стоило драться аккуратно.

— Я и тебе вломлю, — ответил Демон.

Тут же подпрыгнул, попытался пропнуть мне, но я поймал ногу и ударил по тормозам.

— Сука, — сказал он, и я почувствовал, что его ляжку пронзило током. — Счас получишь!

Он все время матерился, бормотал ругательства. Из-за его болтовни я не понимал, драка это или перепалка. Я привык драться в тишине, если мы с Кучей, Вовой, Кузьмой, со всеми, с кем мне доводилось драться, начинали болтать, значит надо было делать перерыв или прекращать.

Немного потоптались на расстоянии вытянутой руки, обмениваясь несильными ударами в корпус. Я прикрывал лицо — у меня тогда стояли брекететы на зубах, о которых я часто забывал. Вообще не стоило бы драться, пока их не снимут. Наконец Демон решил пойти в атаку, и это было его роковой ошибкой. Не знаю, какая техника ему бы помогла сейчас, наверное, только держа меня на расстоянии и целясь строго в болевые точки, он бы смог победить.

— На! — Демон кинулся ко мне, видимо, желая повалить на землю, но я чуть уклонился, и он упал сам. Я не растерялся, повалился сверху, и пока Демон извивался, пытался зажать его в капкан. Все уже было понятно — ему не встать. Если уж Куче редко удавалось выбраться из моей хватки, то Демон, наверное, даже за гантелю в своей жизни не держался. Скоро его голова была надежно зажата у меня под мышкой. Демон мог видеть только землю перед собой, а затылком чувствовать мое плечо.

— Сдавайся, — тихо и без злобы сказал я. Дал добрый совет. Но Демон еще минут десять не хотел сдаваться. Он дергал руками, что было очень сложно из этого положения, все не унимался.

— Гондон, рваный гондон, — хрипел он.

Даже раз изловчился и больно попал мне в ухо, тогда я сильнее сдвигал тиски и вжал его в землю.

— Деритесь, а не трахайтесь! — сказал кто-то.

Вдруг Демон перестал агрессивно дрыгаться. Я отпустил его и поднялся: все было кончено. Он плакал. Зачем было доводить себя до слез? Демон, весь красный, ни на кого не глядя, ушел с поляны в чащу. Он пнул дерево, постоял, закурил, зло повертелся на месте. Сел на корточки, затаивался, продолжая всхлипывать. Там и остался, из своего укромного места следил за боем Кузьмы и Миши.

Это было зрелищно. Кузьма пытался вымотать Мишу, ловко уворачивался от здоровенных рук и ног. Отскакивал, нападал, получал в рожу и бил сам. Миша был очень силен, к тому же умел драться. Кузьма не мог его загнать, не мог справиться с такой машиной, он ведь с голыми руками вышел на ринг против танка.

— Давай, давай, зарой его, — бормотал я.

Я даже двигался вместе с Кузьмой, быстро позабыв обо всем: и о поверженном Демоне, и о голых женщинах. Наконец Кузьма получил в висок. Рука Миши угрожающе описала дугу и превратила Кузьму в бесполезного зомби. Я сам почувствовал этот удар, у меня тоже ноги подкосились. Кузьма упал на четвереньки, красный Миша пинал его и бил по туловищу. Это было страшно, настоящее зверство, и мы с Кучей подбежали оттащить Кузьму, пока кто-то оттаскивал Мишу.

— Пусть сдается! — орал он.

Куча помог подняться Кузьме, я быстро говорил:

— Ты почти уделал его, пожалуйста, закончи.

— Не могу, — сказал Кузьма. — Все поехало. Моя башка.

Он отодвинул нас с Кучей в стороны, харкнул кровью на землю, поднял руки и сказал:

— Все, я сдаюсь!

— Да нет же! — вскрикнул я и ударил себя кулаком в ладонь.

Напряжение спало, все начали обсуждать победу Миши. Я не стал задерживаться, быстро пошел домой. Мой дом был совсем близко. Я выпил воды, умылся, и сел у окна в своей комнате. Я даже не знал, что меня больше расстроило: моя маленькая бессмысленная победа или большое поражение Кузьмы.

Мне было видно и слышно, как они шли в сторону пятиэтажек: сначала Кузьма с Кучей, потом Миша со своими одноклассниками.

Прошел и Демон, все еще всхлипывая.

На следующий день я подошел к нему в школе и протянул руку. Он недоверчиво поздоровался.

— Давай без обид, — сказал я.

Бороться для меня легче, чем бить человека кулаками, объяснил ему. Не мог же я ждать, пока он разобьет мне рожу? Скоро мы стали общаться на почве рэпа, обменивались кассетами. Демон внешне был немного похож на музыканта Дельфина, я стал так называть его иногда. Демон — было грубовато, Дельфин — лестно для того, кто знает наизусть тексты этого исполнителя.

Кузьма с Мишей тоже подружились, вообще после этой драки отношения между двумя параллельными классами стали теплее.

* * *

На бульваре установили сцену, на которой выступали лжеартисты. Сначала какие-то клоуны изображали группу «Отпетые мошенники». Толпа подпевала и двигалась. У нас была сиська пива «Балтика крепкое». Демон держал за руку свою Юлю, она молча и послушно таскалась за ним. Симпатичная, хорошая, я не понимал, что они в нем находят? Ее подруга, имени которой я даже не запомнил, «моя телка», хоть и ходила рядом со мной, держалась независимо. Было видно, что пока ей дела нет до моей персоны. Выглядела она неплохо, зрелая и губастая, только нос длинноват. Всем своим видом показывала: я сама по себе. Мы продвинулись ближе к сцене, я старался выпить побольше, чтобы унять волнение: вокруг было много шумных гопников, а чтобы завоевать подружку, надо было о них напроочь забыть, расслабиться.

— Хватай ее, — громко сказал Демон мне в ухо.

Я неуверенно кивнул. Демон дрыгал башкой в такт музыке, покуривая, прямо здесь, в толпе, а наши спутницы принялись неуклюже танцевать. Это было непросто — со всех сторон мелькали локти, морды, бутылки, зажженные сигареты. Молодежь отдыхала. Пиво быстро уходило. Не зная, как себя вести, пока не накрыло, я стал смотреть на сцену. Освободилось местечко, и я подошел вплотную к деревянному настилу, по которому топтались люди, изображающие пение.

После «Отпетых мошенников» заиграла песня «Гостей из будущего», и на сцену вышла накрашенная девушка. Лже-Ева открывала рот, танцевала, держа в руках пластмассовую розу. Я внимательно наблюдал за ней. Не сказал бы, что эта девушка мне понравилась, но я переживал за нее. Вот она, здесь, одна на

сцене, как в клетке, а вся эта шевелящаяся вокруг масса — монстры. Путь к бегству для нее был отрезан.

плачь плачь
танцуй танцуй
беги от меня
я твои слезы

К тому же мне нравилась песня, во мне открывалось второе дно, настоящая чувственность. Хоть Жи-Вилкс, рэп-тексты которого я заучивал наизусть, всегда ругал попсу, все же Ева Польша завоевала место в моем сердце. Я тайно любил ее песни. Стихи Евы рвали душу, но и местами были умны. В них был и ребус, она дразнила гопоту, отплясывающую под ее же музыку, — провоцировала, то прикидывалась лесбиянкой, то намекала на анальный секс.

Крепкое пиво действовало, делало сентиментальным. Какой-то гопник вдруг выставил пятерню для рукопожатия, представился:

— Сашок!

Я пожал его руку.

— У тебя последний звонок?

Я кивнул.

— Девятый?

Я еще раз кивнул. С одной стороны, было бы приятней, если бы меня приняли за одиннадцатиклассника, с другой стороны — если он искал жертву, то мне было на руку то, что я малолетка. Нет резона штормить школоту, этим даже не похвастаешься потом.

— Нравится? — спросил он то ли про песню, то ли про всю эту дискотеку.

Я на всякий случай пожал плечами, что он смог бы трактовать, как ему угодно.

— Веселись! — приказал Сашок, еще раз пожал мою руку и отвернулся к своим друзьям, а я продолжил наблюдать за лже-Евой. Лет семнадцать-восемнадцать, немного полная (под стать настоящей Еве), под глазами ей подрисовали голубые тени. Она заметила, что я изучаю ее, и зацепилась за мой взгляд. Определилась с точкой, так ей было легче. Я хорошо понимал лже-Еву. Неуютно здесь выступать, на этом бульваре, кривляться в этом прогулочном аду, зажато между двух автодорог с односторонним движением, по которым сейчас едут в свои крепости люди, задраивая окна машин и тревожно кутаясь в капсулы своих хрупких тел, а подростковые животные вопли все равно пробиваются под кожу.

Я старался смотреть с доброй улыбкой, как бы говоря: «Все нормально, Ева, я с тобой, не бойся, скоро это закончится».

Теперь она «пела» для меня, и мне стало все равно, что она не красавица. Под конец своего номера лже-Ева подошла к краю сцены и протянула мне розу. Я смутился и сделал было полшага назад, но она не опустила рук, ненатуральные лепестки тянулись ко мне всей силой своего алого в сером шахтерском городе, так иногда разукрашивают одну деталь в черно-белом фильме. Фонограмма смолкла. Тогда я взял цветок и, пронзенный нелепой радостью, вместо «спасибо» издал что-то нечленораздельное:

— Й-е-э-а! — этим тупым мычанием перечеркивая весь наш немой и чувственный разговор с лже-Евой, приоткрывая вид на своего внутреннего смердячего пса.

Мой новый знакомый, Сашок, увидев, что я «веселюсь» вовсю, как он и велел, хлопнул меня по плечу и сказал:

— Нормальный подгон!

Лже-Ева робко махнула на прощание и ушла за кулису. Я хотел обойти сцену, протиснуться как-то к крытой палатке-гримерке, но там стоял охранник. Мне ничего другого не оставалось: я вернулся к Демону с дамами и отдал розу «моей телке».

Предай журавля, схвати синицу; видимо, синица только этого и ждала, для нее это было сигналом. По ходу, ей никогда не дарили даже бутафорских цветов. Она сразу обняла меня, и мы принялись целоваться под «Руки вверх». В песнях Сергея Жукова были заложены коды, мне сразу мерещился запах вагины, хоть я и понятия не имел, каков он. Презируя творчество этого человека, я нехотя признавал его влияние, страшную силу. И даже спустя годы я слышу этот аромат не менее отчетливо. Сейчас, когда мне почти тридцать и первые признаки старения неприятно, но еще не очень настойчиво пошаркивают за дверью, я лишь кончиком нерва чувствую этот зуд, необходимость припасть, брызгая гнилой слюной, к свежим и невинным дырочкам, чтобы выпить через них вино юности. Сергей Жуков, должно быть, родился старым, его похоть никогда не была молодой и светлой.

Но в тот вечер я об этом не думал, передо мной было открытое влажное лицо, и гнусный голос из динамиков подталкивал к прыжку в этот бассейн.

но в свои лет шестнадцать
много узнала она
в крепких мужских объятьях
столько ночей провела

Мир, о котором я пытаюсь рассказать, до сих пор интересен мне, сейчас даже интересней, чем когда бы то ни было, и моя повесть — попытка протянуть ему (этому утраченному раю и себе тогдашнему) руку, пройти снова этот путь с новым опытом, опытом любви, осознанной на расстоянии. Повторить все еще раз, имея на руках шпаргалки.

На проигрыше я перевел дыхание. Краем глаза увидел, что Демон показывает мне большой палец.

— Спасибо тебе, Дельфик! — крикнул я, и скоро мой рот опять был занят губами телки.

Весь вечер я шарахался с ней по разным дворам. Целовалась она очень охотно и давала себя трогать. Мне было позволено лезть руками под блузку, гладить внутреннюю сторону бедер, прикасаться к месту схождения ног. Мы сосались и сосались, губы работали мягко и смачно, а длинный нос установили как необходимое для большего куража препятствие. Он мешал вертеть головой, слегка отталкивая при каждом повороте, но губы тут же сочно втягивали мое лицо обратно. На скамейках и на качелях, возле песочниц и милицейских будок целовались, пока голова не закружится, курили и делали маленькие перебежки. Моя телка сосала мне мочки ушей. Я неуверенно тянул ее в подъезд или кусты, но она отвечала:

— Не пойду.

Тогда я делал еще круг, прогулка, поцелуи, поглаживания, одна сигарета на двоих, поцелуи, очередная попытка.

— Давай зайдем в подъезд.

— Какой еще подъезд? — отвечала она.

Давай, думал я, пожалуйста, согласишься. Мне сейчас это очень нужно.

Я возвращался один совсем поздно. Прошел по пустому бульвару, пересек улицу Марковцева и дальше вдоль поля. Мимо тепличного совхоза. Еще пару лет назад я был ребенком, ходил по ограждению из панельных плит, изучал местность.

Можно было долго идти по краю ограды, с одной стороны — теплицы и технические постройки совхоза, с другой стороны — заросшие поля, а потом открывался вид на зону: охранники лениво приглядывали за зеками — те пилили и шкурили бревна, чинили бараки, замешивали раствор. Один раз я смотрел, как зеки, по пояс голые, играют в футбол.

Вошел в поселок. На улицах почти никого не было, а во мне не было страха. Тишину иногда нарушал какой-нибудь пьяный возглас, но тут же исчезал, не задевая и не нарушая покой. Почти получилось, я был близко как никогда, и в следующий раз получится. Мои губы еще так не опухали от поцелуев. Я еле волочил свои рот и ноги, пах еще не остыл, шляпа еще не понимала, что ее облапошили, все еще ждала прикосновений к мякоти. Мне не терпелось подрочить, я уже представлял, как разряжусь и лицемерно буду ругать себя: нормальные пацаны делают это с телками, а не в одиночестве. Я еще не научился прощать себе эту привычку, но уже почти понимал, что дрочить — нормально. Догадывался, что все врут. Однако я дал себе зарок хотя бы не изгаляться: делать это только рукой, как нормальный человек, а не извращенец. Не пихать в свернутые в трубку газеты, не погружать член в наполненный теплой водой презерватив, не запихивать между диванных подушек, в общем, не изобретать симулятор, передергивать по необходимости, но не превращать создание дро-чильни в смысл всей жизни.

Совсем недалеко от дома, на глиняной тропе, тянущейся вдоль недостроенных гаражей, я увидел человека. Он шатался, непонятно было, то ли ему плохо и он собирается блевать, то ли пытается идти, но не может настроить автопилот. Края растрепанной рубахи выпали из брюк.

— Какие люди! — крикнул я. — Это же сам Кузя.

Он испуганно распрямился, взял себя в руки и подошел ко мне.

— Братан, я тут подумал, что тридцата, — начал было я, но Кузьма резко схватил меня за обе руки, как взбешенный родитель капризного ребенка. Под фонарем я увидел, что он совсем грязный, глаза красные и усталые, даже шрам на носу и тот выглядел ярче, чем обычно. Налился кровью.

— Да заткнись ты, — я вдохнул его перегар, словно сам замахнулся стопарь. Заткнулся и уставился ему на рубаху, перепачканную то ли кровью, то ли рвотой. Из кармана его брюк торчал край галстука.

— Жука, меня здесь не было!

Это все, что он сказал. Кузьма отодвинул меня с дороги и быстро ушел в тень и дальше, куда-то за гаражи.

Следующим вечером его арестовали, к тому времени история об убийстве была известна всему поселку. В результате Кипеша отмажут по малолетке, Козыря — потому что он был сумасшедшим. Кузьме дадут девять лет, но выйдет он примерно через шесть.

* * *

Помимо обязательных в девятом классе я сдавал два экзамена: литературу и информатику. В какой-то мере мне удалось совместить подготовку. Я написал две очень простые программы. Первая — игра в крестики-нолики. У меня не получилось довести все до ума, сделать так, чтобы клавишами-стрелками можно было выбирать позицию, куда поставить знак. Вышло так: на экране просто появляется решетка из двух пар линий, образуя необходимые для игры поля. В каждом поле стоит бледно-серая цифра от одного до девяти.

Программа подсказывает: «Введите позицию крестика», вы вписываете в поле ввода, например, «1». На месте единицы появляется крестик. Программа подсказывает: «Введите позицию нолика», и так далее. В конце программа резюмирует: «победили крестики» / «победили нолики» / «ничья».

Вторая программа была намного проще по своему коду, но, как мне кажется, оказалась интересней.

Я впечатал десяток отрывков из произведений школьной программы, обязательных для экзамена по литературе, заменив имена героев на заданные пользователем значения.

Программа задает несколько вопросов:

- Как тебя зовут?
- Как зовут твоего друга?
- Как зовут твоего врага?
- Как зовут твою девушку?

Затем на экране появляется один из текстов. Недостаток был в том, что не в каждом отрывке использовались все заданные имена. Плюс я мог брать только те отрывки, где не нужно было склонять имена. Ну и, конечно, сложно было подобрать куски из стихов. Почти всегда ритм нарушался, иной раз переменное значение нарушало авторскую рифму:

Когда бы знать она могла,
Что завтра Жука и Кузьма
Заспорят о могильной сени;
Ах, может быть, ее любовь
Друзей соединила б вновь!
Но этой страсти и случайно
Еще никто не открывал.
Жука обо всем молчал;
Матвеева изнывала тайно:
Одна бы няня знать могла,
Да недогадлива была.

«1 — еще один текст, 2 — ввести другие имена».

Молодой, хорошо одетый человек приятного вида встретился ей на улице. Она показала ему цветы — и покраснелась.

— Ты продаешь их, девушка? — спросил Жука с улыбкою. — Продаю, — отвечала Матвеева.

- А что тебе надобно?
- Пять копеек.

— Это слишком дешево. Вот тебе рубль.

Матвеева удивилась, осмелилась взглянуть на молодого человека, еще более покраснелась и, потупив глаза в землю, сказала ему, что она не возьмет рубля.

Мне очень понравилось, каким получился отрывок из «Героя нашего времени»:

Гопник с бульвара стал против меня и по данному знаку начал поднимать пистолет. Колени его дрожали. Он целил мне прямо в лоб...

Неизъяснимое бешенство закипело в груди моей.

Вдруг он опустил дуло пистолета и, побледнев как полотно, повернулся к своему секунданту.

— Не могу, — сказал он глухим голосом.

— Трус! — отвечал Кузьма.

Выстрел раздался. Пуля оцарапала мне колено. Я невольно сделал несколько шагов вперед, чтобы поскорей удалиться от края.

— Ну, брат Гопник с бульвара, жаль, что промахнулся, — сказал Кузьма, — теперь твоя очередь, становись! Обними меня прежде, мы уж не увидимся. — Они обнялись; Кузьма едва мог удержаться от смеха. — Не бойся, — прибавил он хитро, — все вздор на свете! Гопник с бульвара, запомни: натура — дура, судьба — индейка, а жизнь — копейка!

Кое-где приходилось вычеркивать авторские слова и отказываться от хороших мест. Пару дней я горел идеей, сидел с библиотечными книгами в кабинете информатики. А потом решил остановиться, расхотелось совершенствовать дальше. Но информатик сказал, что этого более чем достаточно, а директриса (она тогда преподавала у нас литературу) пришла в неистовый восторг, так ей польстило, что я применил литературные тексты на ИВТ.

— Это что-то новое! — сказала она.

Реакция меня немного смутила, ведь первая версия программы была написана мной почти два года назад и имела эротический смысл.

Мне только исполнилось тринадцать, и картонные фишки с голыми женщинами я уже перерос. Случай посмотреть порнографию или хотя бы легкое эротическое видео представлялся очень редко. Негде было взять кассету из разряда «для взрослых», у отца и мачехи таких я не нашел; даже если я оставался один дома — максимум, что я мог себе позволить, — эротическую сцену в обычном фильме. Прогонять ее по несколько раз. Как правило, чуть ли не в каждом боевике или фантастике девяностых была одна постельная сцена. Но длились эти сцены недолго, секунд по двадцать-тридцать. Только настроишься, надо перематывать. Пока перемотаешь, надо заново настроиться. У меня не получалось синхронизировать руку, член и видео, войти в роль, стать персонажем, который жарит телку. Поэтому я делал так: смотрел несколько раз, а потом уже дрочил. Но от этого испытывал разочарование и досаду. Это было недостаточно круто.

Однажды, ночуя у своей тети в отдельной комнате, я наткнулся на книгу: кто-то поместил под одной обложкой «Эммануэль» и «Тропик рака». До рассвета я терзал себя, перелистывая страницы. Вернувшись домой, я понял: если у меня нет доступа к порнографии, я напишу ее сам. Когда брата не было дома, я писал свою первую порнопрограмму на его персональном компьютере, сохранял на дискету и прятал ее под матрас.

Да, первая версия была попроще, нужно было ответить только на один вопрос, то есть ввести одну переменную: имя девушки?

А дальше выпадал наугад один из идиотских самописных текстов. Что я мог написать, не зная предмета? В результате я почти не пользовался этой программой для дробки, мне было неинтересно читать, что получилось. Оказалось, что писать код в Qbasic, сочинять эти истории, держать дискету в тайнике — это и было моей высокой порнографией, а не результат. На выходе я имел лишь пресный и глупый продукт, на который не встанет даже у самого неискушенного онаниста.

Девятый «А» и девятый «Б» объединили в один десятый класс. Со мной стали учиться Миша, Демон и Настя Матвеева — единственная красивая девочка на всей параллели. Уже в мае мне было известно, что она собирается пойти в десятый — это радовало и волновало. Только учителя ее не очень хотели брать, считали тупой. Но желающих остаться в нашей школе было слишком мало, и им пришлось взять всех.

Так Миша стал одним из лучших моих друзей, а Демона выгнали через месяц за прогулы. Он по блату поступил в какое-то ПТУ, где начал пускать по вене ханку. Рэп-группы у нас с ним не получилось, вместо Демона я нашел другого напарника.

Последние два года в школе я много читал. Помимо прочего какое-то время не расставался с красным двухтомником Маяковского, заучивал его стихи и целые поэмы. Даже сам начал вырубать из груды мыслей экспозиционистские стишата. У Леджика дома валялась печатная машинка, и он дал мне ее на время.

Вечерами я выносил машинку в сени, чтобы не мешать домашним. У меня был свой кабинет между улицей, коридором и кладовкой, где я отстукивал:

Сердце свое
на ладонях держу.
Раздел,
как избавил конфету от фантика.
Остальные члены смотрят и ржут.
Лирика сегодня —
вчера была романтика.

Позже, когда я поступил на филфак, ко мне сразу прилипло прозвище «Маяковский». Каждый раз, когда меня так называли, я удивлялся и вспоминал Кузьму, сидящего на зоне, всего в километре от собственного дома. К этому времени у меня на ноздре появился шрам, почти как у него, только чуть меньше. Быстрая драка, на пальце врага была печать — наложили два шва: нитки, которые я сам срезал через несколько дней. Так мне досталась еще одна фишка Кузьмы. Перенял то, что мне нравилось, но по сути ничего не изменилось: для филолога я был слишком малообразован и гоповат, для родных трущоб — слишком труслив и интеллигентен.

* * *

Они пили на берегу и уже собирались уходить, когда неподалеку появился этот несчастный. Он вытащил на сушу свою надувную лодку и стал собирать рыболовные снасти, подсвечивая фонариком.

— Счас прокатимся на лодке, — обрадовался Кипеш.

Лодочник был молодым парнем, студентом. Он явно испугался, когда из тьмы вылезли трое пьяных подростков.

— Пить будешь? — спросил Козырь.

— Нет, спасибо. Мне пора, — сказал перепуганный лодочник.

— погоди, дай нам только на лодке прокатиться, — ответил кто-то из них.

— Нет, — повторил лодочник. — Мне нужно идти.

Он скрутил крышку с клапана и надавил на борт, старался держаться спокойно, как будто рядом никто не стоял.

— Ну нельзя же так, — сказал Кузьма. — Мы тебе пока не грубили.

Фонарик лежал на земле, и можно было определить габариты людей, но лиц было не разглядеть. Лодочник распрямылся, определил, кто здесь главный и решил попытать свою удачу. Он совершил серьезную ошибку — толкнул Кузьму в плечо и резко сказал:

— Потерялись все!

— Опа, — удивился Кузьма и ударил лодочника в лицо, так что тот сразу сел в лодку.

Потом за дело взялся Кипеш, он набросился на лодочника и, радостно похрюкивая, колотил его прямо в резиновой лодке, барахтался там, как малой в песочнице.

Когда Кузьма оттащил Кипеша, лодочник лежал, закрыв лицо руками, и, похоже, не собирался вставать.

Они выпили по кругу, еще раз предложили лодочнику, но тот не реагировал.

— Давай, вставай, хватит притворяться, — сказал Кузьма. — Пойдемте наверх.

Он помог лодочнику подняться и влил ему в рот немного самогонки. Лодочник был в полусознательном состоянии.

— Оставьте меня здесь, — говорил лодочник.

— Да пусть остается, что с ним случится, — согласился Кипеш.

Но все-таки решили помочь ему подняться по крутому склону. Их переговоры сложно пересказать словами, для этого нужно выпить пару бутылок. Козырь пытался свернуть лодку, скрутить в рулон, чтобы забрать себе, но был слишком пьян. Руки не слушались. Оставили ее на берегу.

Самый короткий путь вверх к поселку был самым неудобным, но в обход идти не хотелось. Они все падали на колени, поднимаясь по склону, Кузьма держал и ронял лодочника, тот стонал. Кипеш одной рукой держал фонарик, другой цеплялся за землю, чтобы не улететь назад. Когда они преодолели подъем, Кузьма отпустил лодочника и сам лег на траву. Кипеш тоже улегся отдохнуть и положил перед собой фонарик. Только Козырь стоял, ждал.

Лодочник вдруг немного оклемался и принялся стенать, как баба. Пытался ползти куда-то, проклиная своих обидчиков.

— Да заткните его, — не вставая, промычал Кипеш.

Тогда Козырь и нанес решающий удар. За ним бы стоило присматривать, а лучше посадить на цепь. В его голове безумие добралось до черты, тормоза отказали, комбинация последних событий плюс «заткните его» сработали как клавиши компьютера для удара «фаталити». Козырь зарычал и зарядил лодочнику так, что тот покатился по крутому склону, ударяясь о камни и цепляясь одеждой за кусты.

— Твою мать! — вскакивая, застонал Кузьма, старший брат моей мечты и один из кумиров отрочества.

Александр Загрибельный

Дон Кихот и чёрная дыра

Уповай, Санчо, не на какую-то неведомую бабушку, а на Бога, и он наградит твою жену тем, что ей более всего подходит.

М.Сервантес. «Дон Кихот»

Незатухающий конфликт

Жена у меня просвещенный человек — художница, педагог, автор учебников для начальной школы. Книг прочла несметное количество. Стихи запоминает наизусть мгновенно. Говорю это не с целью похвастаться супругой, но дабы получить возможность, пропустив сквозь призму семейного бытия пучок жгучих вопросов, расщепить их неизбежный пафос на удобные для рассмотрения лучи спектра.

Еще моя жена несколько педантично считает, что, раз берешь книгу, читать ее надо от корки до корки. Она любит литературу. Но вот «Дон Кихота» Сервантеса не любит. Это не обвинение, это — констатация факта.

— Ну зачем мне читать эти длинные рифмованные посвящения, — негодует она, — а следом нелепые байки про то, как некий не в полном рассудке старый чудак упал со своей клячи, как его поколотили, как он вляпался в очередную глупую историю.

Впрочем, Рабле она тоже не жалует. Ей нравятся вещи более изящные, например, роман Булгакова «Мастер и Маргарита». Еще она не переносит разговоры про космос, кварки, черные дыры, гравитацию... Но это отдельный и чрезвычайно важный луч в спектре предлагаемого околосемейного рассуждения на литературную тему.

Я часто советуюсь с женой, она умеет давать людям точные характеристики, искусно владеет воспитательными приемами, ловко разруливает бытовые коллизии, но с «Дон Кихотом» у нас порой доходит до нешуточных домашних сцен. Я неоднократно пытался объяснить его содержательные достоинства и доказать историческую значимость, но безуспешно. Потом, раздраженный, не находил себе места в квартире, соображая, как защитить рыцаря печального образа и его создателя и, наконец, просто понять, почему через четыреста лет после выхода в свет эта книга для меня — «живее всех живых».

Загрибельный Александр Павлович — журналист, переводчик, прозаик. Председатель общественного социально-экологического центра «Зеленое движение». Живет в г. Таразе (Казахстан). Публикации в «ДН»: «На Шелковом пути меж трех миров» (№ 4, 2010).

И как свидетельствует авторитетная статистика, не только для меня. В 2002 году жюри Нобелевского комитета, в которое вошли сто известных писателей из пятидесяти четырех стран мира, определило лучшее произведение мировой литературы, назвав «Дон Кихота» — «Книгой всех времен и народов».

Если абстрагироваться от неторопливого и многословного, по современным меркам, стиля и оставить в стороне критику рыцарских романов, мне думается, главные действующие лица в «Дон Кихоте» — это крупные многозначные иероглифы и колоссальные обобщающие символы. У них есть удивительное свойство: в каждую эпоху они могут переосмысливаться по-новому. Такое свободное жизненное пространство художественного материала делает героев — архетипами, а саму книгу — книгой на все времена.

Эпоха Возрождения потешалась над стремлением героя искоренить кривду и защитить правду, эпоха Просвещения — относилась к рыцарю сурово, романтики его реабилитировали, и весь двадцатый век Дон Кихот с почетом шествовал по сценам и экранам. О романе написано столько, что одна библиография заняла бы десятки страниц. Наиболее радикально выразились испанские философы: Хосе Ортега-и-Гассет скептически назвал рассуждения европейских критиков Шеллинга, Гейне, Тургенева о Дон Кихте «мимолетными прозрениями — скуными и неполноценными», а Мигель де Унамуно определил «кихотизм» как национальный вариант христианства.

Для меня это роман о теле и духе. Если Дон Кихот — это дух, высокий и неосуществимый в идеале, то Санчо Панса (что в переводе значит — пузо) — воплощение телесного начала. Один — длинный, тощий на коне, другой — упитанный, округлый на осле — едут они вместе бок о бок. Дух без тела — бесформен и неприкаян. А тело без духа бессмысленно и не знает своего предназначения.

Духу требуется самоутвердиться, воплотиться в физических границах тела. Дух замораживается на теле, в частности, при помощи слов. Тогда, порой, говорят, что мысль вещественна, а слово материализуется, становясь во главу угла. А там оно уже может и убить, и спасти, и полки повести...

Сравнивая Дон Кихота и Гамлета, Тургенев говорит о двух концах одной оси человеческих характеров в их крайних проявлениях, которые он обозначил в таких категориях чистой физики, как центробежность и центростремительность, динамика и статика.

Однако ось Дон Кихот — Санчо Панса гораздо более базовая, более полярно разнесенная и художественно доказанная Сервантесом.

Но все-таки, что ж такого есть в романе, что трогает лично меня? Что задевает и заставляет выносить семейный сор из избы? Какие чувства и мысли генерирует во мне эта старая книга, соприкасаясь с современными реалиями? Почему никогда ни над каким другим текстом я не смеялся так весело и порой до слез, не удивлялся собственным заблуждениям, со смехом пытаюсь от них освободиться?

Роман сложен, и с каждым прочтением убеждаешься, что этажи заложенных в нем смыслов не вполне были открыты даже самому автору, который, гениально следуя логике художественного развития героев, даровал им многомерную самостоятельную жизнь.

Это утверждение вполне согласуется с идеями М.Бахтина, который считал, что каждая культура, вовлеченная в «диалог» с последующими культурными эпохами, постепенно раскрывает заключенные в ней многообразные смыслы, часто рождающиеся помимо сознательной воли творцов культурных ценностей.

В одном из приближений для меня это роман о горестном несовпадении идеала, желания всеобщей справедливости и грубой материальности реальной

жизни. Об иллюзиях и неосуществленных надеждах, которые многие из нас — хомо советикус — питали в юности, строя планы на прекрасное будущее под очарованием коммунистической пропаганды, почти религиозно вдальблываемой в сознание посредством политических заклинаний и коллективных ритуалов:

— Будь готов! — Всегда готов!

Что поделаешь, но Павка Корчагин долго оставался для меня высоким ориентиром при определении такой идиомы, как смысл жизни.

Жена, хоть и была пионеркой и комсомолкой, но толпу ноябрьско-майских демонстраций не жаловала, социальных иллюзий не питала, мировой пролетарской революции, как утверждает, не ждала. Короче, была умной самостоятельно мыслящей девчонкой, вдобавок с развитыми художественными талантами.

Поэтому большинства заблуждений свойственных мне, мечтателю-рецидивисту, любящему после драки махать кулаками, у нее просто не было изначально, и «Дон Кихот» в таком преломлении для нее, действительно, является набором банальностей.

Однако могу предположить и другую причину неприятия, весьма деликатную — гендерную. Казалось бы, идея высокого служения даме сердца должна вызывать единодушное сочувствие у прекрасной половины человечества. Но на самом деле ее представительниц среди почитателей рыцаря Печального образа, по моим наблюдениям, неизмеримо меньше, чем насчитывает их другая половина.

Например, Гамлет как герой вполне может быть бесполом. Гамлет — это проблема личности: колебания, сомнения, «быть или не быть». Его с энтузиазмом неоднократно пытались сыграть женщины. Не будем говорить об успешности этих экспериментов. Но вот то, что ни одна актриса не пожелала сыграть Дон Кихота, настораживает. Этот герой безусловно мужчина — энергетический импульс действия в чистом своем проявлении. Но, высмеивая безумие рыцарства, Сервантес неизбежно ставит под удар воодушевление своего героя по отношению к идеалу Прекрасной дамы.

Того же эффекта он достигает, заставляя Дон Кихота, в силу слепоты помутившегося рассудка, обращаться высокопарным слогом к гулящим бабкам на постоянных дворах, как к благородным девицам.

В ответ на требования рыцаря преклоняться перед Дульсинеей от его оппонентов слышатся едкие реплики: «пусть из ее глаз течет киноварь и сера»...

А когда Дон Кихот настоятельно рекомендует «освобожденной» им путнице: «Поезжайте в Тобосо к моей госпоже, скажите ей, что вы от меня, и поведайте ей все, что я совершил», — легко догадаться, что это не тот тип задания, который безоговорочно понравится каждой спешащей по своим делам особе женского пола.

В многочисленных двусмысленных ситуациях образ Прекрасной дамы постоянно снижается, словно писатель посмеивается над мужским заблуждением относительно рыцарского служения ей. Такое возвращение Мадонны с небес на землю чревато замаскированной профанацией культа святости непорочной девы Марии.

Но современная нам женщина зачастую и не желает выглядеть святой. Костер ей больше не грозит, и всякие колдовские чары ей очень даже по душе, и редкая (по чистосердечному признанию супруги) при случае отказалась бы натереться мазью Воланда и, как Маргарита, прогуляться на Лысую гору эдакой ведьмой. И уж, конечно, каждая желает чувствовать себя особенной, единственной и всеобще обожаемой, готовой стать центром мира. Что поделаешь, природа человека такова. Предъявлять претензии остается только мирозданию.

Как бы то ни было, подлинный духовный, выражаясь современным

языком — «виртуальный», оруженосец Дон Кихота — это Дульсинея Тобосская. Но чем вдохновеннее Дон Кихот провозглашает канон ее красоты, тем пародийнее звучат поэтические штампы в общем комическом контексте:

«Ее волосы — золото, очи ее — два солнца, ланиты — розы, уста — кораллы, жемчуг — зубы ее, алебастр — ее шея, мрамор — перси, белизна ее кожи — снег...»
Вам это ничего не напоминает?

Мы не знаем, знаком ли был Сервантес с творчеством Шекспира, но достоверно известно, что роман «Дон Кихот» вышел в 1604 году и вскоре был переведен на другие языки, а в 1613 году в лондонском театре шла написанная Шекспиром и утерянная в дальнейшем пьеса «История Карденьо», главным героем которой был уже знаменитый в Европе персонаж — Дон Кихот.

Оба гения жили в одну эпоху и, как свидетельствует история, умерли в один день — 22 апреля 1616 года.

Полностью сонеты Шекспира были опубликованы в 1609 году. И хотя основная их часть была написана до выхода «Дон Кихота», но, как знать, не тянется ли из романа какая-нибудь ниточка к знаменитому 130-му сонету, где Шекспир, беспощадно круша окаменевшие поэтические лекала женской красоты, почти слово в слово проецирует инвертированное описание Дульсины на свой адресат, коим явилась смуглая леди. К ней мы вернемся позже, а пока...

Прекрасную Дульсинею Тобосскую Дон Кихот так и не находит. Глупость мужская посрамлена — единственная бедная служанка из сострадания ухаживает за своим разбитым, больным хозяином. Что и прекрасно само по себе.

Скорее всего, женщине, по ее природе, не свойственны заблуждения, подобные мужским. Уж она-то трезво оценивает других представительниц своего пола и предпочитает не впадать в дон кихотово безумство. Хотя нынче женщины занимаются штангой и боями без правил, странствующих рыцарей среди них не было и не предвидится.

Потому сделаю допущение, что, почувствовав пронизывающие роман иронические мотивы, женское начало моей благоверной стихийно протестует и читать отказывается.

Но все же причина отторжения может лежать еще глубже.

«...Вместо того, чтобы, как подобает христианину, в минуту опасности, поручить себя Богу, они поручают себя своим дамам, да еще с таким молитвенным жаром и благоговением, точно дамы эти их божества. Право, все это припахивает чем-то языческим», — комментирует встречный пастух повадки странствующих рыцарей.

При всей диалектике позиций автора, рассказчика и героя, отбор и концентрация событий все-таки принадлежит автору. Результирующий вектор романа привлекает трезвым, если не сказать резко, отношением к религиозным вопросам. Оно проявляется сразу, когда Дон Кихот произносит фразу: «история о маркизе Мантуанском... не более правдивая, чем рассказы о чудесах Магомета». Монахов он величает не иначе как «черные страшилища» и «бесноватые чудища». А наибольшее количество успешных тумачков, которые успел раздать Дон Кихот, достались священникам. И вообще он не ручается, что от картезианских монахов есть какая-нибудь польза.

Вчитываясь в роман, вдруг начинаешь ощущать, что помешанность героя на книгах о странствующих рыцарях — это скрытая поначалу даже от самого автора и постепенно сквозь повествование начинающая просвечивать аналогия помешанности общества на чтении другой большой книги — Библии, с ее гораздо более пространственными свидетельствами о чудесах. Иначе откуда этот сквозь века летящий, неутраченный с самой первой публикации смех. Рыцарские романы

давно читают только филологи, а в образе Дон Кихота, поднятого на крыльях мельницы, словно распятого на кресте, не скрывается ли завуалированная аналогия с Христом, что бы ни говорили испанские мыслители?

Сервантес подвергает испытанию верность Дон Кихота христианским устоям, заставляя его размышлять над каверзными вопросами насмешника-пастуха — к кому обращать свой внутренний глас, когда тебе навстречу летит другой рыцарь с копьем наперевес: «Мог ли убитый рыцарь в пылу скоропалительной битвы найти время для того, чтобы помолиться Богу, — это остается неясным. Чем тратить слова на взывания к своей даме, лучше бы он потратил их на то, к чему обязывает и что нам велит долг христианина».

Дон Кихот смущен: в нем борются не только правоверный католик и рыцарская преданность прекрасной даме, но и остатки здравого смысла.

Так вот, думаю, что моя жена, как женщина проницательная, чувствует антирелигиозный подтекст книги, и он ей неприятен. Дело в том, что, как ни странно, самостоятельность и трезвость ума не уберегли ее от мистических соблазнов. Случилось так, что незадолго до пересечения наших жизненных путей она ужаснулась одинокой смерти своей престарелой незамужней учительницы, отправилась в православную церковь и окрестилась. После этого, как она объясняла, ее жизнь вошла в нужное русло — и замуж вышла, и ребенка родила.

Вероятно, женщины подвержены инфернальной инфекции гораздо больше, нежели мужская часть человечества. Они чаще любят гадать и активнее верят в приметы, сглаз, наговоры и прочее. Хотя, конечно, среди них гораздо меньше примеров проявления крайностей, и не случалось таких угрюмых фанатиков, как инквизитор Торквемада или блаженный монах Франциск Ассизский, который, как полагают, явился одним из прототипов Дон Кихота.

Ну окрестилась, и ладно. Дело глубоко личное. Однако этим все не окончилось. Ребенок наш поздний, долгожданный, безумно любимый. Ну и накрутилось в материнской голове бог весть что. Дескать, где и как они встретятся потом, после смерти, если не будут в одной вере. Поэтому вопрос о крещении сына возникал не раз.

Я не воинствующий атеист. Я говорил: «Пусть мальчик подрастет, что-то осознает и сам решит, нужно это ему или нет».

Но жена посчитала допустимым однажды, проводив меня в дальнюю дорогу, тайно повести в церковь и окрестить тогда еще несмышленного сына.

И вот наш юнец, гордый, все школьные годы проносил нательный крестик, как я когда-то пионерский галстук. Кстати сказать, любовь к чтению у него развилась рано, но «Дон Кихота» он тоже пока не жалуется.

Зато налицо конфликт поколений вместе с незатухающим семейным конфликтом. И сейчас, когда пишу эти строки, я ощущаю себя эдаким Павликом Морозовым наизнанку, понимая, что апеллирую к аудитории, которая в основной массе сочувственно ко мне не отнесется, да и покоя от этого разговора в домашней ячейке общества не прибавится. Но раскол в нынешнем социуме давно идет по живому, и замалчивать его уже стыдно и никак нельзя.

Баптист — коммунист — журналист

У меня имелся свой религиозный опыт и начинался он с раннего детства. Родственники по отцу были православные. Прабабка из бедных крестьян — ровесница Ленину, отданная прислугой в поповскую семью, была сметливой, выучилась читать гораздо быстрее хозяйских детей, но также усвоила специфический стиль отношений и ритуалов.

Ее муж, мой прадед — ветеран Первой мировой, георгиевский кавалер, большой поклонник Дон Кихота, сидя на деревенском дворике и заплетая ивовые прутья в корзину, рассказывал, как некий иерей благословлял русский полк на передовой в 1916 году. Осенняя господ офицеров крестным знаменем, он изрек: «Вы, главное, себя берегите, а этого быдла в шинелях всегда хватит». Царские тогда еще солдаты, не сговариваясь, при первом удобном случае пригвоздили попа штыками. Как сказал бы Вольтер: «Раздавили эту гадину».

Моя родня по материнской линии была сплошь баптистами. Дед в годы Великой Отечественной войны за свои пацифистские убеждения и отказ идти на фронт оттрубил полный срок на каторге в Сибири и, вернувшись, занимал высокий пост в местной общине. Он часто произносил проповеди с кафедры собраний в молитвенном доме, запуская в зал широкий поднос для сбора пожертвований «на храм» и был непререкаемым авторитетом в кругу родственников.

Как-то мы приехали к нему в гости. Дед встречал, возвышаясь на крыльце.

— Поцелуй дедушке ручку, — с благоговением воскликнула прабабка, которой уже шел десятый десяток.

Я недоуменно поглядел на родителей.

— Ну что за глупости! — возмутились они, будучи уже коммунистами.

Позже, когда меня спрашивали о моем происхождении, я часто шутил: дед у меня баптист, отец — коммунист, а я — журналист. Фраза одинаково весело звучащая на всех языках.

Библия с детства была у меня на виду. Однажды взял почитать. Рассказы о том, как слово сотворило мир, о райском саде, змее-искусителе пролистнулись сказкой, но вдруг я наткнулся на точно обозначенные в локтях размеры Ноева ковчега. Все мы в детстве выстругивали кораблики и пускали их, нагружая игрушками. А в школе как раз проходили закон Архимеда — о вытесняющей силе воды, вытесненной данным объемом тела. Задача простая — перемножил размеры, прикинул количество пар существующих на земле животных (не забыв про динозавров) и то, сколько пищи было им необходимо на месяцы плавания. И понял — ковчег потонет!

Потрясенный открытием, я показал деду свои выкладки.

— Тогда люди были гораздо больше и руки у них были длиннее, — сурово поправил меня он.

Но я учел и этот фактор, дав целый метр на длину локтя великана. И все равно посудина получалась меньше, чем современный средний танкер. А уж как такой сделать из дерева, чтобы он не развалился и не пошел ко дну, не понятно.

— Его держал Дух Божий! — торжественно объявил дед.

Увы, меня — шестиклассника, слова, выстраданные сибирской каторгой, разочаровали. Я ожидал более убедительного ответа. Я поверил не деду, а Архимеду и своим экспериментам с корабликами в луже.

Дед забрал у меня Библию, в сердцах сказав, что я взял читать ее не для того, чтобы понимать, а для того, чтобы критиковать. Но это был неконструктивный разговор с любознательным внуком. Дед оказался беспомощным и стал смешон в моих глазах. Вдобавок отказ защищать родину от фашистов всегда вызывал у меня недоумение.

Советская школа давала добротное образование. Мы еще изучали астрономию, и я не раз заглядывал в планетарий. В выпускном классе участвовал во Всесоюзной физической олимпиаде в Новосибирске, где нам в Академгородке демонстрировали новейшие достижения науки. В Институте ядерной физики на меня особое впечатление произвели прогулка по кольцу строящегося большого

ускорителя и компактная искровая камера, с треском треков регистрации беспрерывно сыплющихся из окружающего пространства протонов, электронов и прочего, как шутят физики, «зоопарк частиц», из которых мы, собственно, и состоим. В дальнейшем свои познания мне удалось расширить, общаясь с учеными университета Беркли, США, где структурный анализ промышленных образцов материалов на циклотроне — давно рутинная процедура, проводимая на коммерческой основе. Ну, конечно, читал разные интересные книжки по теории относительности и квантовой механике.

В курсе школьной истории я даже больше, чем фашистов, ненавидел инквизиторов — и очень переживал за Галилея и других преследуемых ученых, и написал стихотворение, в котором были такие строки:

...Ещё они сожгли Джордано Бруно,
Я это никогда им не прощу!

Имелись и другие уроки, которые преподали мне набожные сородичи.

Тетка Вера

Баптисты — дружные. Похоронить человека — для них праздник. Когда помер муж тети Веры, она, как истинно верующая, не плакала и не уставала повторять за остальными братьями и сестрами: «На все воля Божья!»

Низкие сумрачные комнатки в ее чахлом домишке свободным пространством имели только проход, чтобы протиснуться между кроватей и упасть на колени перед высоким древним комодом, на котором лежала в потертом кожаном переплете Библия.

Сыну своему — моему двоюродному брату — тетя Вера делала свадьбу сама. Точнее, объединили общиной две свадьбы — для экономии.

Принесли приглашение — голубок и голубица с витиеватым вензелем.

Второй жених пришел с невестой пешком и чинно сел под балдахином, закатывая глаза к небесам. А наш пошустрее — на мотоцикле в люльке невесту привез. За столом обе невесты сидели в платочках и с постными физиями.

Я пил из граненого стакана тепленький чай, закусывал печеньем, слушал бесконечное пение и вспоминал, как в шестидесятые годы гнобили брательника в школе за то, что ходил в молитвенный дом и отказался вступать в пионеры. По команде учительницы одноклассники его схватили и насильно повязали галстук, но он сорвал его с шеи, выскочил и убежал домой. По тем временам поступок для одиннадцатилетнего пацана исключительно дерзкий. Но мы с ним были сверстниками и часто общались. При полной противоположности наших убеждений мне чем-то imponировала его стойкость и готовность идти наперекор всеобщему мнению. Кремень! Ни разу не пожаловался, как нынешние истеричные девианты, на оскорбление религиозных чувств!

Я даже расслабился в благостном окружении псалмов, и вскоре мне показалось, что от мерного убаюкивающего покачивания и впрямь захмелел. И поплыли мы вместе с хором вокруг Галактики. Плынешь и не поймешь, то ли жив ты, то ли нет.

Девочка у них родилась, но вскоре заболела и померла.

— Не плачь, — утешала тетя Вера сноху, неистово молившуюся о выздоровлении ребенка, — не противься воле Божьей. Она преставилась безгрешной. Она уже в раю! Она ждет нас на небесах.

Как-то осенью поехали молодые на мотоцикле в горы за орехами. На переправе заглох движок, пришлось вытаскивать мотоцикл из ледяной реки. Брат простыл и слег.

Мать и жена опять отчаянно читали над ним молитвы.

Когда мы, родственники, настояли на вызове врача — было поздно. Умер от крупозного воспаления легких.

Материнский звериный инстинкт, как видно, сильнее любой догмы. После похорон тетя Вера стояла у ворот и, глядя на меня, плакала. Я искренне сочувствовал ей. Но она вдруг, смахнув слезу, бросила со злым укором:

— Он помер, а ты — такой — живешь!

Я прямо оцепенел. Это мне — родная тетка, насквозь изъеденная христианским смирением.

Прошло множество лет, ее самой уже давно нет на свете, а я все пытаюсь расшифровать, что она вкладывала в слово — «такой». Вероятно, своим умишком она вдруг ощутила когнитивный диссонанс: на какой-то момент ее здравый смысл матери взбунтовался против непостижимой, умопомрачительной «справедливости» существующего в ее голове Божьего промысла.

Впрочем, никакого просветления (как у Вольтера после Лиссабонского землетрясения) там не наступило. Наоборот — проявилась закономерная агрессивность религиозного человека. Подобную, уже пронизанную терроризмом, нетерпимость мы нынче чуть не ежедневно наблюдаем в сводках мировых новостей.

Перечитывая «Дон Кихота», я вспоминал об этом и с каждым разом все острее чувствовал внутреннюю, пронизанную едким смешком, дразнящую, жгучую изнутри антиклерикальную промазку повествования, то и дело возникающие у автора сомнения, которые он тут же спешил опасливо прикрыть оправдывающим ересь забралом безумия.

И вот, в канун своего шестнадцатилетия, мой сын, к тому времени увлекшийся химией и добившийся серьезных побед на международных олимпиадах, огорошил меня утверждением о необходимости Бога как некоего идеала или маяка эволюции, в направлении которого развивается Вселенная и все живое на Земле и без которого оно, якобы, не знало бы — куда двигаться. При всей материалистичности науки-химии он никак не соглашался, что такой маяк не требуется, а развитие жизни на Земле есть результат мутаций и естественного отбора.

Однако что-то заставило меня крепко задуматься над его словами.

Что наша жизнь? — Фрактал!

При всех ухищрениях ученых от начала до конца вырастить человека в колбе не удастся. Деление клеток вне материнской утробы становится хаотичным, и эмбрион гибнет. Он, безусловно, направляется в своем развитии организмом матери. Скорее всего, и мы все как энергетические сущности развиваемся в организме Вселенной, что не может не наводить на мысль о тотальной фрактальности нашего бытия.

Фрактал, как известно, это подобие общего и его части. Простейший пример — растение из семейства зонтичных — укроп. Его соцветие в виде большого зонтика состоит из более мелких, а те, в свою очередь, из еще более мелких зонтиков.

Еще примеры: вращающаяся вокруг центральной черной дыры галактика

со звездами, солнечная планетарная система, вращение электронов вокруг ядра атома, которое так и названо — планетарным. Выражу вполне очевидное предположение, что Вселенная представляет собой огромный фрактал, где малое в своих формах и функциях на разных уровнях повторяет более крупные образования.

Через всемирное тяготение и другие физические силы мы всеми своими молекулами, атомами, кварками, бозонами, глюонами, струнами связаны друг с другом, с галактикой и со всей Вселенной. В результате естественного отбора из накопившихся мутаций органических молекул живая клетка, образовав в ходе эволюции ядро, оформила центр и устроилась фрактально по образу галактики, где в центре также есть ядро — черная дыра. Фрактальная заданность, реализуемая связью физических полей, вполне может ощущаться человеком как внешняя, программная и даже сверхъестественная интенция, божественное провидение или более модное нынче понятие — информационная матрица.

Для пояснения опять обращаюсь к помощи великого современника Сервантеса — Вильяма Шекспира, сонетов которого в разных переводах моя жена знает наизусть много. Я знаю гораздо меньше. Точнее — один. Но в оригинале.

130-й сонет о смуглой леди также не относится к числу ее излюбленных, что совсем не удивительно. Впрочем — это самый непереуслуженный сонет самого переводимого в мире автора.

Загадки начинаются сразу:

My mistress' eyes are nothing like the sun...

Как только не интерпретировали эту первую строку. Существует около двадцати переводов сонета на русский:

Ее глаза на звезды не похожи... (С.Маршак)

Не солнце, нет, моей любимой взор... (В.Микушевич)

Звезд нет в зрачках у женщины моей... (Р.Винонен)

Дословно же — Глаза моей милой ничего общего не имеют с Солнцем.

А что же они тогда такое?

Выше уже фигурировал набор ветхих эпитетов, коими награждал Дон Кихот Дульсинею. Хотя общепринято, что в своем сонете Шекспир разрушал избитые поэтизмы стихоплетов-современников, однако, думается, это слишком простое для Шекспира решение. Есть ощущение, что он пытался установить некоторую новую художественную константу. В контексте отрицания сравнений частей тела с белизной снега и роз, наличия темных грудей и черной проволоки волос вполне логично допустить, что упомянутые глаза — это «Очи черные» (как тут не вспомнить самую известную в мире песню). Это не сияющее Солнце, не звезды, излучающие свет (активное энергетическое начало). Ее глаза — это объекты, поглощающие свет и энергию. В ее глазах можно утонуть, потеряться, сгинуть, наконец. Это то, что Шекспир не мог назвать — в силу объема знаний своего времени такой объект еще не был известен, но наличие его он гениально ощущал. Это — *черная дыра*, которая находится в центре каждой галактики, в определенной степени обеспечивая ее структурную устойчивость, инерциальность и центростремительность.

А перевод первой строки сонета может прозвучать примерно так:

Темнее ночи милой моей очи...

Драма всех оттенков черного разворачивается в пространстве следующих сонетов, в полном согласии с предлагаемой здесь версией. Вот финал 132-го сонета:

Then will I swear beauty herself is black,
And all they foul that thy complexion lack.

Тут Маршак ничего не соврал:

Я думал бы, что красота сама
Черна, как ночь, и ярче света — тьма.

Интересно — кому придет в голову утверждать, что Бог сотворил черные дыры? Это уж, скорее, дьявол. Притягивающее, соблазняющее начало женщины с тайной, скрытой за горизонтом событий.

Женщина по определению должна быть притягивающе красива. Красота — это та «страшная сила», тот предел целесообразности, к которому стремится в своем оформлении вещество и поле под управлением сил природы (с поправкой на социальные нюансы). Красота — некая высшая правильность завершенной конфигурации, гармония и функциональность упаковки. Ее предел — шар. Округлость женских форм завораживает!

Фрактальность в оппозиции звезды и черные дыры — излучательно-накопительная система Вселенной. Животворящий круговорот материи в природе. Космические архетипы, венец ее полярности на Земле: мужчина и женщина. А взаимодействие этих двух начал есть маяк, и колея движения в развитии всей материи, и питающая почва всего логоса и мифологий мира.

И на вопрос своего ученого сына: «Откуда природа знает, куда ей развиваться?» — могу ответить, что сама структура организации Вселенной подсказывает субординацию более мелких частей материи на путях ее развития. Самоорганизация органики, рост ее сложности в координатах движения и инерции, а для живых организмов и в условиях конкуренции мутаций, закрепляется естественным отбором.

Такие условия делают закономерным возникновение и развитие жизни на Земле или другой подходящей по условиям планете. Потому что, уж конечно, мы все никакие не божьи твари, а произведение самой природы, которая создала нас «по образу и духу своему».

В этом космическом столько комического. Но самое главное, что в живом, саморазвивающемся организме Вселенной совершенно нет места Богу. Он тут ни при чем. Он попросту не нужен!

В условиях фрактальной оппозиции коренятся глубинные основы наших характеров и находят объяснение гендерные особенности поведения и мужчины и женщины. Женщина — ночное, ожидающее существо, инерционное и консервативное по природной необходимости. У нее психология яйцеклетки, лежащей и ждущей оплодотворения спешащих со всех сторон крохотных лучей-сперматозоидов. Она просто стоит и ничего не делает (цветет и пахнет), а все вокруг обращают на нее внимание.

Мужчина — горящая звезда, а женщина — черная дыра, мужчина — расточитель, сеятель, женщина — собирательница. Но вместе они — материя в ее неразделимом единстве. Разумеется, все это символы предельной абстракции (как инь и янь), но работающие в свете маяка фрактальности.

Любая гипотеза стоит мало, если не позволяет взглянуть по-новому на уже известные вещи. Например, знаменитая библейская фраза: «Есть время разбрасывать камни (большой взрыв и взрывы сверхновых), а есть время собирать их»

(через образование и слияние черных дыр) — обретает вразумительную вселенскую интерпретацию.

Максиму Эммануила Канта: «Есть звездное небо над головой и нравственный закон внутри нас» следует толковать без союза «и» — «Звездное небо над головой есть нравственный закон внутри нас». Это не вполне очевидно в повседневном быту на кухне, но по большому счету это так. И тот, кто вспомнит свое первое младенческое впечатление от звездного неба в месте, где он родился, тот согласится, что смотрится оно роднее и понятнее, чем в других местах, хотя и, казалось бы, является одним и тем же. Это то первичное чувство, с которого начинается Родина. Ностальгия по ней — это отпечатанная в детском сознании матрица места рождения. Связь с родной землей и координаты космоса слитые воедино.

Человеческое сознание невозможно понять вне рассмотрения его в полях земного и всемирного тяготения. Энцефалограммами, биотоками творческого феномена сознания не объяснить. Искусственный разум останется искусственным, пока его не «заквасят» на уровне бозонов Хигса или гипотетических гравитонов, пока он не начнет самостоятельно, как человек, чувствовать Вселенную.

Мне вдруг стала понятна страсть Клеопатры, позволявшей ублажать себя смертью однодневных (одноночных) любовников. Вспыхнув как лампочка на предельном перекале, мужчина был готов воистину в последний раз до конца отдаться любви с царицей. А она была гурманкой и понимала толк в таких вещах. Она не оставляла их в живых, как не оставляет следа поглотившая звезду черная дыра.

От женщины вообще очень многое зависит и, поскольку моя прекрасная половина оказалась в столь именитой компании — Дульсинеи, Смуглой леди и Клеопатры, я вынужден живописать некоторые ее качества.

Следуя русской традиции, мог бы вначале привести космические приметы, как-то: «Месяц под косой блестит, а во лбу звезда горит...» Но скажу проще, все у нее в наличии: и глаза, и губы, две руки и две ноги, и самая тонкая талия в городе была когда-то. Она большая затейница по части художеств и кухонных наук, и киноварь у нее только на палитре. Брезглива, ужас! Свечку поставит, но чтоб икону или руку целовать — упаси господь! Хрупка, коня на скаку не остановит, но потребовать остановить машину посреди оживленной улицы может, а выходя из машины, часто забывает захлопнуть дверь. Постоянно путает право и лево. Зато при движении ночью по трансконтинентальной трассе непременно уверенно заявит, что мы потеряли дорогу. Дома систематически не выключает воду и газ, не тушит свет в ванной. Но это ее тревожит гораздо меньше, чем угасание Солнца через пару миллиардов лет. Она хочет, чтобы свет горел везде круглосуточно — наверное, это в ней сказывается работник просвещения.

Я ей говорю: «Закрой кран. В мире ощущается дефицит пресной воды. Ты экологически опасное существо». А она, смеясь, отвечает, словами Михаила Светлова: «Я могу жить без необходимого, но не могу без лишнего».

Споры о религии у нас в семье то и дело разгорались не на шутку. В самое удобное время, когда все вместе собирались за обедом. Иногда это даже усиливало аппетит.

— У верующих людей гораздо более развито воображение! — заявила жена, как бы в укор мне, не обладающему достаточной фантазией.

— Дорогая, я с этим абсолютно согласен.

В поступках земную женщину часто ведет не мысль, а инстинкт, наработанный миллиардами лет существования живой материи. А потому извечные пени мужчины на ее потребительство, капризы, жажду сюрпризов, подарков и поклонения — это бесперспективные жалобы на физические, химические и прочие свойства материи. К ним нужно относиться с пониманием и снисхождением, у мужчины ведь тоже есть врожденные квантово-механические свойства: разбрасывать носки, сеять «свои семечки» где ни попадя и устраивать хаос в виде творческого беспорядка.

Бытовой мистицизм, можно сказать, вторая натура женщины. Поплевать через левое плечо на молодой месяц, держа в руках купюру покрупнее (чтоб деньги прибавлялись), прицепить к подкладке булавку от сглаза, посмотреть в зеркало, если, что-то забыв, вернулся, короче, масса вариантов...

Женщина по природе своей, слабости, эмоциональности более расположена к поиску сверхъестественного утешения. Между вынашиванием ребенка, готовкой ужина, работой и домашними заботами в голове собираются и путаются разные нелепости: вот в Интернете прочитала, что летит комета и по календарю мая — конец света... Я понимаю ее беспокойство за сына и готовность любой ценой, хоть верой в макаронного монстра, обеспечить его безопасность, но не понимаю, как в этой голове христианские представления свободно совокупляются с календарем древних южноамериканских индейцев? Материнский инстинкт спокойно приходит в противоречие со здравым смыслом и допуская что угодно, наполняет жизнь всевозможными снимающими страх наркотическими предрассудками.

Человек слаб перед лицом смерти, краткости жизни и огромностью Вселенной. Перед угрозой утраты самого дорогого. Думается, что человеку не так уж важен Бог сам по себе, сколько надежда на высшую охрану и бессмертие. А Бог выступает как некоторый гарант сохранения души. При известном кодексе поведения, конечно. Сам феномен веры отвергает доводы разума, провоцируя потребность верить еще сильнее.

Когда жена порезала палец, я, оказав первую помощь, провел маленький ликбез, объяснив, что железо ножа, которым она поранилась, железо напугавшего ее Челябинского метеорита и железо в эритроцитах только что пролитой ею крови образовалось при взрыве, возможно, одной и той же сверхновой звезды эдак восемь-десять миллиардов лет назад. Но тут же наткнулся на поскучевшие глаза: «Не говори про это, мне страшно!»

Так и живем. Но если женщина просит... То пишутся красивые романы с полетами на метле и прочими праздниками...

Циолковский полагал, что человечество развивается в направлении жизни бестелесных, чисто энергетических разумных существ, которые, возможно, будут питаться непосредственно космическим излучением. Там не будет грязной посуды, стирки-глажки, мытья полов и выноса мусорного ведра. И вероятно, размножаться эти существа придумают каким-то более стерильным способом.

Но пока мы все-таки не духи, и роман вызывает, по крайней мере у меня, излагаемую здесь череду размышлений, уместно будет сказать, что «Дон Кихот» — это воистину антирелигиозное произведение. Заряд его атеизма

настолько глубок и огромен, что до сих пор продолжает будоражить сознание и взрывать нелепости христианства. Именно это меня очень привлекает, вдохновляет и чрезвычайно радует! А жену мою, вероятно, отпугивает.

Конечно, в том, что рассказывают астрономы и физики мало утешительно-го, а больше непонятного и даже страшного. Сингулярность, Большой взрыв, грядущее столкновение галактик, ускоряющееся разбегание границ Вселенной под действием темной энергии... Откуда все взялось, куда летит? Вопросов больше, чем ответов. Но есть надежда, что ученые постепенно разберутся. Дьявол, может, и прячется где-то в темной материи-энергии, но очередные Эйнштейны и Планки его непременно оттуда выковыряют.

А тех журналюг, которые раздувают апокалипсические бредни, надо сечь розгами публично и показывать экзекуцию в YouTube.

Просвещения дух и Дух Святой

Когда наш сын начал учиться на химфаке МГУ, куда как победитель международных олимпиад был принят без экзаменов, я наивно надеялся, что там ему быстро прочистят мозги и привьют естественно-научные взгляды. Однако даже на третьем курсе, проводя исследования в самых современных лабораториях, он продолжает в общезнании на Пасху красить яйца, чем вызывает восторг своей матери и студенток вокруг.

Слабый атеистический настрой уважаемого вуза и всего высшего образования меня крайне огорчает, как и тотальное наступление поповства на повседневную жизнь постсоветских граждан.

В российском царстве-государстве жизнь то и дело идет по заколдованному кругу с повторами, напоминающими фарс с известными граблями. Вот на «Первом канале» показывают сюжет, как в одной школе особо набожный директор привлек к школьной программе батюшку, и проходившие мимо дети должны были целовать ему руку. И так продолжалось долго, пока не возмутились узнавшие об этом родители.

В Республике Алтай больного ребенка неделю отмаливают в церкви, не допуская врачей, пока у того не поднялась температура до 40. Когда родители привезли его в больницу, медики поставили диагноз «клещевой вирусный энцефалит менингеальной формы». Малыша, к счастью, удалось спасти.

А вот история с прошлогодней сессии в Московском энергетическом институте (МЭИ). Друг детства моего сына сдавал физику очень строгому преподавателю. Мог бы назвать имена, но не буду. Взял первокурсник билет и понял, что не готов. Затрясло его от страха, и отвечал он что-то невразумительное.

Наставник решил пояснить ему закон и спросил, понимает ли он его действие. Тут студент вспомнил ходившие слухи о религиозности экзаменатора и в отчаянье выдал:

— На все воля Божья!

— Правильно! — воскликнул потрясенный глубиной его мысли кандидат физических наук и на глазах у шокированной аудитории поставил в зачетку пять баллов. В тот день такой высокой оценки не удостоился более никто.

Увы, это не анекдот, а убогая правда. Тенденции лучше всего видны в крайностях, и произошедшее весьма характеризует ситуацию, сложившуюся в

стране, которая до сих пор продолжает жить по Салтыкову-Щедрину: «Российская власть должна держать свой народ в состоянии постоянного изумления».

Несмотря на коллективные письма профессоров и нобелевских лауреатов, Минобрнауки уже вменило академическому сообществу теологию как научную специальность. Теперь богословы смогут защищать ученые степени не только в духовных, но и в государственных научных и учебных заведениях. Ну что ж, оно может и к лучшему, и наши академики будут чаще общаться с иерархами и, вероятно, даже станут членами советов по защите диссертаций, скажем, на тему: «Сколько чертей может уместиться на острие космической ракеты?». Пока же в угоду церкви пересматривают школьную программу, запрещают постановку сказки Пушкина «О попе и работнике его Балде», оскорбленные защитники православия крушат выставку в Манеже, устраивают «страсти по Тангейзеру». Чувства новых верующих оскорбляет все подряд.

А меня оскорбляет профанация науки, я тоже чувствую себя оскорбленным за оскорбление здравого смысла и научного знания. Почему верующие не должны уважать мои чувства и убеждения?! Искусство (как и наука) вне морали и призвано «ласкать и карябать», оскорблять и будоражить чувства, иначе общество погрязнет в собственном болоте.

Ковчег религии по-прежнему поддерживают страх смерти, лень мысли, желание жизни вечной и жажда мессианства. Потому это дырявое корыто продолжает плыть по нашим просторам, по бездорожью, по неустроенности, безработице, безнадее, по разливам алкоголя и невежества, находя себе пристанище в отчаянии людей и в строениях с крестами и полумесяцами на крышах, где всякие ловкие попы, ксендзы, имамы и прочие падре от имени Всевышнего норовят направить пассажиров на путь истинный, прибирая их кровные сбережения.

Подобные размышления навевал на меня роман «Дон Кихот» в процессе очередного прочтения. И потому с некоторым удовлетворением и даже злорадством вспомнил я эпизод, когда Дон Кихот, с нечастым для его миссии успехом, остановив ночной кортеж, поколотил очередного недовольного монаха, а Санчо, не теряя времени, проверил поклажу чернецов и прихватил увесистый мешок добротного провианта.

Хотя вполне допускаю, что на кого-то это событие столь благоприятное впечатление вовсе не произведет.

С чего начинается Родина?

Возможно, во мне играет имперская ностальгия, но, грешен, люблю я купольный перезвон и мощный удар тяжелого колокола. Особенно здесь, в Азии, как подтверждение славянского присутствия среди исламских просторов. Среди ревущих с минаретов по утрам и вечерам репродукторов «Аллах акбар!» золотой купол церкви Пресвятой Богородицы где-нибудь в Кызылорде — последний оплот всего, что осталось от миллионов уехавших соплеменников.

Мы, пережив иллюзии коммунизма, не пережили иллюзии христианства.

Дон Кихот — сумасшедший. Но что в сухом остатке? Какова иерархия его ценностей? О чем он думает, начиная приготовления к своему бессмертному вояжу за честь и справедливость?

Знаменитое восклицание Дон Кихота: «Я знаю, кто я такой!» — отсылает нас непосредственно к именам персонажей романа, которые можно интерпретировать, как Благородный набедренник на кляче из кляч с оруженосцем Санчо Брюхо.

Сначала имя собственное, т.е. он сам (начало европейского индивидуализма), но тут же Дон Кихот задается вопросом: откуда он? Он уверен, что прославит свою землю и объявляет себя Ламанчским. В современных категориях Дон Кихот — правый патриот. И во имя Родины будут совершены его подвиги.

Ну а девушки, как говорится, — потом.

Что может реально объединить разрозненных людей? Не только внешняя угроза. Но также не предрассудки и заблуждения предков. Россия донкихотствует на свой лад, провозглашая особый путь, третий Рим и православное мессианство. Где ты, наш Санчо, который убедит поберечь голову и не разбить ее о скалу!

Единственная надежная база для государственной идеи — это чувство Родины у сограждан, это гордость за страну, которая может не об пол поклониться, а открывать и созидать новое, и при таких гигантских природных ресурсах, заботясь о своих людях, стать, наконец, самостоятельной.

В русском народе сильна именно эта нетленная составляющая — ощущения близости своей земли и единение с ней. А силу объединяющего русского слова еще раз подтвердило недавнее всеобщее от края до края России чтение романа «Война и мир».

Но если ты любишь Родину, ты должен беречь ее и заботиться о ней. Ад и геенна огненная — детский лепет по сравнению с тем, что может устроить сам себе человек на своей планете. Ни одно существо еще не выживало в собственных отходах.

Здесь я позволю себе процитировать самого себя, используя фрагмент из давно опубликованной повести о поездке на Глобальный экофорум-92 в Рио-де-Жанейро.

«...На центральной площади парка «Фламенко» висело панно величиной с экран широкоформатного кинотеатра. Оно изображало сюрреалистическую картину замещения живого земного покрова произведенным человеком мусором: вспоротыми консервными банками, пластиковыми бутылками, искореженным металлоломом, горящими стволами деревьев, разрушенными строениями...

В самом центре площади на помосте было установлено библейское «Древо жизни», трепетавшее золочеными листочками, а рядом на специальных щитах каждый желающий мог прикрепить свое послание человечеству. Сотни участников Форума, обступив щиты, писали, как обустроить и спасти нашу живую планету.

Еще издали я заметил приближающуюся странную фигуру человека, которому все уступали дорогу. Ему было около тридцати лет, он брел босиком в одних джинсовых шортах и с терновым венцом на кудрявой шевелюре, бутафорская кровь и настоящий пот, смешиваясь, струились по его щекам и мускулистому телу, капая на песочную дорожку. Не глядя ни на кого, согнувшись, он тащил на себе тяжеленный деревянный крест с нарисованными на нем океанами и континентами. В его облике вместе с некоторой комичностью было что-то очень серьезное, останавливавшее взгляд прохожих и заставлявшее задуматься. Вероятно, он символически изображал равнодушную часть человечества, взвалившую на себя ответственность за судьбу Земли. Его одинокая

фигура выражала как бы упрек и одновременно призыв — присоединиться и следовать за ним.

Ощущение экологического императива — сродни религиозному чувству, но гораздо более естественно и морально. Никто не может возложить на тебя эту ответственность, если ты сам ее не понимаешь.

Свою миссию я уже видел в том, чтобы донести это новое для меня чувство до своих будущих читателей».

Отче наш

Так о чем эта старая книга? О лабиринтах сознания, о заблуждениях и миражах человечества. «Слова, слова...» — они были, есть и будут, и это обеспечивает книге бессмертие. Она не дает рецептов избавления, она живописует саму природу болезней разума, весь спектр сотворения и протекания человеческих иллюзий, произрастающих на органике логоса. И самая масштабная из них — религия, в начале которой было слово. А сам Дон Кихот — метафорическое отождествление «мистического тела Христова» и «тела» странствующего рыцарства с идеей установления Царства небесного на Земле. Пусть Сервантес был искренним францисканцем, но он был и честным художником: он смотрел правде в глаза, какой бы страшной она ни казалась, изобразив грандиозную карикатуру на Спасителя, хотя вряд ли желал того.

После изгнания дьявола коммунизма накашпированное население бывшего большого Союза взяли тепленьким представители древнейшего и гораздо более профессионально в плане чудес подготовленного сословия — попов, и не только христианских.

Чему учит Дон Кихот? Мужскому делу — как бы ни было тяжело, поднимать копье, идти бороться за правду и искоренять кривду.

Пусть боги умерли, но человек всегда находится в поиске идеала, истины, справедливости, чего-то постоянного вечно сущего, на что можно было бы опереться в своих поступках, создать собственный этический кодекс, обрести смысл жизни.

Я не воинствующий атеист, с женой как-нибудь уладим наши разногласия: подарю ей крем для тела и новую метлу, а сыну я рекомендовал выучить наизусть «Отче наш», авось пригодится на защите курсовой по хроматографическому анализу высокомолекулярных соединений.

Но парень-то смывленный, я уверен, придет время, и он откроет для себя старую, но такую современную книгу о хитроумном идальго Дон Кихоте Ламанском. И, как я, посмеется до слез.

Вадим Жижин

«В заветном исчезающем молчанье...»

История души и судьба страны в письмах детского врача

Виделись мы лишь однажды. Он приезжал в Москву на какие-то медицинские курсы и заскочил ко мне на полчаса. Но почти десять лет мы переписывались.

Вадим был моим необыкновенно отзывчивым и благодарным читателем. Когда мы начали обмениваться письмами, я работал в «Комсомолке», потом — в созданной Симоном Соловейчиком новой педагогической газете «Первое сентября». Вадим не был учителем, но нас связывали общие интересы. Его профессия — детский доктор — сродни учительской. Детям, которых лечил, он давал и все то, что дает ученикам хороший учитель. На дежурствах читал с ними книжки, рассказывал сказки.

Окончив десять классов в городке Бабаево Вологодской области, Вадим часто приезжал в родную школу №1, к любимому учителю литературы Федору Дмитриевичу Кучмаю. И не просто навещал его, а помогал — участвовал в постановке спектаклей и проведении литературных вечеров.

Так было и в 1999-м, в год юбилея А.С.Пушкина. Вадим играл тогда Пушкина в четырех школьных спектаклях. Он привез мне видеокассету с одним из спектаклей, и я видел, как убедителен Вадим в этой роли. Это была не игра в Пушкина. Он был Пушкиным, попавшим в девяностые, — исхудавшим, нервным, резким и при этом — легким, почти бесплотным.

На пушкинские спектакли с участием Вадима Жижина стремились попасть все жители маленького райцентра, переживавшего заброшенность, безработицу и нищету. Свет школьных окон согревал застуженные сердца. Зал был полон. В письмах Вадима это все рядом, на одной странице — подготовка к пушкинским вечерам и забастовки учителей, Тригорское и невыплаты зарплат, порыв к гармонии и жестокая реальность...

Вадим Жижин родился в 1963 году, окончил Ленинградскую (сейчас — Санкт-Петербургскую) педиатрическую академию, вернулся на родину, работал в Бабаевской центральной больнице, потом в Череповце в местном подразделении МЧС. Умер Вадим, тяжело заболев после одной из спасательных операций. Осталась сиротой маленькая дочка.

В это трудно поверить, но вскоре после того, как я получил горькую весть о его смерти, у меня вновь появился в Бабаево товарищ по переписке, и его звали... Вадим. Очень талантливый двенадцатилетний мальчик посылал мне свои малень-

кие рассказы о природе, о рыбалке, о детских приключениях. Эти рассказы поражали серьезностью, неожиданными сюжетами, художественным вкусом.

Я отправил опыты Вадима-младшего на один из всероссийских литературных конкурсов. Рассказы бабаевского мальчишки так удивили жюри, что его вместе с папой-лесорубом и мамой-учительницей пригласили в Москву. После вручения призов Вадим как настоящий писатель раздавал автографы.

Самое удивительное, что пути обоих Вадимов, старшего и младшего, пересекались в реальности. Когда я провожал семью юного писателя домой, его мама, Любовь Иннокентьевна, рассказала мне, что в раннем детстве мальчик сильно заболел. Диагноз оказался тяжелым, местные доктора ничем не могли помочь. Необходимо было срочно везти ребенка в областной центр, а денег в семье как назло совсем не было. Отец остался без работы, в школе не платили зарплату. Люба с малышом остановилась на пороге районной больницы и заплакала от отчаяния. Тут вышел молодой врач в халате, передал растерянной женщине деньги, успокоил, сказал, что обязательно все будет хорошо.

Тем молодым врачом был Вадим Жижин.

Поступок говорит о многом в его характере — об отзывчивости, щедрости, порывистости... Об остальном расскажут письма, написанные тонким летящим почерком, столь похожим на пушкинский.

Дмитрий ШЕВАРОВ

19 января 1996 г.

Когда я слышу эти слова — «Здравствуй, Дима», — всегда вспоминаю детство. До определенного момента нас мало занимает звучание нашего имени, и лишь взрослея, мы привыкаем к нему, так же, как привыкаем к внезапно понизившимся потолкам, стенам, большим ботинкам и курткам. Иногда этот переход легок и незаметен, иногда — долог и труден.

У меня два имени, точнее два уменьшительных, выросших в два имени: Дима и Вадик — Дмитрий и Вадим.

Дима — детское, теплое, сокровенное, потаенное, ставшее близким и родным, и даже, когда будучи уже взрослым, крестился (не выбирая преднамеренно дату), не очень удивился, узнав, что день этот — день Святого Димитрия Ростовского (да и как же могло быть иначе), а Вадим (но никогда Вадик), мое нынешнее взрослое имя, — князь-бунтарь Вадим Храбрый, сеятель смуты. В XI веке он возглавил восстание новгородцев против Рюрика.

Как часто мы делаем труднообъяснимые, с позиции здравого смысла, поступки. Вот и сейчас, за несколько часов до отъезда в свой любимый город, сижу и пишу тебе письмо...

Одна умная девочка сказала, что я живу так, будто «жизнь — это оплаченный отпуск ангелов». Интересно, бывает ли у ангелов отпуск, и если да, то чем его оплачивают? Солнечным светом или лунным?..

3 февраля 1996 г.

Недавно, возвращаясь в свой городок из Санкт-Петербурга, стал участником обычного дорожного разговора.

Действующие лица: мужчина лет 40, блеклой внешности, при разговоре оказавшийся и бойцом «афгана» в 79–80 гг., и заочником института водного транспорта — «ползу помаленьку, мозгов-то ведь маловато, вот за «афган» жалеют и половину зачетов ставят», на что 19-летний парень, второкурсник экономического факультета, отличник, заметил: «Нашли, чем хвалиться». Но глаза у парня были хорошие, ясные, и весь облик его светился здоровым, северным духом (паренек из Вологды), видно было, что соблазны жизни, как то: огонь, вода и медная труба — еще не коснулись его. Третьим участником была женщина-пенсионерка, но работающая. Где, не знаю, вероятно, чем-то приторговывает, как упомянула она вскользь...

Но более всех меня заинтересовала тихая, грустная, полная, скромная женщина лет сорока с хвостиком, спокойно сидевшая с краю. Она везла стиральную машину и продукты своей сестре в Горицы. Когда-то там был богатый женский монастырь, славившийся садами и сырным заводиком, а также красою мест окружающих. Еще недавно все было заброшено, надгробия валялись окрест, а некоторыми были вымошены дорожки. Грязь и запустение царили, и лишь собаки рыскали среди развалин.

А кругом красивейшие места — озера, леса; в восьми километрах от Гориц — знаменитый Кирилловский монастырь, а еще в двадцати километрах — не менее знаменитый Ферапонтовский монастырь с фресками Дионисия в главном храме и маленьким чистым озером с ласковым песчаным дном. А в сорока километрах — славный город Белозерск, вблизи которого Новозерский монастырь, в котором, умирая, горько сокрушался ныне св. Кирилл Новозерский, и не зря сокрушался — ныне там «знаменитый» Белозерский «пяточок» — тюрьма особо строгого режима...

Вот какой слой мыслей подняла эта тихая, грустная женщина. Сестра ее, закончив два института (один из них — журфак), бросила квартиру, работу и отправилась с одиннадцатилетней дочерью в послушницы. Сейчас занимаются возрождением Горицкого монастыря. Местные жители помогают кто чем может. Сестра вот регулярно ездит, пенсию возит. У нас одной рукой восстанавливается Храм Христа Спасителя, а другой рушатся города в Чечне.

Не можем мы судить время, живя в нем, но люди наши давленные-передавленные — хорошие.

А кругом на многие сотни верст — занесенные белым снегом леса, все еще густые, поля, пока еще пустые, и берег, милый для меня.

12 февраля 1996 г.

Здравствуйте, Дмитрий.

Не стану лукавить, ваш ответ явился для меня не приятной неожиданностью, а вполне данной радостью общения с близким по духу человеком. И разве так уж мы разделены. «Так же и я разделен сейчас с кем-то, — подумалось мне. — Навсегда разделен». Какое грустное слово «навсегда», но и... связан —

одной на всех зимой и даже мыслью. Ну конечно же вы узнали свою милую «Неоконченную пьесу 31 декабря»¹. Ох, как не случайно сошлись на вашем столе эти три дневника «и добрые мысли идут себе в разных частях времени и пространства».

«Пьеса...» не первый ваш материал, читаемый мною, были и другие. И всегда, всегда они вызывали ответный отклик, некую сродненность душ и сердец, но именно «пьеса» подвигла меня написать вам. Да, именно подвигла, ибо, и в этом вы правы, нет писем случайных и неслучайных, и ваш замечательный ответ лишь подтверждает это правило.

А теперь несколько слов о себе. Ведь это уже третье письмо. Да, Бабаево — мой родной и любимый город. Вот уже три года живу в своем родном городе, постепенно прорастаю, обретаю вновь корни и уже не хочу никуда уезжать, еще столько дел предстоит здесь сделать.

А когда выйдет срок, ну что ж, как Агасфер — вечный странник, так и я готов сняться с насиженных мест и полететь в дали далекие, неизведанные, где ждут моего участия и тепла какие-нибудь обездоленные люди. Я тоже доктор (как доктор Швейцер), а скорее, как Айболит, ибо как-то уж так укоренилось, что Айболит — детский доктор, хотя и Айболит, и доктор Дулитл лечили всех без исключения. Но детей лечить легче, ибо они отзывчивее на тепло, ласку и твой труд.

Вот всего лишь неделю назад был в Вологде на областном совещании. Возрождается городок и духовно, и культурно, и материально. И хотя белой глыбой возвышается над городом здание с золотым гербом — оплот государственности, а не храм, что ж, ведь и оно по-своему украшает город.

Почему-то вспомнился мне сейчас обаятельный Влад Листьев, вот уж скоро год... В 1985 году все думали, что страна после долгой болезни встала на путь выздоровления, через 10 лет я вынужден признать, что страна больна, очень тяжело больна.

Почему-то у нас принято не замечать, как гибнут тысячи, а при гибели одного, пусть даже и замечательного, лить слезы и вводить траур. Многие, многие из тех, кто был по настоящему дорог, ушли от нас в прошлом году. Они ушли, но они с нами, их голоса. Неважно, сколько человек прожил так называемых земных лет, важно, что он успел сделать, и не менее важно, что он успел понять.

8 апреля 1996 г.

<...> Я впитывал культуру Ленинграда-СПб как губка, боясь не успеть: фильмы, спектакли, выставки, фестивали, концерты. <...>

Мне хочется понимать не только внутренний мир, но и наружный. Я еще не соприкоснулся с сокровенными местами Земли. Сейчас стараюсь расширять географию своих путешествий в строгом соответствии с познанием мира внутреннего. В это лето, если Господь сподобит, поедем на велосипедах на Псковщину.

...Несколько лет назад, зимой, я куда-то спешил (а хожу я быстро, почти бегом), и старушка в старой коричневой шубе попросила довести ее до магазина,

¹ Речь идет о новогоднем эссе Дмитрия Шеварова в «Комсомольской правде», из которого взяты приведенные в письме цитаты (*прим. ред.*).

а я отговорился занятостью и сказал: «Попросите кого-то другого, мне некогда...» Я и сейчас еще вижу эту старушку. Я бежал и все оглядывался, а старушка все стояла и стояла...

А потом, тоже зимой, мне встретился нищий, а может быть святой?.. — какие-то нелепые обноски, в одной руке он держал сломанный детский стульчик, а в другой — трогательный кулечек с помадками. У него были добрые, грустные, мудрые, иудейские глаза. Он попросил денег, а я не дал, опять спешил... Можно привести сотни аргументов в мое оправдание, но их не должно быть ни одного!

Идеал недостижим, но к нему надо стремиться. Вот таким идеалом в работе для меня стал Игорь Михайлович Воронцов, руководитель одной из трех кафедр педиатрии в моем институте. Он призывал нас, студентов, испытывать страх за больного ребенка и восторгаться здоровым малышом, грацией его движений, его ласковостью и непосредственностью... Теперь я сам говорю об этом коллегам.

Как нам разорвать этот порочный круг: больная мать — больной ребенок. Педиатрами России выработана «Национальная программа по охране материнства и детства», она представлена президенту, правительству, но... Не буду, не буду, не буду о грустном. «Пух чувствовал, что он должен сказать что-нибудь полезное, но не мог придумать, что именно. И он решил вместо этого сделать что-то полезное». Замечательный Пух. Если бы все так.

У меня тоже есть Пух из детства. Он и сейчас сидит и сосредоточенно смотрит на меня — большой, неуклюжий, родной, в вельветовой рубашке и шортах, которые я носил в пять лет.

<...> Да, нельзя уезжать из страны, когда ей трудно, а то останутся одни негодяи и кто же будет ее возрождать? В нашем городке промышленность умирает — давно стоят современные корпуса бывшего филиала фабрики «Светлана», мебельная фабрика с трех смен перешла на одну. А в деревнях все меньше детей, все больше хворых старушек. И только идут в неясную даль и ночью и днем поезда, груженные лесом. Редуют леса, высыхают болота, все меньше грибов и ягод.

Сосны у нас — храм под открытым небом с устремленным в него красноватым сиянием гигантских свечей.

Догадываясь, как мало у вас времени, не жду скорого, не жду частого ответа. Я знаю, что в горделивой Москве живет мой собрат по духу и драгоценное слово не умрет.

9 мая 1996 г.

Сейчас ночь, но я не сплю. Я дежурю. Ночное дежурство по больнице. Почти все спят, а я нет. И мне даже нравится это, вот только «скорая» периодически выезжает на чужую боль, а у нас пока тихо. Тихо и идет дождь. Березки уже подернулись сеточкой клейкой первой зелени. Как я люблю это время: крошечные бутончики мать-и-мачехи, маленькая темно-зеленая крапива, сныть... А в небе — летят журавли, гуси, кричат кулики, скоро и соловьи начнут выводить свои рулады. Земля набухла, все дышит полной грудью, все живет... Ах, гуси-гуси, гуси-лебеди, лето промелькнет, и вы снова умчитесь в теплые страны.

Пришлось на полчаса прерваться и зашить рану на кисти одному пареньку. Праздник — пьяные разборки, дела обычные. Хорошо, что только кисть. Хотя

я и не хирург, но иногда приходится «штопать». Занятия по оперативной хирургии не пропали даром.

Дождь тем временем совсем закончился, и я уверен, что завтра будет тепло и солнечно. И бутылочкой «Алазанской долины» мы отметим уходящий и вечно живой праздник Победы. Мой дед погиб в 1944-м под Киевом. Моя мама даже не помнит его, ей был всего год, когда он ушел на войну.

Моя мама Августа Ивановна вспоминает, как он, проездом из Ленинграда на фронт, забежал домой, поцеловал жену, взял на руки годовалую дочь, поцеловал и ушел в никуда, чтобы, защищая Родину, погибнуть. Судьба моей мамы — это судьба сотен тысяч людей, родившихся в предвоенные годы <...> Мы никогда не узнаем всей правды о войне, да и нужно ли это? Главное, чтобы добро не иссякло, чтобы мы не утратили память...

10 июня 1996 г.

<...> А ведь действительно люди так быстро забывают обо всем. Свобода как воздух: когда она есть — ее не замечаешь, а когда нет... Но совсем немногие, оказывается, страдали без нее (судя по моим личным разговорам с земляками), все больше вспоминают о стабильности, о дешевых билетах в поездках по стране, о мебели в кредит и о многом другом, почему-то умалчивая о том, о чем стыдно вспомнить... не буду приводить длинный список.

Бог даст, и Россия не пойдет по новому кровавому кругу, Бог даст — не покатится красное колесо. <...> Все те, кому я сейчас пишу, молчат. То ли по занятости, то ли по нежеланию, то ли еще почему-либо. Да, мои письма трудные. В них мало о погоде, о тряпках и делах будничных. <...>

Тебе повезло — у тебя был в детстве замечательный дед, и отец, наверное, был? А моими дедами, отцами, братьями и друзьями были Дюма, Бальзак, Скотт, Гофман и Гауф, Андерсен и братья Гримм.

Я вырослел, менялось время, и ко мне пришли Набоков и Солженицын, Ахматова и Бродский, Цветаева и Пастернак, Гессе и Манн, Достоевский и Джойс, Ричард Бах и Генри Миллер, Борхес, Мережковский, Одоевцева и Берберова, Шмелев и Булгаков!..

Жизнь такая короткая, так много еще нужно сделать...

Помнишь Наденьку Рушеву? На ее выставке висел список книг, которые она успела прочитать к своим 17 годам. Там было почти все, что нужно.

Недавно по радио была хорошая передача — «Душа в заветной лире». Бенедикт Сарнов размышлял о Василии Розанове и сказал одну фразу из дневника Льва Николаевича, дословно не помню, но там о совести, что жить надо по своей совести, а не по чужой. <...> Жить по образцу силенок не хватает и получается, что живешь вообще без совести — и не по своей, и не по чужой.

После передачи полистал «Опавшие листья». Интересный был дядька Василий.

Я вообще сейчас мало читаю, времени мало. Его всегда мало. Мне всегда хотелось чуть-чуть раздвинуть сутки, особенно вечер <...>

Второй день стоит настоящее лето. Буйствует зелень, отцвели яблони, черемуха, цветет сирень, тюльпаны. Краски еще свежи и яркие. На огороде можно побаловаться петрушкой, луком. Ах, о чем это я? О лете. О быстротечном северном лете...

19 июля 1996 г.

<...> Я верю, что все еще впереди, что где-то есть светлый мир. Я не знаю — здесь или там, не знаю, суждено ли нам или нашим потомкам его увидеть, но знаю, что он есть. Знаю, что здесь и сейчас он тоже есть. Что-то светлое и великое помогает нам жить, именно жить, а не выживать, несмотря на все трудности... Вот разве не счастье, что я могу писать Вам, а Вы отвечать. <...>

Сегодня, возвращаясь от мамы, видел журавля, взлетевшего из придорожной заболоченной канавки, и на душе стало так легко и спокойно.

26 января 1999 г.

И мысли в голове волнуются в отваге,
И рифмы лёгкие настречу им бегут,
И пальцы просятся к перу, перо к бумаге,
Минута — и стихи свободно потекут.

А. С. Пушкин

<...> В этот раз в Вологодской области бастовали уже 150 школ. И наш район не исключение. После каникул учиться пошли только ученики 65-й железнодорожной школы, прочие школы закрыты. Нет, не совсем, днем в них приходят учителя. Но уроков нет, детей нет, и страшно по вечерам идти мимо темных окон своей родной 1-й школы, работавшей в две смены. И наш учитель словесности Федор Дмитриевич Кучмай, который всегда говорил, что «не хлебом единым...», конечно, не остался в стороне, тем более, что его жена Наталья Анатольевна тоже учитель-словесник и директор школы-восьмилетки. Они устали от произвола администраций всех уровней и пошли на крайние меры. Мне немного стыдно на их вопросы о зарплате говорить правду, что я получил почти все, включая декабрь, за прошлый год. Стыдно и больно, но чем помочь, кроме доброго слова? Из своих крох я могу помочь только маме.

Когда-то давно, лет в десять, я фантазировал об исполнении желаний. Иногда в сказках можно было попросить только об одном желании, и на этот случай я придумал такое: пусть все люди на Земле будут счастливы, ведь я тоже человек и, значит, тоже буду счастлив. «Счастье есть полная и окончательная готовность выстрадать судьбу...» Это Бродский. Сейчас я учу его стихи, хочу сделать вечер под условным названием «Знакомство с Бродским». В Бабаево немногие знакомы с его творчеством.

Прошу помощи Федора Дмитриевича, потому как я просто чтец, а он как режиссер и ведущий несравненен. Но сейчас еще впереди юбилей Пушкина. Планировались еще два вечера: «Тригорское» в феврале и последний в середине мая. <...> Кстати, вдохновленный книгой В. Похлебкина о кулинарии в произведениях русских писателей, Федор Дмитриевич написал сценарий «Пушкинского застолья». Все это можно уложить в весьма скромные суммы. Владелица одного из наших кафе заинтересовалась, но пока молчит... Кстати, Федор Дмитриевич — замечательный кулинар и огородник.

<...> В Вологде моя любимая улица — Пушкинский бульвар. Как-то я даже жил на бульваре — два раза по месяцу. Помните тот ветхий двухэтажный особнячок напротив кинотеатра? — это общежитие медицинских работников.

27 января 1999 г.

<...> Сегодня вечером был у Федора Дмитриевича. Пришел к нему уже довольно поздно, около десяти вечера. Его домашние уже спали, а маэстро работал: печатал Пушкинский сценарий для детдома, где он подрабатывает в вечерние часы. Нет худа без добра: за время забастовки уже готов черновик сценария для последнего вечера в школе. Это Тригорское, 1824—1826 годы и связи с ним. Материал огромный и интереснейший. Жалко будет все уминать в один вечер. Быть может, удастся сделать в двух вечерах, как когда-то Виктор Татарский читал сцены из «Мастера и Маргариты» в двух вечерах в Ленинградском концертном зале. <...> Так что с Бродским придется погодить до осени. Не серчай, Иосиф Александрович. «Вы должны немножко набраться терпения», — сказал NN, зав. отделом поэзии в журнале. — «Да? — сказал я. — Я, по-моему, могу его уже выделять» (И. Бродский, из записной книжки 1970 г.).

Федор Михайлович и Наталья Анатольевна живут в замечательном месте, у подножья Каменной горы — холма, поросшего дивными мачтовыми соснами. Там всегда удивительно свежо, легко дышится.

6 октября 1999 г.

Вот я и дома — уже второй день. Будучи в СПб., сходили погулять в мой любимый Павловский парк. Погода благоволила. Народу гуляло видимо-невидимо, но еще больше было листьев — желтых, желто-зеленых, багряных, пурпурных. Они были везде — на деревьях, тропинках, лужайках; в почете — кленовые, на головах, венками. Венки поехали в город, напоминая об осеннем пиршестве, а мы гуляли с дочкой моей подруги — очаровательным 16-летним созданием, выпускницей художественной школы — и все о чем-то говорили. А в воздухе стоял этот ни с чем не сравнимый запах опавшей листвы; на дорожках запасливые посетители кормили с рук белок — они любят семечки и фундук. Фундук в скорлупке хватают и тащат в дупло. Но нужно было возвращаться, и мы вернулись; а следующим вечером поезд СПб.—Вологда уже нес меня к родным стенам.

Как здорово снова оказаться дома! И понять, что лето уже прошло, что битва за урожай с большим трудом, но выиграна, что родители здоровы, что пес Персик по-прежнему предан тебе, что в начале октября ночью еще 15, а днем — больше 20 градусов.

Этим летом стояла невероятная сушь. Мы оценили масштабы этой суши, когда пошли с Персиком на прогулку: все ручьи пересохли, там где в лесу всегда стояла вода, прошли беспрепятственно, и даже пруд превратился в жалкую лужу. Картошку, капусту, все приходилось поливать. Совсем нет ни калины, ни рябины.

<...> Вчера отвозил молоко Кучмаям, немного поговорили. Этим летом Федор Дмитриевич ездил с учителями на микроавтобусе по святым и литературным местам: Углич, Оптина пустынь, Ясная Поляна, Полотняный завод, Константиново. В период отпусков Кучмаи всегда организуют чудесные паломничества.

Да, я забыл в прошлый раз сказать Вам, что в июне в кафе у них был вечер: «Что ели и пили на Руси во времена А.С.Пушкина» — литературно-музыкальный вечер со столиками, на которых были блюда из меню А.С. и напитки —

водки, наливки, но не было французского вина и шампанского — слишком дорого. Зато были стихи, романсы, танцы и музыка. Там была моя мама, сидела за одним столиком с женой Федора Ивановича, смеялась весь вечер и осталась очень довольна.

<...> Впереди поездка в деревню, к общим знакомым, надо еще заехать в больницу, свозить племянника на лесную прогулку, помыться в домашней бане и еще раз посетить Кучмаев.

Привет Вам от Ф.Дм. и моей мамы.

13 октября 1999 г.

Я по-прежнему в родных местах. После трех дней октябрьской мороси установилась ясная теплая погода, прерываемая теплым почти грибным дождиком. Сегодня самодельным плугом вспахали часть огорода. Осталась неубранной только капуста — кочаны еще наливаются. Завтра буду варить домашний борщ — полностью из своего урожая. Вчера вместе с Персиком нанес визит в районку — взяли почитать «Новый мир» <...> Заодно полюбопытствовали, какой был тираж у «НМ» в 1990 г. — 2, 7 млн экз., в 1993 г. — уже 74 тыс., а в 1999 — до 15 тыс. немного не дотянули, да из них почти 5 тыс. выкупает Гениева с подачи Джоржа Сороса. Но главное, что он *выходит*... <...>

Сегодня наши натуралисты (мама и Володя) наблюдали утром в огороде на яблоне редких для Бабаева птичек — мелкие, светло-серого цвета. По энциклопедии птиц мы определили их как лазоревок, а после обеда мама, будучи в городе за хлебом, видела еще более красивых птишек — побольше размером, с хохолком, красно-коричневых. Этих мы определили как свиристелей.

Близится зима, спешат птицы в теплые края. Журавли-то уж давно пролетели.

А в лесу такая *благодать*: листвы на деревьях почти нет, этот удивительный осенний запах мха, опавшей листвы, мокрой коры... Нет, не зря А.С. так любил осень. Есть в ней что-то непередаваемо прекрасное, каждый раз неповторимое и таинственное.

2 января 2001 г.

Вот и наступил долгожданный XXI век. <...> У меня не сохранилось связной картины моего детства, почти до девяти лет — огромное белое пятно с яркими отдельными вкраплениями запомнившихся событий. Иногда совсем незначительных. Помню чувство стыда, когда я возвращал соседке тете Тамаре украденную красивую пуговицу. А потом: когда тетя Тамара уезжала в Ленинград, я чуть не сбежал за нею следом, но был вовремя пойман. Так я был влюблен.

А еще я был влюблен в красивую молодую учительницу из Череповца, она отрабатывала в нашей школе три года после института. Она не вела у нас уроков, но она часто приходила в библиотеку, где я то и дело копался в книжках. Как-то раз я стал раскачивать ее на стуле (мне было лет 13), красивые рыжие волосы откинулись, и я увидел у нее на шее родинку и поцеловал ее, а стул чуть не уронил. <...>

Память детства, цепкая на мелочи, дает непередаваемое чувство родства. К тем, кого знаешь с детства, относишься совсем по-другому...

16 марта 2002 г.

Пишу тебе с работы, потому как все события настолько уплотнились, что другого времени просто нет. Сейчас 16 часов, уже три раза съездили на вызовы, но ничего примечательного не было. Последний случай: выдернули обгоревшую машину «Москвич» со льда на реке; берег у Шексны пологий и эвакуатору было не подобраться. <...> У меня начинается курс промышленного альпинизма по 6 часов 2 недели, без отмены смен. Поэтому даже поспать будет некогда, не то что отдохнуть.

<...> Весной у меня, как у Александра Сергеевича осенью: рука тянется к перу, перо к бумаге. <...> Да, «Алхимик» Паоло Коэльо чудо как хорош, но закрываешь книгу — и больше не хочется вернуться к ней. А вот «Иосиф и его братья» Томаса Манна я читал шесть лет и когда перелистнул последнюю страницу, то плакал так, как будто простился с верным другом, уезжающим навсегда в дальние края.

<...> Ощущение разгоняющейся центрифуги: все вокруг куда-то торопится, бегут, едут, летят, обмениваются электронными письмами, разговаривают по мобильным телефонам в несущихся машинах, печатают на ноутбуках в летящих самолетах, несутся на роликах по бульварам... И при этом все куда-то опаздывают, забывая оглянуться назад, как будто там, впереди, и есть то самое настоящее, ради которого стоит так бежать и спешить. Но впереди лишь пустота, и достигнув этого понимания, люди останавливаются с открытым от удивления ртом и широко раскрытыми глазами, в которых можно прочесть только одну мысль: зачем?... Зачем мы так торопились, бежали, суетились, зачем не использовали каждый отпущенный миг по назначению, зачем подстегивали, прищипывали время, все время ожидая чего-нибудь другого: в жару — холода, в холод мечтая о жарком пляже; томились в ожидании, когда поезд останавливался и несколько часов стоял посреди поля, а в суматошном городе мечтали хоть на минутку оказаться в тиши, среди ромашек...

Мы яростно пытаемся заполнить пустоту новыми книгами, дисками, шампунями, кремами, мобильными телефонами, автомобилями, ремонтами квартир, повышением квалификации и желанием быть богатыми и знаменитыми. Конечно, я утрирую. <...> И, возможно, что есть какой-то выход, маленькая светящаяся табличка EXIT. И ты сидишь в темном зале кинотеатра, вжимаясь от страха в упругую спинку кресла, размазываешь по щекам соленую влагу, исторгнутую от переживания за судьбы до сего дня неизвестных тебе персонажей, и время от времени поглядываешь на заветную табличку — с сожалением, если фильм интересный, и с вожделием, если это скука смертная, и иногда, да, иногда ты даже встаешь и идешь к двери под этой табличкой, не дожидаясь окончания фильма, и выходишь один на улицу, под теплый дождь, смотришь на заходящее солнце, слышишь птичьи голоса, вдыхаешь запах листвы, а потом, быть может, бродишь по незнакомым доселе улочкам сотни раз хоженного-перехоженного города и открываешь в себе и в нем что-то простое и удивительное. И это счастье. А потом опять погружаешься в кутерму событий, дел, тел и вещей, слышишь отрывки случайных фраз и видишь вокруг манекенов со стеклянными глазами, которые, в свою очередь, думают, что ты тоже манекен, и главное, что надо сделать, — это не столкнуться с тобой лоб в лоб <...> И лишь иногда ты встречаешь пытливый, молчаливый взгляд удивительных синих или

карих, или неважно какого цвета, глаз, который согревает тебя своим лучистым теплом, и ты веришь, что этот взгляд неслучаен. Ты боишься нарушить его очарование, а в это время вновь открываются двери метро, троллейбуса, вокзала, кинотеатра, подъезда, с фырканием и гиканьем проносятся автомобили, и ты снова с тоской и надеждой глядишь на светящуюся в душе табличку с загадочной надписью EXIT.

30 декабря 2002 г.

<...> Я сейчас в отпуске — у мамы. Веду почти растительную жизнь. Ем, сплю, гуляю, читаю, иногда смотрю телевизор. Пишу тебе почти за сутки до наступления Нового года, завтра в это время мы будем сидеть за праздничным столом.

Вчера мы ходили в лес за елкой, да-да, все по-честному — выписали лесобилет, вооружились ножовкой и вперед — через десять минут в лесу и, проваливаясь в глубокие сугробы, когда свернули с тропинки, отряхиваем зачарованные, укутанные густым коконом снега лесные красавицы.

Первая попытка — елочка чем-то больна, половина веток в лишайниках, вторая — и из-под пушистого воротника снежной шубы — выпростались сухие желтые ветки, третья — и вот она — настоящая русская красавица, не очень пушистая, но стройная, ровненькая, с широким подолом нижних ветвей. Доставка на плече — благо идти не далеко, да и не тяжелая она вовсе, вот только так и норовит пощекотать заснеженными колючими ручками шею и щеки.

Ночку переночевала во дворе, а сегодня переселилась в дом, немного поплакала, так что на полу образовалась лужица, а в специальном ведерке — ее удерживают в нем когтистые болты — питательная смесь: мел, сахар, лимонная кислота и, конечно, вода.

Запах, чудесный еловый запах — запах детства: хвоя и мандарины. Сегодня только верхушка украшена, а завтра все остальное — весь королевский наряд. А сегодня еще была баня. Уже не первый год мы, почти как герои рязановского фильма, в канун праздника топим баню. Правда, не 31-го, а 30-го, но за сутки не успеваем особенно загрязниться.

Зима в этом году необыкновенно красивая. Снегу уже намело много. И сейчас он лежит тихо и поблескивает миллионами маленьких огоньков, а луна какая-то маленькая и мутная, напоминает 15 коп. на дне старого колодца, если туда посветить фонариком.

Собачку тоже намыли, и потому он сегодня особенно расслабленный, чистый, золотой и румяный — настоящий Персик — ведь именно так его и зовут. Он, кстати, очень любит ходить в баню, моем его 4–5 раз в год, почти по сезонам.

На улице сейчас минус 10 и тихо-тихо, даже железной дороги, которая буквально в 200–300 метрах, не слышно.

Ах, Дима, как много произошло за эти годы. Ведь когда я написал тебе первое письмо, воодушевленный твоей статьей о Рождестве, ты еще работал в «Комсомолке», а я работал в нашей райбольнице, пытался помогать детишкам и совсем не думал, что все будет так, как есть сейчас.

Мои часы лежат передо мной, минутная стрелка движется к двенадцати, часовая почти на двенадцати, а секундная стоит, но там есть хитрая кнопочка, я

нажимаю ее — и секундная стрелка оживает — и в тот момент, когда все они окажутся на двенадцати, произойдет чудо — родится новый день, последний день 2002 года.

На холодильнике лежит толстая стопка газет «Первое сентября». Все они просмотрены, но почти ни одна не прочитана так, как хотелось бы. Нет времени. Свой дом, как капризный ребенок, вечно ему что-нибудь надо. Зимой — печки, то одна, то другая, то чистка снега во дворе, то вынос воды из дома, то ее доставка в дом, то коз напоить, подоить, посуду помыть и т.д., а потом капризным ребенком становится огород.

Еще предстоит вывезти из леса сено, сложить дополнение к печке-столбенке в зале, будет лежанка с духовкой, а там и весна не за горами, в марте ягнутся козы...

Дай Бог всем нам жить и работать в своем неповторимом ритме, дай Бог не потерять ощущение чуда и сердцем чувствовать, что мир Любви открыт.

С наилучшими пожеланиями, Вадим, Августа Ивановна, Володя и Персик — гав-гав.

8 сентября 2003 г.

<...> Эти события переполошили в конце лета весь Бабаевский район, нашу вологодскую глубинку. Двое девятилетних ребятешек — Кирилл из Петербурга, приехавший на каникулы, Артемка из местных — потерялись в дремучем лесу за сто километров от райцентра. Здешний лес такой глухой, что хорошо его знают лишь лесники да охотники. Водятся там и медведи, и рыси, волки, лоси да птицы всякой летает. Ребята с дедом пошли в лес, но на выходе из деревни деду стало плохо, он потерял сознание. Собака, которая была с ними, осталась с дедом, а мальчишки с перепугу рванули в противоположную от деревни сторону, не сориентировались. Деда быстро нашли местные жители, а ребятешки как в воду канули. Поиски результатов не давали, и на третий день нас, спасателей, послали из Череповца, чтобы координировать поиски. Местные власти подключили спецназ, кинологов с собаками, областное МЧС. На девятый день пропавших ребят искали уже около двухсот человек. Нашли мальчишек утром на десятый день, живых и здоровых. У них даже хватило сил бойко тараторить перед камерами приехавших репортеров. Ребята рассказали, что питались черникой, ее очень много нынче в лесу, спали под елками. Двигались потихоньку. То, что их нашли, — это, конечно, чудо. Но оно было бы невозможно, если бы на поиски детей не поднялись всем миром. С благодарностью вспоминаю деревенского почтальона Олю — у нее в доме мы, череповецкие спасатели, жили всю неделю. Оля написала нам недавно: «Артем уже пошел в школу, а Кирилл только начал ходить по квартире, так стерты ноги...» Низко кланяемся Оле и ее семье — это добрейшие люди, делившие с нами свой небогатый стол, дважды за неделю топившие для нас баню.

А дочка Оли, маленькая Сашенька, оказывается, тоже помнит нас, говорит: «Скоро ребятки мои приедут...»

22 июня 2004 г.

<...> Храм в Бабаево относительно новый, деревянный, батюшка тоже новый, из местных, бывший учитель музыки. Так что пути не закрыты. <...> Вот уже вторую неделю нахожусь в Череповце, в больнице <...> Череповец широко отмечал День России, у дома культуры «Аммофос» два дня были праздничные гулянья с утра до вечера, совмещенные с акцией «МТС — навсегда» или что-то в этом роде. Вечером вспыхивали фейерверки, а поскольку я в выходные находился у знакомых на 8-м этаже, мне все было видно и слышно. А слышно лучше бы не было.

<...> Перед окном палаты растёт большое раскидистое дерево, американский клен, если не ошибаюсь. От него в палате темно, а без него было бы, наверное, грустно. <...> Не идут мысли в голову: ни умные, ни глупые. Вот было время, когда выдохнуть было некогда, а сейчас дыши, сколько хочешь.

«Пути небесные» я читал, хотя есть ли эта книга у меня — не вспомню. Многие книги запрятаны в кладовку. В большой комнате — в основном классики стоят. А в маленькой, в книжном шкафу, как говорится, всякой твари по паре. И главное — почти полка сказок. Сказки любил, люблю и буду скорей всего любить всегда, есть в них что-то чистое, незамутненное, как в воде из родника. Вроде и без сахара и без заварки водица, а вкуснее любого чая.

Ну да ладно, друже, буду заканчивать. Планы такие — подлечиваюсь, увольняюсь из спасателей и устраиваюсь на работу в Бабаевскую ЦРБ. Духом я не падаю. <...>

* * *

И в заключение — стихотворение Вадима, написанное в ноябре 1998 года.

Как трудно сесть за стол и написать
Всего лишь пару слов, за ней другую,
Потом ещё, и снова, и опять,
И вот уже строчить напрапалую...

Как трудно сделать самый первый шаг
Навстречу неизведанным дорогам,
Затем другой, затем ещё, и так
Идти от помысла до Бога.

Как трудно расстоянье воплотить,
Разрушив временные промежутки,
Как трудно просто и дышать и жить,
Соединяя день и ночь — как сутки.

Как трудно ждать и верить, что душа
В конце концов — вернётся к изначалью,
Идти по жизни тихо, не спеша —
В заветном исчезающем молчанье.

Публикация Дмитрия ШЕВАРОВА

Алексей Лисаченко

Немного Кубы минувшей весной

Путевые заметки

Москва — Гавана

На стойке регистрации завис компьютер. Конечно, на мне.

— Извините, — сказала девушка за стойкой. — Придется подождать.

— Что вы, — улыбнулся я. — При чем тут вы? Это техника.

— Спасибо, — ответила она одним взглядом. — Обещаю: у вас будет лучшее место. Как только эта штуковина заработает.

A-330-200. Одиннадцатый ряд. При дальних перелетах — благословенный. Впереди нет кресел — только шторка бизнес-класса. Можно вытянуть ноги, и никто не откинется на тебя, чтобы поспать. До Гаваны — тринадцать часов.

В Гаване — плюс тридцать по Цельсию. Люди в салоне уже в шортах. Я — в куртке, словно бы не отсюда. Парень у иллюминатора — тоже не отсюда, хотя и в шортах: место у окна — мое. Универсальное «пардон» с демонстрацией посадочного талона. Попутчик ретируется в соседнее кресло.

Улыбка — белее рекламы зубной пасты. Телефон у уха. «Маньяна, маньяна» — планы на завтра. Желтые кроссовки, синие шорты, зеленая футболка. Кубинский паспорт в кармашке сумки. Пижонская шапочка волос на макушке и носки расцветки «весна в джунглях». Карие глаза, темная кожа. Черты лица скорее европейские, как у сильно загорелого португальца, хотя кто разберет. Карибская смесь. Итальянское имя.

— Джузеппе. Рад знакомству. — У Джузеппе хороший английский. — Первый раз на Кубу? Куба — гуд! Русия — гуд! В России девушки самые красивые. — Киваю. Еще бы! — На Кубе тоже красивые. Но задастые.

Руки разведены для наглядности, как у заправского рыболова. Ему виднее.

Алексей Лисаченко родился в Томске в 1976 году, живет в Екатеринбурге, преподает гражданское право в Уральском государственном юридическом университете. Публиковался в журналах «Кукумбер», «Мурзилка», «Октябрь», «Химия и жизнь», «Russian Chicago» и др. Лауреат четвертого Международного конкурса детской и юношеской художественной и научно-популярной литературы имени А.Н.Толстого (2012) в номинации «Короткое детское произведение» (сказка «Злка»). Лауреат конкурса «Рукопись года» издательства Астрель СПб 2014 года (сборник «Недетские сказки»). Финалист и призер конкурса «Новая детская книга», 2015 г. В 2015 г. в издательстве Clever вышли книги: «Алфавитные сказки» и «Женька из 3 "А" и новогодняя Злка». Очерк печатается в журнальном варианте.

На экране телефона — смуглянка в кружевах, маленькая, очаровательная. Дочь. Папина гордость. Два месяца. Здесь, в Москве.

Жизнь на два мира. В сезон — Варадеро, отельная труппа, танцор. Денег хватает, чтобы семья в Москве не нуждалась. И еще — на билеты. В сентябре на Кубу прилетает жена. Не жалеет ли она, что когда-то, пять лет назад, взяла путевку на Варадеро? Думаю, нет.

— А в декабре мы летим в Москву и ходим по театрам.

Земля убегает вниз.

— Мой любимый момент! — Это Джузеппе, с телефоном — к иллюминатору. Снимать видео.

— Нельзя же.

— Всегда снимаю. Ни разу не упали.

Пробиваем облака, и в салон врывается солнце.

«Кубинцы подавлены тоталитарной системой. Каждый их день — повседневная борьба», — вещает путеводитель. Переводной, разумеется: наших в киоске не было. Подавленный борьбой кубинец сидит на полу, ноги задраны на кресло, и хохочет. На экранах — белый самолетик над голубой планетой. Жирная линия курса. Занятно: из Москвы на Кубу — через Север. То ли ветры здесь попутные, то ли шарик компактней. За бортом — минус 61. Пейзаж инопланетный. Где-то там эскимосы гоняют на снегоходах и медведи ловят тюленей. А я над их головами снимаю свитер — жарко — и меняю кроссовки на синие одноразовые аэрофлотовские тапочки.

Раздают декларации. Некоторые графы просты. Имя. Гражданство. По другим — всеобщий консилиум: что писать? Вроде все фразы понятны, но смысл ускользает. Сдавали ли вы несопровождаемый багаж? Везете ли обувь и фототехнику? Стюардессы расходятся в показаниях. Кроссовки вписывать? Решаем все отрицать. При любом сомнении — бить себя в грудь с криком: «Туристо!»

Миновали Нью-Йорк с Вашингтоном. Флориду не разглядеть: облака наползают, как оренбургская «паутинка». Гавана близко. С сожалением выполняю из тапочек. Стюардесса просит убрать ручную кладь: скоро посадка.

«Уважаемые пассажиры, напоминаем, что пледы и подушки являются собственностью авиакомпании». На трех языках. Плед исчезает у Джузеппе в сумке:

— Это для мамы. — За пледом — подушка. — Билеты такие дорогие! — Слепящая улыбка. Будь я авиакомпанией, простил бы все: и плед, и подушку.

— Тебя встретят в aeropuerto?

— Должны.

— Если что, у меня там друг. Зовут Андреас. Он поможет.

— Gracias!

Море. Одинокий сухогруз и белые «барашки». Похоже, ветер нешуточный. Плоский берег под шапкой облаков. Как читано когда-то в жюльверновских книжках: если над морем облако — значит, там остров. Наплывают пальмы и домики. По дороге катит одинокий синий «жигуленок». Куба.

Полузабытые, забытые «боингами», родные, любимые «илы» — на летном поле. В раскраске «Cubana». Тряска по полосе. Включаются телефоны.

— Mama, estoy en la Habana! — ясно без перевода.

Расслабься: это Куба!

Говорят, главное в путешествии — удобная обувь. Подходящие ботинки у меня есть. Настоящий гимн глобализации. Логотип американской фирмы. Пакистанская кожа. Сшито в Бангладеш. Куплено в голландском Маастрихте. Пробег по России — километров с тысячу. По Европе, Африке и Центральной Америке — хаживали. Куба на очереди.

— Что-что там главное? — смеются бывалые. — Обувь? Глупости! Только не на Кубе. На Кубе главное — спокойствие. Легкость бытия. Расслабься, не дергайся, а главное — не пытайся торопиться.

Я и не дергаюсь. Нет, дергаюсь: в самолете не дали иммиграционную карту. Меня ведь учили, как ее заполнять. Непременно в двух экземплярах. Первый — пограничникам. Второй — хранить до отъезда, иначе не выпустят. Выходя в зал прилета, нащупываю авторучку. Сейчас придется искать бланк. Заполню в очереди на паспортный контроль.

Бланков нет. Нет и очереди.

Человек на входе направляет потоки. Кубинец? Сюда. Русский? Сюда же, без виз. Румыны? Вон туда. Там — все-таки очередь. Мелочь, а приятно.

На паспортном контроле — сплошь молоденькие девушки. Оливковая форма, выразительные глаза, деловитые лица.

— В Африке недавно были?

— А? Нет. Не был.

Стерегутся Эболы.

Смешная камера, похожая на перископ — новая, технологичная. Красавица смотрит серьезно.

— Поглядите в объектив. Спасибо, проходите. — И никаких бланков.

Выдача багажа не сразу. Как и предупреждали. Ну и ладно. Не спешу. Получаю удовольствие. Вот и мой чемоданчик. Заметный, сиреневый. Взял займы у дочери. Обычно летаю без багажа: так проще. Но на Кубе, говорят, ничего нет. А иметь в ручной клади крем от солнца теперь не дозволено.

Выход в город. Таможня не обнаружена. Слушайте, кому тут отдать декларацию? Эй, возьмите кто-нибудь! А, расслабься... Останется на память.

— Тебя встретят, — это бывалые. — С табличкой. Там будет написано то-то. Или то-то. Или вообще что-то. Но ты догадаешься. — Я догадался. Хотя и не то-то. И не то-то. А просто фамилия. К счастью, моя.

Бабушка с табличкой, в желтой жилетке. На бейджике имя — Лурдес. Плюс логотип турфирмы, ко мне никакого отношения не имеющей.

— Ты не беспокойся. Мы тут помогаем друг другу. Я еще и туристов встречаю.

Старшее поколение учило русский в школе. Судя по Лурдес, неплохо. Вот и туристы. Шестеро, из Питера. Что-то сверяют в ваучерах. Сверяемое не сходится:

— Лурдес, тут другой отель!

— Ничего не знаю, вы им позвоните.

— Вам же проще!

— Вечер, много работы. Позвоните. Потом. Без меня.

Поругались. Устали. Пошли к выходу.

«Машин на Кубе мало. Преобладают старые автомобили американского и советского производства. Средний возраст кубинских машин — 30 лет». Это в путеводителе. У аэропорта — желтые такси. Машины китайские. Новые. Лурдес ловит микроавтобус — синий, корейский, чуть помятый. Как раз по нам — восемь мест.

— Далеко ехать?

— Минут сорок.

Заборы, домики, дорога. Промзона. «Газы», «зилы», «жигули», «уазики», иномарки. Ветер, пасмурно. Челябинск. Только с пальмами.

Сумерки, гостиница. Стеклопакетные двери. Два швейцара: распахнуть, улыбнуться.

— Почему «Капри»? — Это питерцы. — Где «Националь»?

«Националь» — шикарный, пятизвездочный — сияет огнями в конце улочки. Башни, флаги, сад с водопадом. Здесь жил Гагарин. И Черчилль. И американские гангстеры в 30-е. И Хемингуэй — куда без него. Отсюда под новый 1959 год бежали прямо с праздничного банкета приверженцы диктатора Батисты. «Вы платите за историю».

Наш «Капри» — бетонная шестнадцатизэтажка. Для Гаваны — небоскреб. Добротная, но серенькая. Могу понять питерцев. У меня, кстати, бронь тоже вовсе не в «Капри». Просто я не дергаюсь.

— У тебя все будет хорошо, — бросает мне Лурдес, как заправская прорицательница, прежде чем улизнуть. «Вы им позвоните», — доносится на прощание. Питерцы в ошолоблении. Наверное, им просто забыли сказать: «Расслабьтесь! Это Куба!»

Пуфы, столики. Живая музыка. Коктейли у бара. Сок — из пакета, разбавленный, ломтик ананаса — вкусный, настоящий. У стен, на диванчиках, иностранцы с ноутбуками: Wi-Fi. Платный, медленный — зато есть. Толпа у стойки: заезд, выезд, бедлам, чемоданы. Дамы за стойкой — полные, обаятельные. «Гретель» — читаю на бейджике старшей.

Брони нет. Показываю бумаги: *delegación gusa!* — Не волнуйтесь, устроим. Гретель куда-то звонит.

— Распишитесь здесь.

Карточка — ключ от номера.

Возвращаюсь — поменять деньги. Курс невыгодный: один к одному. Евро к песо. Специальному, туристическому. *Cubapesosconvertibles*. CUC — кук. Настоящих песо турист не увидит. Только для местных. *Monedanacional*. Надо будет достать — на сувениры.

Яркие пятерки. Десятки с надписью «Революционная энергетика». Мятые тройки. Здесь — батальная сцена. Горящий танк, опрокинутый бронепоезд. *LA BATALLA DE SANTA CLARA*.

Три кука — в корзиночку музыкантам: дети! Симпатичные... Инструментальный квартет. Неумело, старательно — весь вечер. Родня портье? Музыкальная школа? Трешка — радость: в корзинке все больше монетки.

Питерцы — в холле на чемоданах. Не селят. Звонки, нервы. Сбегали в «Националь». Бронь бронью, а мест нет. Завтра в Гаване — наш министр с официальным визитом. *Delegación gusa*. Может, поэтому?

— Вас приютить?

— Нас шестеро.

— У меня две двуспалки в номере. Огромные. На восьмерых — если поперек. Надумаете — постучите в 1413-й.

— Ладно.

Где тут кормят? Ресторана не видно. Ага, в подвале! Вход с лестницы — неприметный, как в бойлерную: приличные люди едут на лифте. Шведский стол. Время позднее: кроме меня — никого из посетителей. Метрдотелей — тех сразу двое. Все мои.

— Первый раз ем на Кубе.

Улыбка. Пауза. Энтузиазм.

— Попробуйте это! И это. И мороженое!

Кролик. Соус великолепен: кисло-сладкий и пряный. Свинина. Фасоль. Рис.

«На Кубе можно попробовать прекрасные коктейли, но еда здесь посредственная. Найти в Гаване место, чтобы хорошо поесть, сложно», — вещает путеводитель. Мне повезло?

К мороженому выходит повар.

— Вкусно?

— Con gusto! — жест в сторону кролика. — Очень вкусно!

Восторг в глазах, улыбка — белее колпака. Чаевые — без жмотства.

Скоро полночь. Темно — здесь. Дома — третий час дня. Гулять? Конечно, гулять! В сотне метров — Малекон. Знаменитая гаванская набережная. Восемь километров ночной жизни. Чуть-чуть боязно, но... это же Куба. Расслабься!

Освещение улицы — дальше, у «Националя». «Капри» не досталось. На черной-черной улице — черный-черный человек.

— Эй, друг! Откуда?

— Ruso!

— Травка, выпивка, девочки?

— No interesa.

Тень отстает. Не навязываемся.

Ближе к «Националю» — машины у обочин.

— Такси?

— No, gracias.

Не до Малекона же ехать. Вон он, за углом.

Такси очень разные. От 412-го «москвича», подвязанного проволочками, чтобы не рассыпался, до свежих Hyundai и KIA. Даже «додж» — совсем новый, вполне американский.

Малекон — передо мной. Только площадь перейти. Светло, как днем. Фонари. Белые — вдоль Малекона. У «Националя» — мягче, оранжевые. Стены, башни подсвечены. Не отель — маяк. Оазис в ночи.

За площадью — белоснежный памятник. Погибшим американским морякам с крейсера «Мэн». Того самого, что взорвался в испанской еще Гаване в 1898-м. Провокация? Не доказано. Зато какой повод! Обвинить испанцев и отнять Кубу. Для такого дела крейсера не жалко. Британская школа, американский масштаб.

Берег. Променада под белыми лампами. Каменный парапет — серый, ноздреватый — граница света. Берег выгнулся: слева, справа — огни Гаваны. Громада «Националя» за спиной. Кубинский флаг на ветру. Проносящиеся машины. Впереди, за парапетом — тьма: освещенная полоса как-то очень резко кончается.

Вся Гавана — здесь. Сидит, свесив ноги, — кто к океану, кто к городу, целуется, рыбачит, поет, пританцовывает, отбивает ритм. Взрослые, дети, молодые, старые, черные, белые, густо смешанные, туристы, местные, пары,

семьи, компании, одиночки... Пара из России — под шестьдесят. Держатся за руки. Глаза сияют. В Гаване как дома — в восьмой раз.

Тележки, торговлишка: еда, напитки. Ром, газировка, кокосы со срезанной маковкой. Многие — со своим, как на пикник.

Спиртное — присутствует. Пьяных — нет. Баночка пива на двоих. Полбутылки рома на компанию. Мило, чинно, благопристойно. Много гитар. Поют, играют — заслушаться. Шесть парней, пять девушек, три гитары, звонкие барабанные палочки. Встали кружком: танцуют.

У воды — тени рыбаков. Оригинальные поплавки: два надутых презерватива. Большие, белые — в темноте видно. Идея хороша. Берем на вооружение. Зевота. Усталость. Пора. Малекон — навсегда!

У отеля двое полицейских в форме уводят зазывалу. «Травка, девочки, выпивка». Допредлагался.

К дверным ручкам медленно тянутся вялые швейцары: ночь, третий час.

В холле питерцев нет. Одолели «Националь»? Не претендую. Мне бы выспаться. Без разницы где. Длинный, длинный, длинный день. От Урала до Гаваны. Тридцать три часа в сутках.

А вид отсюда хорош — четырнадцатый этаж. Окно нараспашку. Запах Гаваны — гудрон и выхлопные газы. Запах Атлантики. Огни. Маяк у гавани — проблесками. Негасимый факел нефтеперерабатывающего завода — вечным огнем.

В отельных коридорах — приятная кубинская музыка. Громко и круглосуточно. Праздник, который всегда с тобой, хочешь ты того или нет. Ура местным подушкам: нелепым, тонкой полосочкой, через всю кровать на двоих. Обмотал голову — и тишина. Смешные «уши» по сторонам. Слипаются веки.

До утра. С улыбкой. Расслабившись.

Это — Куба!

Agua blanka — Agua negra

За окном — рассвет. Шикарный. Багровый по-честному. Булгаковский.

По розовому небу, из глубины острова — белая черточка. Реактивный самолет. В Гавану. Местные линии, наверное. Видел их в аэропорту: страшноватого вида Ту, старше меня, как ретромобили на улицах, и ухоженные, как новенькие, Ил-96 — могучие, красивые. До чего же я любил ильюшинские лайнеры, пока не сгубили их поборники европейской экологии вкупе с отечественными любителями откатов и экономии на топливе. Может быть, теперь появится шанс? Обидно лететь из России в такую даль, глядя всю дорогу на эмблему «Rolls-Royce» на авиадвигателе. Годится на время, но вечно на чужих крыльях летать — честное слово, срамно!

Тьма, пришедшая со стороны Соединенных Штатов Америки, отползает от города. Половина неба — слева, над Атлантикой — сизая. Справа — лазурь. Небо над «Националем» перечеркнуто надвое, наискось. Гавана — силуэтами на светлом. Купол Капитолия в дымке лесов. Влажный воздух. Первые автобусы. Голоса птиц.

Скупают таксисты: «Националь» еще не проснулся. Трехколесные, в пластиковых желтых панцирях мотороллеры — «кокотакси» — стоят без водителей. Сверху и вправду — кокосы кокосами. Такси мне без надобности: идти метров триста.

У отелей бдят «прилипалы».

— Привет, ты откуда? Ruso? У меня в Москве брат... дядя... тетя... бывал дедушка... С тем же успехом дедушка бывал и в Оттаве. И в Мадриде. И в Париже — если turista француз.

— Куда пойдем? Университет? Хорошо! Я покажу!

Коричневая кожа, коричневая футболка. Гладко выбрит, ладно скроен. Глаза добрые. Профессиональный компаньон.

Скоро восемь утра. Метут улицы. Сидят на порогах с сигаретой. Спешат на работу. Вру, не спешат: просто идут.

Джинсы, футболки, майки-алкоголички. Девушки в форме: погоны, кители, мини-юбки. Судочки в пакетиках. Обед? Завтрак? Прически «шапочкой», как у Джузеппе, — видимо, мода. Самые колоритные — старики. Белая рубашка, лаковые штиблеты, брюки со стрелками. Стил!

Район Ведадо — приличный.

— Vedado — значит «запретный»: здесь не строили. При испанцах. Потом стало можно.

Большие окна, высокие этажи; редко больше трех. Колонны, балюстрады. Конец XIX? Начало XX? Стены с росписью. Портрет Че — как икона. Облезлость. Потери. Упавшая штукатурка. Окна без стекол: не выбиты — просто не нужны. Деревянные жалюзи. Зелень. Белые на веревках.

— Почему не строили?

— Для обороны. Вокруг крепости.

Тихие улочки — calle: номерные, буквенные. Calle N. Calle 21.

— Вот обком партии.

Маленький домик. Ухожен. В окне — свет. Работают.

— А это — центральное телевидение.

Цементный куб. Антенны на крыше.

Улочки сменяет проспект. Номерной. Avenida 23. «Гавана либре» — знаменитый отель, бывший «Хилтон». Двадцать пять бетонных этажей. Несутся машины: «жигули», «фиаты», «пежо», «ситроены», «корейцы», «китайцы» — в ассортименте. «Фольксваген-Жук» мексиканской сборки. Одинокая «десятка». «Дэу-Тико» — местный суперхит. Выбор среднего класса: живуче, добротно, с кондиционером. «Мерседесы», «БМВ», «тойоты» — штучно. Старые, пятидесятих годов американские «крокодилы»: черный, вонючий выхлоп. Внутри — туристы.

Перехожу без опаски. Нормальные переходы. Нормальные светофоры. Крупные табло: сколько времени осталось до переключения. Нормальные правила. Нормальные водители. Недалеко отсюда Коста-Рика. И страна хорошая, и люди славные, и живут небедно. А пешеходов не пропускают. Сто баллов в пользу Кубы.

Улица San-Lazaro. Самозванный провожатый сворачивает налево. Пусть идет. Мне-то направо. Моему поколению навигаторы еще не нужны. До высадки — добротная топографическая подготовка. Карта Гаваны — в голове. Город несложный: четкие кварталы, прямые улицы. Аккуратные каменные пирамидки на перекрестках: номера улиц на гранях. Реже — буквы. Еще реже — названия.

Классический портик. Парадная лестница — шириной в улицу. Скульптура у входа. Universidad de la Habana. Меня ждут к восьми. Успеваю.

Чуден Гаванский университет при тихой погоде... Строгие корпуса с

колоннами — на холме, акрополем. Два этажа — но каких! С пять обычных. Темно-бронзовая красавица в кресле, распахнувшая объятия перед входом. Подписано: ALMA MATER. Не верю! Слишком юная.

Две дамы в брючных костюмах с погонами. Кожа — цвета статуи. Охрана? Глядят на небо, гадают: будет дождь? Не будет дождя? Ноль внимания на проходящих.

Раскланиваясь со знакомцами, тянется профессура. Студентов мало — те, кто припозднился. Остальные — уже по местам.

Анфилады дворики. Портики, патио. Фонари, деревья, дорожки. Мемориальные доски. На лавочках — девушки с книжками. ЗиЛ-130 с веселыми парнями в кузове: везут материалы. Корпусов много, ремонт перманентный. Юрфак. Здесь учился Фидель. Штукатурят. Вход со двора уже красивый. Фасад — к городу — еще облезлый. Не по-нашему.

На клумбе, в тропических перистых лопухах — бронемашина. Ствол пушечки — в небо. «Этот броневичок, захваченный молодыми повстанцами в 1958, поставлен здесь в память о доблести и отваге нашего народа и армии». Как-то так. Немного читаю по-испански.

Лекции. Кафедра — на постаменте. Восходишь, как на амвон. Черное дерево. Массивные стулья — как мини-троны. Неожиданно: лектор работает сидя. У нас так не принято.

Двери, окна — до высокого потолка. Доски — как крепостные ворота: опускается одна — поднимается другая. Тоже — до потолка. Парт нет. В первых рядах — стулья с удобствами: расширены правые подлокотники. Галерка — конспект на коленках. Спины горбом. Пишут! Ручки, тетрадки. Без планшетов. Без ноутбуков.

Компьютеры есть. Интернета нет. Почти. Разве что в ректорате. Немножко.

За знаниями — в библиотеку! Вот она: живая, рабочая, людная. Столы. Шкафы. Картотеки. «Говорите тихо» — вечная табличка всех библиотек Земли. Девушки — с ноутбуком на троих.

— Алехандро! Селсо! Тут вот гость из России. Покажите ему все интересное.

Алехандро похож на Обаму. В юности. В испанском исполнении. Селсо — типаж Майка Тайсона. Круглая бритая голова. Передний зуб выбит.

— Не боксер?

— Нет. Историк. А вы?

— И я не боксер.

У ребят беглый английский. По-русски — ни слова.

— Это — факультет математики и компьютеров. Но интернета у них тоже нет. Вон в том корпусе изучают испанский, есть и русские — человек двадцать. В этом здании — биофак.

Внутренний дворик. Мраморный бюст с лицом Василия Ливанова, в холмсовском сюртуке и «бабочке». Felipe Rоеу у Aloy. 1799—1891. Первый профессор зоологии. У музея своего имени.

Истфак. Через улицу — музей Наполеона. С чего бы — на Кубе?

— Был тут один магнат... Хулио Лобо. Фанат императора.

Ботанический сад — одно название. В любом скверике — те же фикусы. Зато — бюсты. Мексиканского президента. Подарил что-то из саженцев? Александра Гумбольдта. На Кубе культ Гумбольдта. Улицы его имени. Национальный парк. Памятники. Как Чехову — в Томске. Был проездом.

— С этого балкона выступал Фидель.

Галопом по территории.

Физфак мудро построен в сторонке. Мало ли какой эксперимент учудят.

Университетская клиника. Серьезная. Свой герб. Станция скорой помощи. Машины, носилки. Хлопочут сестрички.

Стадион. Бюст у входа. Хуан Абрантес — боевой командир, герой революции. В местном пантеоне — покровитель спорта.

— А теперь посмотрим кампус.

Темп снижается. Мои сопровождающие-студенты, дом почуя, плетутся рысью как-нибудь.

Кампус — не кампус. Просто гаванский район. Небогатый, но и не трущобы. Мелкие магазинчики. Зеленые бананы связками. Над нарубленным мясом — липучки от мух. Церковь с колокольней. Провинциально уютно. Машины — изредка. Топать посреди улицы — норма. Если что, посторонимся.

— Вон там живем мы.

Три этажа, облезлая лепнина. Кованые решетки. Стираное белье на веревочках.

— А тут жил Фидель. Ходил в это кафе. Столики те же.

Склады, мастерские. Целая улица. Учебно-производственный комбинат.

— Практика обязательна. Бесплатно работаем, — морщится. — Здесь сигары делают, там — кофе. Биологам — на пользу.

Историкам, как видно, не очень.

Афроулочка. Фестиваль музыки. Тамтамные ритмы. Ансамбль одет не по-местному. (У меня такой балахон тоже есть! И шапочка! Куплено в Египте. Сделано, как обычно, в Бангладеш.) Туристы, кубинцы — не понять, кого больше. Обрывками — русская речь.

Сварные скульптуры из металлолома. Трон какого-то божества — из него же.

— Можно сесть на трон. Приносит удачу.

— Божество не обижу?

— Не, он не злой.

Под треном бегают куры.

Стены в росписи — до крыши и выше. Выше — баки для воды. В паре. Бело-черный и черно-белый. Шланги сходятся вместе. На баках надписи: «AGUA BLANKA», «AGUA NEGRA» — «Вода белая», «Вода черная».

Провожатые серьезнеют:

— Это символ. На Кубе нет белых и черных. Есть кубинский народ. Для нас это важно.

«Туда не ходите! Это район для черных» — не для Кубы. Тут все вперемешку — полное собрание разнообразных ДНК. Видел рыжего негра. Пары: черный с блондинкой, белый с мулаткой. Нормально, органично, как должное. Не замечаешь. Кубинцы — единственный известный мне народ, который растворил в себе даже китайцев. Чайна-таун в Гаване — декоративный. Желтый бак, тоже в паре с белым — по соседству на той же крыше. Гены — в общей копилке.

Оседаем в баре. Бетонный пол, пластиковые столики.

— Здесь хороший «мохито»¹.

Угощаю. Хороший.

— Нравится на Кубе?

¹ Мохито — кубинский коктейль на основе светлого рома и листьев мяты.

- Очень! Люди чудесные.
— Наши девушки — самые красивые. Только задастые.
Руки знакомо разведены в стороны. Еще один! У них что, комплекс?
— Сувениры уже присмотрели?
— Некогда было. Кофе хочу купить. Отовсюду привожу кофе жене.
Селсо срывается с места. Скоро возвращается, взмыленный.
— Вот. Подарок. — В белом мешочке — шесть упаковочек молотого кофе
«Hola». — Народный. Попробуйте. Туристам такого не продают.
— Дорогой?
— По два песо. Moneda nacional. По студенческой карте — со скидкой.
Два песо — восемь центов. Четыре рубля пакетик. Полкука за все.
— Moneda nacional? Поменяете мне немного? На сувениры.
Алехандро лезет в карман. Пять песо. Зеленый листок с усатым красавцем.
Протянутый кук не востребован: подарок. Отдариваюсь пятирублевкой.
— Пора. Сколько с меня? — бармену.
— Сорок.
Вынимаю бумажник.
— Луис, это наш гость. Profesor guso.
— Я сказал «сорок»? Простите! Восемь за все.
— Спасибо, ребята. Пойду. Я вам должен за экскурсию. Возьмите денег!
Алехандро великодушен:
— Не надо. Вот приедем в Россию — вы нам тоже все покажете.
Селсо практичнее:
— Но жизнь, конечно, дорогая...
Выдаю по двадцатке.
— Такси!
— Селсо, я пешком! Тут рядом!
Поздно. Тормознули. Олень на капоте. Рельефные молнии по бортам.
«Волга» ГАЗ-21.
— Сколько лет машине?
— Пятьдесят два.
Таксист — он же механик. Своя мастерская. Оттого и машина ухожена. Все,
что можно, — оригинальное.
— Правда, что в России все машины новые?
— Враки. Есть такие же.
Доехали. Не наговорились.
— Меня зовут Лазаро. Вот мой номер. Нужно такси — позвони. Недорого.

Наши в городе

Хотите убедиться, что параллельные миры существуют? Просто зайдите в служебный лифт гостиницы «Капри». Я зашел: гостевые были заняты. Нажал «14». Лифт деловито отправился в подвал. Этаж под землей. Еще. И еще. Остановка. Стенка лифта за моей спиной разъехалась. За потайной дверцей — таинственный полутемный коридор. Человек в спецовке. Улыбаясь, вкатывает тележку с керамической плиткой. Hola! В ведерке плещется раствор. Поднимаемся. И снова — задняя дверь. Девушка из прачечной со стопкой белья, парень в костюме охранника. Hola! Поехали!

Уровень ресторана.

— Останови! Поздороваюсь с Пабло, — это девушка.

Плиточник жмет на кнопку. Охранник принимает белье. Задняя дверь — прямо на кухню, в пар и клекот кипящего масла. Выскочить, поцеловать парня — руки в перчатках, нарезает что-то зеленое — и назад, в лифт. Держу дверцу, чтобы не закрылась.

Катаемся долго. К концу поездки я — свой. Со всеми знаком — благо, на всех бейджики. Выхожу на четырнадцатом через «парадную» дверь под «Hola!» и «До свидания!».

Наблюдение — не за местными даже, за собой. На Кубе служащие отелей чем-то неуловимо отличаются от своих коллег в других странах. Нет в кубинцах, при всей вышколенности персонала хороших гостиниц, той грани, которая отделяет обычно «обслужу» от отдыхающих. Они — дома, а мы — гости. Нас убаживают и терпят. Любя, но не заискивая.

Мажусь кремом. Вчера немного сгорел, хоть и пасмурно.

«Непременно возьмите с собой солнцезащитный крем и туалетную бумагу. Туалетная бумага на Кубе — роскошь, а крем попросту негде достать». Посмотреть бы в глаза человеку, писавшему этот путеводитель. Кремы — везде: в аптеках, в магазинах, в холле отеля. Туалетная бумага в наличии. Мои два рулона по возвращении смогут хвастать: слетали на Кубу.

Встреча. Жду в холле. За окнами — дождь: короткий, обильный. Попрятались по машинам таксисты. На балкончике напротив блаженствует в креслах пожилая пара: он с газетой, она — с рукоделием.

Разъезжаются по экскурсиям туристы. Пустеют вокруг диванчики. Вот и тот, кого я ждал. С опозданием на час — по-кубински.

— Не тот отель! Искал тебя в «Мирамаре».

Его зовут Иван. Он наш, советский. Кубинец. «Анголец». Майор, ныне — запаса. Три года в СССР — учеба, спецподготовка. Русский — как у меня. Чуть старше, почти ровесник. «Ангольцы» — это как у нас «афганцы». Некоторые «афганцы», кстати, тоже «ангольцы». Из одной командировки — в другую. Помогать народу Анголы в борьбе с мировым империализмом. Вместе с кубинцами. «Кубинцы — вояки знатные. На них все держалось», — говорили наши, те, кто знает.

— Ангола? Ездили на «буханке», руки-ноги оторванные собирали после боя. Это было самое трудное, — говорит Иван. Просто, без пафоса. Ну, поехали в правильный отель. Вещи собраны?

«Ленд-ровер» 1991 года — по местным меркам, недурно. Наклейка: «RUS». Хотел «SU» — не нашел. Идеальное соответствие хозяину: крепкий, кряжистый...

Перекресток закрыт, полиция. Три синих «мерседеса» — Рауль. На встречу с Лавровым.

— Рауль молодец. Он военный. Фидель — идеалист. Рауль — прагматик. Разрешил малый бизнес. У меня сейчас строительная фирма. И будет бар. Русский бар. Для своих.

«Правильный» отель — у посольства. Когда-то советского. Район Мирамар — престижнее некуда. Виллы, отели, посольства. Наше — архитектурная доминанта. Здесь же — самое странное здание Гаваны. И самое высокое — а может, второе после «Гавана Либре», не поручусь. Не то бетонный шприц, не то умыкнутая из аэропорта диспетчерская башня. Официальная версия — меч, воткнутый в землю. Шутливое прозвище «Микро».

— Гидом больше не работаю. Нет работы для тех, кто с русскими. Не едут. Едут канадцы. Но если кому из русских помочь — мне звонят. Никогда не откажу. Ты тоже звони, если что.

— Мы вернемся, Иван! Дай срок — вернемся.

Сколько раз мы говорили это, уходя? Бросая полигоны, оставляя военные городки, дома с мебелью, кровати заправлены. Школы, больницы. Мосты, дороги, аэродромы. Говорили, не веря. С комом в горле. Зная, что уходим навсегда.

Кубинцы верят — больше, чем мы. Стоит нетронутой русская школа, лежат учебники: приходи, учись.

«Мирамар» — не чета простецкому «Капри». Рестораны, бассейны. Черета магазинчиков. Отделение банка. Обменный курс — правильный. Русских порядочно. В смеси с канадцами.

Старший портье — из «ангольцев». Высокий, сидящий. Военная выправка.

— Это — Лёша. Наш человек, — рекомендует Иван.

— Здравствуйте, тезка. — Жмем руки. — Очень приятно.

У тезки хороший русский:

— Комнату убирают. Погуляете полчаса?

— Погуляю до вечера. Мне еще в университет. Багаж пристроите?

— Без проблем!

— Поеду, — заторопился Иван.

— Тебе бензин компенсировать? — деликатное предложение чаевых.

— Да иди ты! — твердо и ласково.

— Привет Фиделю. Пускай живет долго.

Иван — друг его среднего сына. У привета есть шансы.

Выхожу. В первую очередь — навестить океан. Сто метров. Пустырь с видом на «Микро». Пирамиды отелей — в отдалении. Серое небо, каменный берег. Головастые ящерицы. Белые треугольнички яхт. Одиноким юноша с конспектом: зубрит.

Третья авеню — людная, шумная. Прибрежные отели. Вдалеке — дельфинарий. Супермаркет — заурядный, как дома. Цены, скорее всего, туристические. Путеводитель брутalen: «Режим строго контролирует все аспекты повседневной жизни кубинцев: что говорить, что делать и что покупать. Доступ в магазины для туристов местным жителям закрыт». Паспорт — в нагрудном кармане. Никто, однако, не проверяет на входе: кубинец или турист. Кубинцы, кстати, преобладают.

Диски с местной музыкой на шатком раскладном столике. Полтора кука. Пригодится! Дайте два.

В супермаркете есть все. Один-два вида, но все. Кофе — не «Нол», экспортный, в огромных пакетах. 14 кук. По полкило — 4,75. Приемлемо. Мука, соки, йогурты, минералка. 1 — 2 кука. Памперсы, салфетки. Вездесущие кремы от солнца! Сосиски в жестяных банках. Томатной пасты — целый ряд. От баночки до бочки. Отдел с техникой: плиты, обогреватели, стиральные машины — точно не для туристов.

Для местных, конечно, дороговато: зарплата здесь, если считать в куках, — от двадцати до сотни. В месяц.

По Третьей ходят автобусы. Синяя табличка на остановке: четыре маршрута. Скептически заглядываю в путеводитель: «Кубинский общественный транспорт всегда переполнен и ходит нерегулярно. Каждый день жители города уныло

дожидаются: придет ли автобус. Основу автобусного парка составляют старые американские школьные автобусы желтого цвета...»

Присаживаюсь передохнуть, поглазеть. Людей и вправду немало. Зубоскалят, общаются. Читают книги. Ловят попутки — тут это принято. Минут десять — и автобус. Не старый. Никаким местом не желтый. Незнакомая марка — кажется, китайский. Длинный, с «гармошкой». Забирает всех. Давки не наблюдается. Проезд — копейки. Социализм.

Для туристов — двухэтажные, красно-синие красавцы. Habana Bus Tour. Пять кук — и катайся. Остановки у всех достопримечательностей. Сходи, снова садись, смотри город — билет на весь день.

Я — пешком. Пешком лучше по Пятой. Пятая авеню — длинная. Престижная, как тезка в Нью-Йорке. Аналог московской Мосфильмовской — улица посольств. Пешеходный бульвар посередине. Символ Кубы — королевские пальмы. Акации с полуметровыми стручками. Скамейки. Зеленые изгороди. Мамы с детишками...

Убегает вдаль променад. Убегает турист с рюкзачком — с виду немец — такой же любитель пройтись, только шустрый. Цветут бугенвиллеи. Кусты — по линеечке. Садовник с мачете с кем-то беседует. Притомившись, расслабляется на лавочке бригада мусорщиков: наушники, плееры — контейнер забыт на дорожке. Тянутся школьники — сами, без провожатых. У школьников — цветовая дифференциация штанов. Младшие — красные. Средние — желтые. Старшие — синие. К юбкам тоже относится. Нарядно. Единообразно. По всей стране.

Будки регулировщиков — у каждого перекрестка. Хотя везде светофоры.

Развалясь на травке, трое неспешно чинят косилку: один ковыряется, двое советуют.

Милый особнячок — ресторан. У входа меню. Дорого. Для посольских. Альтернатива на колесиках — овощной лоток. Мелкий бизнес. Три шатких яруса, крыша из клеенки. Жемчужный чеснок. Зеленые бананы. Красные помидоры. Инопланетные, фиолетовые конусы — неужто морковь?

Улыбаясь, отдает честь Уго Чавес. Здесь он жив. Плакат — в два этажа. Посольство Венесуэлы.

Топают на экскурсию пионеры. Не в форме, но в галстуках. Классная руководительница считает по головам.

Мне направо — от моря, в улочки, где мало туристов. Так короче.

Хочется пить.

Обманчивы местные ценники! Один значок — три валюты. 30 — что это? Точно не доллар, они здесь не ходят. Кук? Да, если ты turista. Песо? Конечно — если местный. Один к двадцати пяти.

Местная cafeteria. Самодельный плакат в витрине: «56 лет революции». Блин с фаршем — 20. Пятнадцать — гамбургер. Тридцать — пиво. Один песо — чашечка кофе.

Фотоаппарат убран. Знания испанского мобилизованы по полной. Сойду за кубинца? Кладу монетку.

— Agua, por favor.

— Grande?

— Pequeno!

О радость: сдача — местными! И бутылка воды. Как просил — маленькая.

Парк Джона Леннона. Бронзовые лавочки с гаванским гербом: три башни

и ключ. Бронзовый Леннон на лавочке. Нога на ногу. Блестит колено — натерли. Рядом, в подвальчике — «Желтая подводная лодка». Не то бар, не то клуб. В Екатеринбурге — такой же.

Пункт коллективного доступа в Интернет — очередь, человек тридцать. Компьютеров за стеклянной витриной много. Мест двадцать. Посетителей внутри — мало, трое-четверо. Охранник у двери? Не пускает инакомыслящих в Сеть? Проще! Бабуля в очках за столиком у входа. Оформляет квитанции на оплату. На компьютере. Одним пальцем в клавиатуру: попала, попала — промазала. Где тут кнопка, чтобы стереть? У нас на почте — такая же бабушка. И тоже очередь.

Проспект Пасео — центральная улица. Первая наглядная агитация: цитата из Фиделя. Стильная черно-белая стена. Был уверен: Куба увешана лозунгами. Ничего подобного!

Институт онкологии и радиобиологии. Место грусти. Место надежды. Сюда — очередь. День посещений. Кубинская медицина — лучшая в Латинской Америке и не только.

Ave de los Presidentes. Гаишник тормозит нарушителя. Мотоцикл. Фиолетовая форма. Сапоги «бутылочками». Долго смотрит права. Идет к рации — уточнять.

Факультет социологии — на отшибе, отдельно от прочих. В полстены — роспись: человек, притянутый к земле лесками с острыми крючками. По телу — надписи: Apple, Walmart, McDonalds, BMW, Motorola, Gazprom... Наконец стадион — и тенистые, милые сердцу университетские дворики. Два часа десять минут — с заходом в супермаркет. Обратно вечером, на такси. Звонок Лазаро — и вот он, отель.

— Номер готов. Второй этаж. Ужин включен.

Из номера звоню Ивану.

— Сможешь приехать? Есть тебе подарок. Не скажу — сюрприз.

Спускаюсь в холл.

— Держи подарок.

— Полотенце? — разочарован.

— Разверни.

Лицо меняется.

На алом полотнище, крупно, в деталях — герб Союза Советских Социалистических Республик. Взял бережно, как святыню. Как боевое знамя погибшего полка. Вот-вот поцелует краешек.

— Закажу рамку. Повешу в баре.

Теперь у меня в Гаване есть друг на всю жизнь. Если кто и сдаст Кубу американцам — точно не он.

После ужина — музыка. Местные ритмы — барабан, гитара, маракасы. Мастер-класс по сальсе. Раскрутили на танцы даже канадских старушек. Во дворике у бассейна включили лампы. Девять вечера, но бассейн никто и не думает закрывать. Кто-то плавает наперегонки.

Строем, колонной по два, прошли китайцы. Восемь душ. Вдоль бассейна. В шортах и шлепанцах. Военные? Другие китайцы так не ходят. Вон они, на отдыхе: компания мальчиков-мажоров, пожилой бизнесмен с супругой, пара с детьми.

Ухожу в номер — и падает дождь. Свежо и пусто: города не стало.

Глазами туриста

Сегодня — день без забот. Ни дел, ни встреч. В холл спускаюсь не торопясь. На сколько, интересно, опоздает Иваном обещанный гид? Куба все-таки.

Стоп. Сюрприз! Двое китайцев в форме. Три звездочки в ряд — оба полковники. С одинаковыми кожаными портфелями. Сели в кресла. Ждут.

Ух ты, еще китайцы. Строем. Шестеро. В форме. Все полковники — кроме одного. Этот, постарше, в футболке. Штаны и ботинки — по уставу. Кителя нет, генеральские звездочки не засвечены. Хотя и так ясно. А форма-то — летняя. Голубая, с «птичками». У пятерых. Остальные — в зеленой. Наводит на размышления.

Еще китайцы! Четверо. В штатском. Но строим! На своих глянули с любопытством: не вместе. Подтянулись. И — мимо, молча, в ногу. Крепкие, молодые. Пехота? Центр подготовки сухопутных войск на Кубе забит под завязку и расписан вперед года на два: китайцы, корейцы. Учат здесь хорошо. Наша школа.

— Вы Алексей?

Надо же: на пять минут раньше назначенного. Не узнаю Кубу! Вместо бравого отставника — симпатичная шатенка. Лет двадцать пять, острый носик, футболка турфирмы. Сносный русский: учила в университете.

— Меня зовут Белкис. Я ваш гид. Покажу вам Гавану.

«Гавана» у гаванцев — «Абана».

Машина — новехонькое желтое такси. Geely — китайское. За рулем — дядечка в возрасте.

— Наш водитель, Франсиско.

— Буэнас диас, дон Франсиско.

— Не дон! Товарищ. — Вот кто, оказывается, отставник.

Пункт первый, обязательный — площадь Революции. Огромная, пустая. С одного края — мемориал Хосе Марти. Монумент: рост — десять человеческих — крошка в тени гигантского обелиска, что позади. Выше «Микро». Выше бывшего «Хилтона». Выше всего в Гаване. Говорят, внутри — лифт.

У подножия — крохотные военные: белые кители, золотые аксельбанты, красные погоны. Карабины у ноги, штыки примкнуты. Сабля у командира. Венок на подставочке.

— Правда, что все это построено при Батисте?

Правда. При Батисте.

Бегу через площадь за выигрышными кадрами. Знаменитые здания с портретами снимать надо сверху, от монумента. МВД — с товарищем Че на фасаде. Минсвязи — с ликом Камило Сьенфуэгоса.

— А что там написано? Как переводится?

— «Хорошо идешь, Фидель». А у Че...

— Знаю: «До победы!» *Hasta la victoria siempre.*

— Что вам интересно увидеть на Кубе?

— Людей. Какие вы?

Растерялась. Какие-какие? Обычные. До чего же они все-таки похожи на нас. Тех нас — двадцать пять лет назад.

— А это что за штуковина?

Постройка прелюбопытная. Монументальная, этажей семь. «Patria o muerte» на заборе. Смотрит на американское представительство — пока не посольство.

— Мемориальная трибуна.

— Мемориальное что?

— Трибуна. Оттуда выступают.

Кубинцы — гении! Хочешь, чтобы янки тебя слышали? Построй трибуну у посольства. Повыше — чтобы за забором не спрятались. Потом залезай и говори все, что о них думаешь.

Неожиданно сообщает:

— Очень люблю ваши мультики. «Трое из Простоквашино», «Ну, погоди!», сказки всякие. У нас их часто показывают.

В гаванском Капитолии — ремонт. Здание в лесах. Сейчас там Академия наук. Закончат — будет красиво. Дома вокруг — показательно облезлые. У Музея Революции все приходит в нормальный вид. Приличные здания. Самоходка СУ-100 у входа. Землячка: Уралмашзавод. Вроде бы из нее лично Фидель стрелял по кораблям интервентов в Заливе Свиней и даже один потопил.

Яхта «Гранма» в прозрачном павильоне — с охраной в форме. Береты залихвастски заломлены. Последний раз плавала в середине шестидесятых на каком-то параде. Не маленькая, оказывается. Поместились же восемьдесят два человека.

— Что дальше?

— Фабрика сигар.

Ну да, началось. Что ни курорт — фабрика. Духов, шуб, ковров, муранского стекла, сиропа рожкового дерева, оливкового масла, алебастровых крокодилов. С непременно магазином в конце. Да я вообще не курю!

Что это я разбрюзжался? Это же Куба! Сигары — часть истории. Часть культуры.

— Едем!

Ликбез по сигарам — по дороге.

— «Коиба» — любимый сорт Фиделя. Это лучшая марка. «Монте-Кристо» курил Че Гевара. «Ромео и Джульетта» — Черчилль. Они некрепкие. Их женщины любят.

Вот так, походя, испортила сэру Уинстону всю репутацию.

На фабрике душно и запрещено снимать. Зданию лет сто, если не сто пятьдесят — типичная промышленная архитектура девятнадцатого века. Пять высоких этажей, галереи — как в американской тюрьме, одна над другой. Внутреннее пространство — колодец. Прозрачная крыша. Запах табака — не курева, именно табака — чуть сладковатый. Ждем местного гида. Рассматриваю коллекцию этикеток. Киваю на голову индейца, золотую на черном:

— Почему «Коиба»? Вождь индейцев?

Белкис взвизгивается:

— Нет! Не индейцев! Это неграмотно! Испанцы так говорили, потому что были невежественные. Не индейцы — аборигены.

Вот и гид: потертого вида мужчина лет пятидесяти. Зато в шляпе и с усами. Цвет лица не кубинский — совсем бледный. Чмокнулись в щечку с Белкис: давно знакомы.

— Это Августин. Он будет говорить по-испански, а я переводить.

По узким лесенкам — наверх. Смотреть фабрику.

Ряды столов. Триста человек. Торседор — профессия, крутильщик сигар.

Пять дней в неделю, восемь часов — строго по трудовому законодательству. Каждый крутит свою марку: от первого листа до последнего. Не конвейер. Сто десять «Коиба» в день. Или сто тридцать пять «Монте-Кристо»: они поменьше.

Мужчины и женщины, юные и в возрасте — примерно поровну. Крутят, прессуют, укладывают в коробочки. Нормальная работа, несчастным никто не выглядит. На столах — хорошие мобильники. Где шумно — слушают что-то в наушниках. В цехах потише специальный человек читает вслух книгу. В микрофон. Возле новеньких — мастер: смотрит, показывает, учит. Снуют бабушки с рациями — служба безопасности?

— Год после сбора — сушка и ферментация. Потом купаж.

Сухие листья — внутри. Эластичный, недосушенный — оболочка. Обрезки — на сигареты.

— Рабочие могут курить по две сигары в день. Без выноса с фабрики.

Прибор с трубкой и лампочкой — проверка готовой продукции. Интересно, что меряет? Электропроводность? Номер рабочего на каждом изделии.

Отбор по цветам. Восемь оттенков. Масть к масти. Коробки из кедра. Дорого. Хранить до трех лет при пяти градусах.

— Белкис, вы сигары курите?

— В гостях. По праздникам. Так — нет: дорого.

Впечатлился. Пора на воздух. Что там дальше в наших планах?

— Гуантанамера, гуахира гуантанамера... — напевает Белкис на переднем сидении. Давным-давно знакомая песня, почти родная. На стихи Хосе Марти, между прочим. Выяснил только на Кубе. Здесь она сверхпопулярна. Поет хорошо. Иногда прерывается: прокомментировать очередную достопримечательность.

Символика памятников. Борцы с испанцами — в бронзе, на конях — на набережной. Антонио Масео — тот самый, с усами, с пятипесовой банкноты — лицом к городу. Генерал Массимо Гомес неподалеку — спиной.

— Лицом к городу — значит, погиб. Спиной — умер своей смертью.

Флаг Доминиканской республики поднят рядом с кубинским: Гомес — доминиканец. Помнят. Благодарны.

Тоннель под гаванью. Местная примета: проезжая по тоннелю, приложить ладони к потолку машины. К деньгам. Приложил. Жду денег.

Кастильо-дель-Морро — крепость у входа в гавань. Шестнадцатый век. Стены, пушки, бастионы. Ядра пирамидкой. От пиратов. От англичан в свое время не помогло.

Вид на город — изумительный. Ух ты, а кто там выходит из гавани? Серый, длинный, военный. Номер вместо названия. Антенны. Команда в оранжевых жилетах — глазет на город. Флага не видно. Спорим, я и так знаю? Характерные башенки перед надстройкой — проект 864. Средний разведывательный. В кубинском флоте ничего подобного точно нет.

Панорама забыта. Объективы перенацелены. Туристы приникли к видеоискателям. Впечатляйтесь, господа, впечатляйтесь!

Музей Карибского кризиса — неподалеку. Выставка смертоносного. Минометы, орудия. Узкокрылый МиГ-21. Зенитные ракеты — наши. Станный аппарат — пузатенький самолет без кабины — знакомый и незнакомый. Очертания — МиГовские. Табличка: ФКР-1. Крылатая ракета! Из первых: пятидесятые.

Домик товарища Че на заднем плане: белый, одноэтажный, с башенкой.

Красные крыши — казармы через дорогу. Не музейные — армейская бригада. Ухожено. Зелено. Наглядная агитация на входе, почти как у нас: *Nasta la victoria siempre!*

Обратно в Гавану. Тоннель. Руки к крыше. Деньги-то обещанные — где?

Старая Гавана. Раскоп: камни за оградкой. Городские стены. Часть системы обороны Гаваны. От стен — только фундамент. Черта вдоль домов.

За чертой — рай для туристов. Неширокие пешеходные улицы — не с номерами, с названиями. Сувенирные лавочки. Зонтики кафе. Лотки с напитками. Лоток с фруктами, в ананасы воткнуты флажки. Два рядышком: один наш, другой звездно-полосатый. Можно с американцами ананасами мериться. Наш выше. Их толще.

Указатели. Нарядные керамические таблички: Plaza de la Catedral, Plaza de Armas. Врыты в землю старинные пушки — стоймя, вместо разделительных столбиков. Дешево и колоритно.

Чисто, мило, стандартно. Никакой облезлости. Plaza de la Catedral — с кафедральным собором. Действующим: службы по воскресеньям. Имени Святого Христофора. Другой Христофор — Колумб — тут покоем. Временно. Лет сто. Проездом из Санто-Доминго в Севилью.

Площадь как площадь: типичная, испанская. Выделяются только торговки: корзины с цветами, сувенирные куклы, карибские наряды — цветастые, пестрые, «а ля мама Африка».

Бывшее здание университета. Тоже — гордость. Надстроено, облицовано зеркалами. Современность отражает историю. В прямом смысле.

— Уникальное архитектурное решение!

Увы — уже было. Видел. В Вене. Напротив собора Святого Стефана. Не скажу Белкис. Пусть гордится.

Plaza de Armas — Площадь оружия. Тут им бряцали: бывшее место парадов. В каком городе, основанном испанцами, нет Plaza de Armas?

Дворец капитан-генералов — местных губернаторов. Герб над входом. Колумб во двореке — мрачно щупает глобус. Вокруг скверика — книжный базар. Раскладные столики, картонные коробки, прилавки из досок. Книги все больше экспортные. Многие — на английском. С Фиделем. С Че. С иллюстрациями. «Кубинская революция в картинках». Землю — крестьянам. Фабрики — рабочим. Комиксы — туристам.

Местные идут мимо. На базарчик глядят снисходительно окна публичной библиотеки, большой и хорошей: книги, компьютеры, все условия.

— Посмотрите на мостовую. — Смотрю. Длинные кирпичики. Травинки в промежутках. — Она деревянная.

Точно. Из брусков. Сам не обратил бы внимания. Была, говорят, у одного из капитан-генералов жена: не то очень сварливая, не то сильно любимая. И мешал ей спать стук колес по булыжнику. Вот супруг и распорядился: камень с мостовой убрать, заменить деревом. Так и осталось.

Торговый центр — не торговый. Офисы в пять этажей. Представительства фирм. Генеральное консульство Монако. Тринидад и Тобаго — туда же. Посольство Японии: третий этаж. Эконом-вариант.

Во дворе как бы торгового центра — как бы слоны. Целое стадо: большие, поменьше, слонята. В натуральную величину. Не удержался, потрогал: металл. Здорово сделано!

Рядом — жилой комплекс. Элитный, с апартаментами для экспатов.

Чистенький, нарядный — просто конфетка. У дороги, внезапным боровичком, пожарная колонка. Низ ржавый, верх — бронзовый. A.P. Smith Mfg. Co., East Orange, New Jersey. 1904. Почти античность.

В центре скверика, за круглой оградкой — белого мрамора памятник. Карлос Мануэль де Сеспедес. Глава восстания против испанского владычества. Первый президент Кубинской республики. Отец Отечества.

В старом городе все рядышком. Тут же, поблизости — место основания Гаваны. Никто не скажет, в каком, собственно, году. От 1514 до 1519-го. Город переносили четыре раза. Вот и путаница. Версия Белкис — 1516. Шестнадцатого февраля. Пусть так.

Площадь Святого Франциска. Фонтан. Старая церковь. Скульптуры, современные: талантливо! Оптические эффекты — удивительные. На грани фокуса. Памятник монаху. Отец Хуниперо Серра — креститель индейцев. Городская скульптура — кабальеро с бородкой, городской сумасшедший. Свихнулся на почве страсти. Борода натерта до блеска — повезет в любви.

По соседству — бело-зеленый железнодорожный вагон. Некогда президентский. Вагон-музей.

— А что, железные дороги на Кубе — работают?

— Работают. Но не очень.

— Старые? Наши строили?

— Нет, раньше.

— Американцы?

— Раньше. Испанцы.

Девятнадцатый век. Поезд раз в день. Или в три — как повезет.

Музей рома. У входа поят коктейлями. Колотый лед, апельсиновый сок. Капелька рома. Сок тростника. Не пьянит — освежает.

В музее — на удивление интересно. Не только про ром. Ром и Куба. Как сигары — часть общего полотна. Парусники, рабство, плантации. Технологии, традиции, образ жизни. Реконструкция городка — целый зал: с домами, церковью и заводом. Огоньки, фигурки, игрушечная железная дорога. Бочки, бутылки, образцы готовой продукции. Американский огнетушитель на стене: серебристый, чеканный, 1939!

Улица встречает голым задом. Бронзовый Меркурий на бывшем здании биржи — лицом не ко мне. Раскоп: остатки старинного водовода — одиннадцать километров. Частично работает. В соседнем ресторане до сих пор капает. Поливает цветочки. Уважаю создателей.

Старая Площадь. Станные скульптуры. Гигантский цветок. Лысая женщина, голая и с вилкой. Верхом на петухе. Что означает — никто не в курсе. Включая, видимо, автора.

Едим вместе.

— А как вот это блюдо называется?

— Гарбанзо.

Тарелочка нута с томатами — вместо первого. Ресторан — изумительный. Изразцы, мозаика, витражи. А воды в кране — руки помыть — нет.

Второе — баранина с рисом.

Музыка. Дуэт: старый негр, пожилая мулатка. Гитара, маракасы, вокал. Страстно, самозабвенно. Есть слушатели, нет — похоже, без разницы.

Десерт. Кофе. Чаевые музыкантам — хорошие. Растрогали.

В отеле спокойно: так и тянет прилечь. В номере убрано. Покрывала —

лебедами, полотенца — веерами. Записочка от горничной: спасибо и лучшие пожелания. На английском. Написал ответную по-испански — что мне приятно. Однокуковая бумажка — в комплекте.

Вечер над океаном. Берег — не парадный — за отелями. Грязновато. Невдалеке — две кубинки. Мать с дочкой, наверное. Вышли к прибою. Постояли. Женщина в возрасте начала петь. Слов не разобрать — только рефрен: Йеманжа! Молитва богине моря. От души, истово. Здесь, пожалуй, что-то в этом есть. И тут же — волна к моим ногам. В волне — блеснула монетка. Один сентаво. Patria у Libertad. Тысяча девятьсот восемьдесят первый. Отчеканено в Ленинграде. Спасибо, Йеманжа! До завтра! Утром уезжаю. Чемодан собран. Закрываю глаза — и сняты галеоны, выходящие из Гаваны на рассвете под красно-золотыми флагами.

Куба — рай. Но денег бы побольше

Пункт назначения — город Санта-Клара. Пора, полагаю, заглянуть в путеводитель: зря, что ли, за него деньги плачены. Месячная зарплата — по кубинским меркам.

Что там у нас? Основан в 1689 году. Больше 200 000 жителей. Мемориал Че Гевары. Место решающего сражения за победу революции. Все, собственно. В Санта-Кларе с 1689-го до Че ничего не происходило, по версии путеводителя. После Че — тоже. А я вот приеду — и сразу произойдет. Международная книжная ярмарка.

На вкладке — карта. Санта-Клара — почти в центре острова. Не иначе, от пиратов подальше. Год основания соответствует: самый разгул. Империя расшатана, испанцы сдают позиции. Англичане, французы наглеют. Старые города на побережье — зона риска. Защитить проблематично — проще переехать. Впрочем, я не историк. Могу и ошибаться.

Время появиться машине. Вон та — не моя? Действительно за мной. Знакомое лицо. Белкис! С точностью до минуты. Водитель другой, не Франсиско. Помоложе и почернее. Рукопожатие крепкое:

— Анибал.

Машина — тоже другая. Hyundai Accent третьего поколения. Без роскошества, но добротна. Номера государственные.

— Сколько на Кубе стоит машина?

— Такая — сорок тысяч кук. Старая — двадцать. Если без очереди.

— А по очереди?

— Не всем разрешают. И пять лет ждать. Но по шесть тысяч. Или если за границей поработать.

Один в один как было у нас. Высчитываю — сколько это в рублях, если без очереди. Очень дорого. Пожимает плечами:

— Блокада.

Привычно. Два поколения при ней выросли.

Дороги на Кубе неплохие. Нередко — вообще хорошие: это даже путеводитель признает. Летим ласточкой, под 130. Гавана почти кончилась — выезд на транскубинскую автостраду. По сторонам — что-то спортивное, потемневшее от океанского ветра.

— Стадион и бассейн для Панамериканских игр. 1991-й.

На мосту, крупно: VIA LA VIDA. Дорога — это жизнь.

Встречные уазики — гарнизонное дежавю. Рефлекторно всматриваешься: наши?

— Белкис, дачи на Кубе есть?

— Только у русских.

Горожане — в городе, крестьяне — в деревне. Каждому свое. «На картошку» не ездят.

— А как же сафра? Все — на уборку тростника?

— О, вы знаете сафру? — удивляется. — Это в декабре — феврале.

Конечно, знаем. В газетах писали, по телевизору показывали: вся Куба в едином порыве, поможем сельскому труженику, Фидель впереди — и все прочее.

В помощь крестьянам на сафру, рубить тростник горожане выходили лишь раз. В 1973-м. По призыву партии. Десять миллионов человек, во главе с Фиделем. Эффектно, но разово.

— До революции земля была частная. Семьдесят процентов — у богатей. Сейчас — кооперативы. И узуфрукт.

Морщит носик: как же перевести? Не надо переводить. Право пользования чужой вещью. Римское право, классика жанра. Земля — государственная. Пользуйся, расти урожай. Девяносто процентов — государству, десять — себе. Три — пять гектаров на человека.

— Рис и фасоль — это главное. Еще кукуруза и бананы. И тростник.

Мелькают деревья, небольшие поля, банановые посадки. Маленькие озерца — голубые-голубые. В цвет неба. Разделительная полоса — вся в цветах. Кусты, пальмочки — подстрижено, ухожено. Специальные бригады ездят по автостраде, заботятся.

Гаишники. Как везде. Мы им неинтересны: номера государственные, разрешенную сотню не превышаем, на передних сиденьях — пристегнуты. На задних не обязательно.

— Взятки берут?

Мнется. Решается.

— У моего папы один раз хотели. Но он не дал, он принципиальный.

Нарушителям — штрафные баллы. Тридцать шесть баллов — лишение прав. Двадцать кук, однако, могут в корне изменить ситуацию. Как повезет.

Верховые. Тележки с лошадками. Люди на велосипедах. Сельская местность.

Остановка: сидят, ждут автобуса. Песо за двести-триста — местными — можно проехать через всю Кубу. Один песо сорок сентаво — в локальном сообщении. В рублях — где-то два восемьдесят.

Специальный человек в желтой форме. Работа — останавливать машины на трассе, подсаживать попутчиков. Бесплатно. В городах — такие же люди, только форма синяя. Ввели, когда распался СССР. Совсем плохо было с транспортом.

Поля, невысокие оградки из камней. Плантация тыкв, с орошением. Дождевальные установки. Сахарный тростник по сторонам — стенами. Варапо — сок тростника. Варапо — место, где его давят.

Водонапорные башни — странные, плоские, на четырех ножках. Тростниковые шалаши пастухов: козы, коровы. Горбатые, как зебу.

— Убить корову — тюрьма. Двадцать лет.

Берегут молочное стадо. Сыры тут, кстати, великолепные. Ломтик сыра, ломтик гуавы — бутербродом, хлеб — опционально: «тыба» — отличный десерт.

Говядины в меню мало, в основном для туристов. Ропавьеха — деликатес: мясо с рисом в томате, с луком и чесноком.

Тормозим под указателем. Плайя-Хирон — 62. Вправо. На Плайя-Хирон хочется, интересно, но некогда. В другой раз.

— Белкис, а как у вас с выездом за границу? Свободно?

Свободно. С двадцати одного года, когда выдают загранпаспорт. Езжай, куда вздумаешь: были бы деньги.

— Многие уезжают работать. Еще гуманитарные миссии — в Африке, в Латинской Америке. Врачи. Учителя.

— Были где-нибудь?

— Пока нет. Но мечтаю. Сначала Россия. Потом Испания.

— Посмотреть — или насовсем?

— Я — кубинка! Куба — это рай. Тут хорошо. Только экономика слабая. Из-за блокады. Денег бы побольше.

Экономика, между тем, оживает. Туризм. Отели. Нефть. Реформы Рауля. Частная собственность. Китайские инвестиции. Самый трудный, самый страшный период — после распада СССР — пройден. Голод, нищета отступают. Вот слева — завод по производству соков. Вполне современный. Здешние соки — чудо: выжаты — и сразу в пакет. Справа — сахарный завод. Труба дымит — работа идет. И еще. И еще — они тут везде.

Нынче — другая опасность. Людям хочется достатка, сытой жизни, когда не надо постоянно выкручиваться. Денег здесь и сейчас. Особенно молодым. Вроде моих студентов. Боюсь, они потянутся к Штатам — за долларом. Сразу, как только выпустит вожжи старшее поколение. Если оно не успеет с реформами, с ориентацией на Китай.

Указатель: новая провинция. Четвертая на нашем пути из пятнадцати. Санта-Клара — здешняя столица. Уже скоро.

Плакат: Кастро и Чавес. Nuestro mejor amigo — «Наш лучший друг».

Всадник над головой, на мостике — пересекает шоссе. Чуточку сюр.

Хищные птицы в небе, много, как в Хакасии. Все меньше зелени: краснозем, редкие пальмы. Дальше от моря — хуже с водой.

Невысокие горы. Антенны — радиолокаторы дальнего обнаружения. Военная база.

Рощи папайи: подлесок выжжен. Вверху — желтые листья, внизу — черная земля. Из зеленого — только люди. Парни, девушки в солдатской форме, голосуют. В увольнительную. Служат два года. Женщины — по желанию. Желających много, судя по голосующим.

Деревушки. Среди частных халуп — государственные домики. Славные, современные, на несколько семей. Жилье дают бесплатно, только очередь. Все, как было у нас. На всех не хватает. Семьи — по три поколения. В домах, где возможно, надстраивают этажи — не возбраняется.

Городская окраина: домики побольше. Вроде хрущевок, этажа три — четыре. Постарше, пооблезлее. Тоже государственные. Тут этаж не надстроишь: только мечтать об отдельной квартире.

Впереди — высокая статуя. Мемориал! Санта-Клара.

Мы мирные люди, но наш бронепоезд

Есть у нас с кубинцами общее свойство. Умеем создавать себе святых — и истово им поклоняться. Покажите трехлетнему кубинскому малышу изображение человека в берете и с бородой. «Кто это?» — «Че!»

Безразмерная площадь. Развевается флаг, огромный, идеально фотогеничный на фоне неба. В небе кружат орлы. Людям — символ. Орлам — польза: восходящий воздушный поток от площади.

Слева — серые кубики мемориала. На самом высоком — команданте Че. В бронзе и в берете. Издали — маленький. Куда-то шагает. В руке — винтовка. «Гаранд М1» — сделано в США. Справа — знакомый плакат. Команданте Чавес — глаза в глаза с Че. Здесь Чавес оценен.

В Санта-Кларе жарко. Плюс 35. Для марта — рекорд. Очень солнечно. Достают темные очки, впервые за поездку. Солнце тут же скрывается.

В мавзолей — очередь. Не как к Ленину, маленькая. Зато на жару.

Охрана в будках — военные. Баллончики местной «черемухи» на поясах. Строгие тетеньки-служительницы у входа. С вещами — нельзя. Даже маленькую сумочку пришлось оставить в машине. Фотографировать — нельзя. В головных уборах — тоже нельзя.

Мавзолей — тихая комната. Просто и аскетично. Одна стена — в деревянных брусках, другая — в круглых барельефах. Портреты погибших. Че и его бойцы. Две женщины в отряде. Лампадки, живые гвоздики — у каждого.

Вот и все. Дальше — музей. Снимать — запрещено по-прежнему. Шляпы — уже можно.

Фотографии: детство. Эрнесто Гевара — с мамой, папой и в платишке. Полное имя Эрнесто Рафаэль Гевара де ла Серна. Еще не Че. Че — прозвище. Слово-паразит, покойным употреблявшееся. Говорят, частое в Аргентине. Объяснить значение точно никто не берется. Словари определяют как междометие. Литературное «друг» — облагораживающая выдумка.

Зубоврачебные инструменты. Фотографии. Радио. Фотоаппарат: между прочим, «Зенит». Экспортный вариант — название латиницей. Куплен в Мексике. Оружие — в ассортименте. Еще фотографии: после победы. Че — кубинский представитель в ООН: между карьерными дипломатами в смокингах и военными при параде — веселый раздолбай в полевой форме, с зажженной сигарой. И фотокопия последнего письма. Из Боливии. Перед расстрелом. Того самого, из которого — «Patria o muerte» — «Родина или смерть» и «Hasta la victoria siempre».

Родился и вырос — в Аргентине. Прославился — на Кубе. Погиб — в Боливии. Лежит — в месте своих побед. В Санта-Кларе.

В машину с кондиционером ныряем с наслаждением.

Пора обедать — и на книжную ярмарку.

Центр города. Парк «Леонсио Видаль». Я бы сказал: площадь со сквером. Растяжки, плакаты, палатки, брошюрки, толкучка — книжная ярмарка.

Хожу, смотрю. Избалованные мы все-таки. Хорошей полиграфией. Иллюстрациями. Книжными салонами. Здесь книги другие. Мягкие обложки. Плохая бумага. Черно-белые иллюстрации. За детскими — очередь на жару. Натянутые веревочки между книгами и покупателями. Чтобы не напирали. Продавцы с лотками для денег на ремне через плечо. Отдельный ряд — книги б/у. Тоже

ценность. Здесь книги вообще очень ценятся. Интернет еще не убил их. Четыре-пять кук — неподъемно дорого за час хиленького, почти модемного соединения. Четверть зарплаты.

Система — все в кучу. Хулио Кортасар. Приключения Тома Сойера. Книги о кофе. Много — про бейсбол. Много Че: «Кубинская революция». В разных изданиях. Биография Чавеса. Фидель Кастро Рус — скромно, единственный томик. Нестареющий Хосе Марти. Местная публицистика. Мировая история — от китайской древности до гражданской войны в Испании.

— Русские авторы есть?

— Разумеется!

Конечно же, на испанском. Алексеев В.Н. «Количественный анализ». Вузовский учебник по химии. Зоя Воскресенская «Сердце матери». О семье Ульяновых — одна из немногих книг, изданных прилично: твердый переплет, суперобложка.

Нарядные колониальные домики вокруг площади. Белое, с колоннами — кажется, мэрия. Teatro la Caridad — Театр «Милосердие». Национальное достоинство. Здесь пел Карузо. Памятник: женщина в кресле. Благотворительница. Театр — на ее деньги.

Нравится мне их традиция. В каждом городе — что-то подобное. Еще и соревнование шло: у кого — самое-самое. В Матансасе хороший театр? В Сьенфуэгосе будет такой же! Но лучше. С фресками на фасаде. К вам приезжал петь Карузо? К нам тоже, и еще Сара Бернар. И еще — Анна Павлова, танцевать.

Солидное, академическое, в одном стиле с университетом, здание Instituta de Segundo ensenanza — «Институт второго образования». Год строительства тысяча девятьсот двадцать пятый.

Зеленая десятиэтажка гостиницы. Некогда «Хилтон». Теперь — «Санта-Клара Либре», как в Гаване. Следы пуль на фасаде — со времен революции.

Изящный особнячок — дом детского творчества. Выставка работ. Берег, море с волнами. Дорожка с пляжа — прямо в небо, за облака. Хороший рисунок, талантливый.

Расписание кружков. Студия оригами... Полное дежавю: мои дети ходят в такое же заведение, потолки только пониже.

— Ну, как вам ярмарка? — организаторы ждут одобрения.

Конечно, хорошая. Теперь вы к нам.

В Бристоль, друзья! То есть, конечно же, в Тринидад.

На стыке миров

Тринидад — исторический город. Наследие ЮНЕСКО. Город-музей. Гордость Кубы.

Едем по указателю. Снятым из окна видео можно мистифицировать друзей. Горки, поле, обгоняем «москвич». Обгоняем «жигуленок» на фоне пальмовой рощи. Пропускаем армейский «Урал». Внимание, вопрос: в каком районе Челябинской области снят ролик?

Вечереет. Смотреть Тринидад поздно. Утром займемся. Так, а город-то где? В какие болота вы меня завезли, товарищи дорогие?

Сюрприз. Тринидад — торговый, купеческий — совсем не у моря. Говорят, одиннадцать километров. Дамбы, заливчики, мангровые болота.

— Мы вам сняли номер в отеле на побережье. Не пожалеете.

Карибское побережье. Можно хвастаться: пересек Кубу. Коса Анкон — шесть километров песчаного пляжа. Отели — к морю лицом. С тыла — болота. Зеленый ковер — мангровые деревья. Водные росчерки прогалин. Белые цапли, спокойные, вальяжные. Здесь их царство. Комаров тут, наверное...

Отель простенький — три звезды, кажется. На сваях. Первый этаж пустой, нежилой — пространство между опорами. Персонал по-английски — чуть-чуть. По-русски? Смеетесь!

Дали карточку, нацепили браслет. Как бы все включено. Поднимаюсь на лифте. Двери лифта выходят не в коридор — в маленькую будочку на конце открытой галереи. С видом на болота. Ветрище! В стене — двери номеров. Где тут мой шестисот восемнадцатый?

Откровенно посредственно. Шаткие стулья. В середине окна — допотопный кондиционер с механическими ручками. Вроде советских «БК» — бакинского завода. Так «БК» ведь и есть! Застиранные шторы. Отдергиваю. Распахиваю. Замираю.

За окном... Словно выглянул на другую планету. Море, пляж, пальмы. Солнышко на волнах. Чудо! Все недостатки отеля искупаются этим пляжем. Лежаков и зонтиков — изобилие. Песочек — как шелк. Море — как бархат. Теплее воздуха. И плевать, что из душа в номере еле капает. Если рай есть, то он выглядит так.

Не верьте картам. Карибское море — совсем не Атлантика. Все другое. Вода — теплая. Волна — ласковая. Живность — крупная, наглая, кишащая.

Ночь. Проснулся от вспышек. Думал — гроза. Скорее к окну — чтобы закрыть. Грома нет. Тихо-тихо: лишь шелестят волны о пляж. Небо ясное, звездное. Где-то высоко-высоко беззвучно и оттого особенно завораживающе вспыхивают зарницы. Долго стоял у окна. Не мог оторваться. До чего же красиво!

— Как спалось? Бьен? Лос москитос не закусали?

Не закусали. Вообще ни одного не заметил.

— Это у моря. На болотах их сколько угодно. Но мы уже победили и малярию, и желтую лихорадку. — Не то успокоила, не то похвасталась Белкис. Молодцы, кстати. Желтая лихорадка, если я правильно помню, выкашивала здесь колонизаторов пачками.

Тринидад начинается с вывески. Юбилей: 500 лет. 1514 — 2014. Неугомиый мужик был Диего Веласкес — конкистадор, не путать с художником, куда в карту Кубы ни ткни — что-нибудь да основал. Умер, кстати, от лихорадки. Москит укусил.

Сказано в путеводителе: Тринидад — жемчужина колониальной архитектуры.

Небольшой подъем к главной площади: склон холма. Мостовые, мощенные камнем. Не ровным булыжником — мелкими, разной формы, беспорядочно расположенными кусками. Словно их просто высыпали и втоптали. Середина улицы чуть заглубляется и вечно мокрая: чистоплотные хозяйки непрерывно что-нибудь моют — за порогом, порог, ту же улицу. Результаты выплескивают. Не уверен, что тут есть современная канализация. Насчет водопровода — тоже сомнение.

Вон она, водовозка. Шланги — в дом, в бак на крыше. Сейчас будут качать. Все тот же неизменный трудяга ЗиЛ-130, только с цистерной. Чей-то любимец:

щеголеват, свежевыкрашен, фигурка лебедя на капоте — крылышки сияют хромом.

Мастерская керамики — длинный, низкий, зеленый сарай. Белкис знакома с владельцами. Объект туристический. Экскурсантов подвозят автобусами. Напротив входа — гончарный круг. Электрический. Мастер в опрятной рубашке и выходных туфлях показушно выделяет простенькие горшочки. Цены ниже уличных. Дело семейное. Хозяин в белой шляпе. Хозяйка — за маленькой дверью, там кухня. Мебель, техника — по последнему слову. Пес — всеобщий любимец. Носит ключи за хозяином — связку на красном шнурке. Красавец, породистый. Хаски!

— Откуда — на Кубе?

— Из России.

— Ух ты!

Пса зовут Волк. Не Lobo — именно Volk.

Сзади, в подсобке — настоящее производство. Круги побольше и погрязнее. Мастера в непарадных футболках. От печи пышет жаром. В закутке — хозяйский «форд». Модель 1914 года. На ходу. Красно-белый, пижонский. Кожанный салон, заводная ручка. Самое свежее — номера. Кубинские, тридцатых годов.

Говорим с продавцом. Я по-русски, он по-испански.

— Нуэво эн Куба?

— Си, нуэво. Впервые.

— Мучачос?

— Двое.

— Семеро! — бьет себя в грудь.

Молодец. Нынче и трое в кубинской семье — это много. В среднем — по два ребенка.

Дверка — сбоку. Туристы сюда не выходят. Другой Тринидад. Домохозяйки с покупками. Уличные продавцы со связками лука. Облезлые домики. Лавочка мясника. Свинина — пятьдесят песо за фунт. Говядины нет — говорят, частный забой до сих пор запрещен. Магазины — по карточкам. Стенд при входе: «Уголок потребителя». Ящик с прорезью вместо жалобной книги. Правила поведения при пожаре. «Ответственная за пожарную безопасность — товарищ Дельгадо».

Товарищ Дельгадо за стойкой. Черное платье, волосы забраны лентой. На стойке — весы. Синие, с гирьками — наши, родные, знак качества СССР. Сельпо как сельпо. Арка с занавесочкой — розовой, тюлевой, с оборочками — на склад. На складе — мешки. Верхний вскрыт, в сахар воткнут железный совок. Штабелем — яйца в картонных ячейках. «Hola!» — знакомые пачечки. Четыре песо. Десять песо — зубные щетки. Сахар-песок — считай, задарма. Фунт — десять сентаво. Двадцать копеек на наши деньги. Это коричневый. То, что он у нас в моде, — ловкий ход маркетологов. Так-то — полуфабрикат. Белый, очищенный, дороже: пятнадцать сентаво. Рис — двадцать пять. Рубль за кило. В шестнадцать раз дешевле рынка.

Чтобы все не скупили — по таким-то ценам — на стене доска с нормами выдачи. Сколько фунтов в месяц. Рис — то ли 5, то ли 6. Кофе — одна упаковка. Comprota какая-то — по шесть банок. Масло растительное — сорок сентаво. Фасоль — подороже, песо двадцать. Рыба — два пятьдесят. По три килограмма —

не фунта, плюс один — для dietas. Молоко — вроде, соевое — не силен в языке. Спички — песо за коробок.

Сигареты «Popolag» — семь песо. Их нет на доске: в норму больше не входят. С курением — борются: бросил даже Фидель. На полке, однако, остались — берут.

Никакой очереди. Дедуля в бейсболке: ворох песо, в бумажку завернутых: «Милая, отбери нужное! Плохо вижу». Женщине с сумочкой вынесли что-то в красивой коробке. Кажется, тортик...

Карточки глянуть дадите? У нас тоже были. Книжечка с номером. «Контроль продаж продуктов питания» называется. Адрес, магазин — «пункт приписки», где попало не отоваришь. Отметки о выдаче.

Две минуты по улочке. За углом — вновь бульжник, туристы и свежая краска фасадов. Скучающий велотаксист умудрился прилечь, не слезая с рабочего места. Школьник на велосипеде. Дрынь-дрынь-дрынь-дрынь.

Обычные люди, выходит, здесь тоже живут — не только туристы. Кое-кто и неплохо. Подсмотрел: открывались ворота — заезжала машина. «Джип», дорогой — номера кубинские, частные. За драным забором — шикарнейший дворик. Как на вилле у «нового русского». Зелень, отделка, машины.

Частные ресторанчики — «паладарос». Сплошь «итальянские». Пицца, спагетти. С вкраплением гамбургеров. Итальянский бар «Свободная Куба» — как тут Гоголя не вспомнить: «иностранец Василий Федоров».

Дошли до музея. Желтый дом с башней и внутренним двориком. Заповедник колониального быта. Чистый грабеж: фотосъемка — пять кук. Месть за колониальное прошлое?

— Здесь жил врач.

Эка жили врачи! Потолки метров шесть. Окна, двери — до верха. Два фонтана во дворике, пальмы, колонны. Севрский фарфор из Европы.

— Был семейным врачом в очень знатном семействе. И когда второй раз овдовела их дочь, женился на ней.

Вот и разгадка, откуда у доктора этот дворец. Лестница — в башню. Деревянная, винтовая. Сверху — видно весь город. Подъемные краны. Туристы едут, деньги текут — наследие ЮНЕСКО бойко достраивается. Где этаж добавляют, где улицу — в классическом колониальном стиле, само собой.

Черепичные крыши, красивый игрушечный центр: церковь с колокольной, церковь без колокольни, ажурные решетки балкончиков. Центральные улочки сплошь заставлены — столики, прилавки, шляпы, куклы, посуда, рубашки, магнетики, маракасы... Взгляд в потаенные дворики: белье, уютные кресла-качалки, мангал из колесного диска и бегают куры.

Спускаемся. Надо зайти на центральную площадь. Отметиться — был. Известные статуи: пара собак. Терпсихора из мрамора. Муза танца — на Кубе, понятно, любимица. Массажный салон совмещен с галереей. Стены в картинах. Ценник в окне — на массаж. Правда массаж, с остальным крайне строго. В девяностые было, нынче — под корень.

Торговые улочки — все на продажу. Под прилавками — пустые коробки. Надпись: PRODUCT OF U.S.A. «Хранить замороженным». Окорочка? Блокада блокадой — а коробочки свеженькие.

На домах — разноцветные знаки. Синий — сдается туристам. Красный — кубинцам. В Тринидаде почти все домики в синих. От цвета значка зависит

налог. Синий — платится в куках. Красный — в песо. С красным туристу комнату не сдадут. Побоятся.

Дом культуры — в изящном особняке с витражами. Двери открыты. В холле виден рояль. Расписание разных арт-студий. В пышной классической люстре — современные лампочки. На Кубе вообще ламп накаливания не увидел — кажется, запрещены. Только энергосберегающие.

Магазин «Минисупер» — забавное слово!

Престранная вывеска: ORDEN CABALLERO DE LA LUZ. Орден Рыцарей Света? Двери, жалюзи плотно закрыты — редкость для Тринидада, где все распахнуто на улицу. Масоны? Джедаи? Белкис не в курсе.

— Хотите коктейль? Местный фирменный. Раньше был напитком рабов. Мед, лимон, ром.

Не хочу. Зато вижу кофе в продаже. Новый вид. Пачку — в сумку.

Едим в ресторане на площади. Хорошие фрукты, заурядное мороженое. Мясо и юка — она же маниок, она же кассава.

Провожает Фидель на придорожном плакате. PATRIA O MUERTE. Грустен и не похож на себя.

Перед сном выхожу на болота: дойти до причала. Мангры по сторонам. Свежие полосы кабель-каналов на обочине: тянут линию связи.

В марине чудесно. Дождь разогнал всех туристов. Ветерок — комаров. Белые яхты на спокойной воде. Двое солдат — береговая охрана — точат лясы в беседке. Пост оставлен. Все равно никого. Носятся с мячиком дети зрителя.

Расходится персонал из отелей — отработали смену. Ловят попутки. Седлают велосипеды.

Размашисто и привычно шагает с гитарой за плечами музыкант. На сегодня — работу окончил. Одиннадцать километров — до города.

Впереди Сьенфуэгос — туристический центр. Вдруг тормозим. Что такое?

Крабы! Идут размножаться. Рыжий поток, тысячи тысяч, перетекает дорогу. Из моря на сушу. Боком, клешни выставлены оборонительно. По асфальту, по траве, залезая на деревья. Задело машиной, оторвало клешню? Не беда. Качаясь, теряя равновесие — вперед, только вперед!

Переждать, пропустить невозможно. Да и не единственный этот поток: дальше — другие. Машины едут насквозь. Хруст под колесами. Вся дорога в раздавленных крабах. Слетаются падальщики — птицы с красными головами. На обочинах — сломанные машины: краб попал не туда. Защиту на картер не ставят — а зря.

Садки с креветками у берега — аквакультура. Лачужки. Плетни из кактусов. Здания поприличнее. В деревнях сразу и не понять — где жилой дом, где администрация, а где автобусная остановка — все крошечное. Только школы опознаваемы: по бюсту Хосе Марти перед каждой. Нет деревни без школы. Нет деревни без поликлиники. Указатель: «Театр». Тоже где-то неподалеку.

Предгорья — считается, холодно. Теплицы. Что тут в них можно растить? Говорят, овощи.

Жутко чадающий автомобиль впереди. Дороги не видно за дымом — обгоняем вслепую. Американский экзотический «крокодил».

Сьенфуэгос

Сьенфуэгос — Гавана в миниатюре. Гавань. Полно иностранцев. Атмосфера приятного развлечения. Вместе с тем — крупный порт. Когда-то стояла и наша эскадра. Нефтяной терминал. Танкеры из Венесуэлы приходят сюда. Брошенный нами недостроенный нефтеперерабатывающий завод достроили венесуэльцы. Лет десять ушло, но работает. АЭС — почти что готовая — тоже брошена незаконченной. Года-двух не хватило Союзу...

Мой отель. Точно мой? В таких раньше не жил. Настоящий старинный дворец. Даже с башенкой. Только маленький. Здесь останавливался Чавес!

Комнаты — не с номерами, а с именами. Моя — «azucena», лилия.

Полный контраст с предыдущей гостиницей. Все камерно, и с водой нет проблем. Не магнитная карточка — ключ с солидной кожаной биркой. Персонал незаметен, появляется лишь когда нужно.

Пол изразцовый, старинный, приятно прохладный. Потолок с лепными бордюрами — высота метра четыре. Окна — до потолка. Можно открыть по частям, чтобы проветривать. Двухметровые шпингалеты. Убрать датчик и кондиционер, вытащить телевизор — и все будет, как в музее колониального быта.

Персональная терраса с плетеными креслами. Сажу, как король, смотрю на бульвар — Paseo El Prado. Длинная-длинная улица — через центр и вдоль моря. Общегородской променада.

Выхожу на бульвар. Вправо город кончается — мы на косе. Значит, влево.

Люди гуляют: и туристы, и местные. Многие босиком. Бульвар чистый, асфальт теплый. Попадаются, впрочем, и наоборот, очень даже обутые: разодетые парни в резиновых сапогах, в кругу млеющих девушек. Это что, высший шик?

Корабли у причалов: местные лихтеры, два сухогруза. Японское судно — то ли научное, то ли шпион — оснащение позволяет. Все небольшие: супертанкеры — на горизонте, идут глубже в залив, в другой порт.

Умно построенные дома вдоль бульвара: с пешеходными галереями. В дождь укроет, в жару защитит.

Двадцать метров вбок — и сразу деревня деревней. Налеплено — кто что построил. Путаница проводов. Вот зараза: нет связи! Сотовый оператор на Кубе один, называется Cubacel. До сих пор безотказно ловился, даже в горах. В Сьенфуэгосе — нет. Что за диво? Так, уже разобрался. Тут нет GSM — только UMTS. Переключаю стандарт — все в порядке. Современное 3,5G.

Ближе к центру — дома посolidнее. Два этажа. Даже три. Фасады с лепниной. Арка — вход в кабаре. Памятник симпатичному дядьке с усами — «От благодарного Сьенфуэгоса». Год 1919. Памятник женщине в капоре — вероятно, актрисе: арфа на постаменте. Киоски с билетами. Город славится музыкой и театром.

Вот веселый мулат в шляпе, с тросточкой и при галстукке. Бронзовый. Без постамента — просто гуляет по улице. Трость натерта — ну ясно, снова поверье. Интересно, кто это? Бенни Море! Знаменитый кубинский певец, композитор, самоучка, талантище. У меня же есть его записи! Вот так встреча.

Пешеходная улица — влево. Старые рельсы проступают из-под асфальта.

Здесь ездил трамвай. Больше не ездит — только старый вагончик, почему-то на крыше одноэтажного дома, там ресторан.

Город основан французами с разрешения испанской короны в 1819 году. Беженцами с Гаити — от восставших рабов. Триумфальная арка. «Единственная на Кубе». Французы, однако! 1902 — по случаю независимости. В честь создания Кубинской республики.

Странное здание на углу, слева от арки, с вычурной башенкой. Дворец сахарного магната. Сейчас — дом культуры.

Плакат — «Все на местные выборы». Скоро. Здесь депутаты — народные. Без отрыва от жизни. Проголосовал — и вернулся. За дни заседаний — зарплата по месту работы.

Солнце клонится к горизонту.

Все самое лучшее

Пасмурно и немного грустно: поездка кончается. Варадеро не в счет — одна ночь. Трансфер в аэропорт — и в Москву.

Напоследок прокатиться на катере, раз уж время осталось.

Удаляется берег. Уменьшаются яхты. Растут сухогрузы и танкеры — те, что идут в порт. Растет полушарие купола — недостроенная АЭС на другом берегу. Город атомщиков, несостоявшийся.

Город с моря: стадион, колокольни собора, отели. Трубы заводов. Нефте-перегонка идет полным ходом: гигантские баки, танкеры под разгрузкой. Факел чадит. Краны порта заняты судном под флагом Перу. Мыс с беседкой. «Мавританский дворец» с рестораном. Поворот — и обратно. Прогулка короткая. Gracias!

Перекусим — и едем. Анибал — у ворот.

Пока, Сьенфуэгос! Черный выхлоп машин — запах кубинского города. Мелькают сине-зеленые здания — филиал университета. Есть в каждой провинции.

Сахарные заводы видно по трубам. Водонапорные башни. Поля тростника. Нитка железной дороги, рельсы наезжены, ржавчины нет. Здание станции выглядит старым. Ветка разъезда заброшена, рельсы засыпаны мусором. Мало составов: разъезжаться тут не с кем, одной нитки хватает. Недостроенная эстакада из никуда в никуда.

Техника в поле — комбайны.

Голубые коробки — высокие здания, группой — средняя школа для окрестных селений. Начальная — в маленьких школах, рядышком с домом, а старшие ходят сюда. Днем учатся, вечером — на несложных работах. Сбор манго, когда поспевает. Сбор апельсинов. Труд — часть учебной программы, элемент воспитания. Идея не нова — Хосе Марти.

Остановки, заправки. Самодельный автобус на базе КамАЗа: удивительный кузов. Сварен из пары «Икарусов»? Редкие «Жигули». Зато — автопарки с грузовыми машинами, относительно свежими. Половина — КамАЗы всех возрастов, но есть и «Мерседесы».

Появляется зелень: скоро Атлантика. Машина со свиньями в кузове — едут на Варадеро. В отели.

Въезд на Варадеро. Кордоны, полиция, тетеньки в будочках. Анибал

отмечает путевку. Полуостров: связь с миром — только по этой дороге, узкой ниточке. Впереди — заповедник. Комфортная резервация. Синтетический рай для туристов. Здесь из солнца и моря производятся деньги.

Показались отели. Вечереет, усталость: разместиться и спать. Завтра — трансфер в Гавану и рейс до Москвы.

Анибал достает из багажника мой чемодан. Будем прощаться. Спасибо, дружище. Белкис пока что со мной — помочь разместиться. Но после уедет. Ее дело сделано. Завтра — другие туристы.

На следующее утро сижу в холле отеля, жду трансфер. Страница переворачивается. Машина пришла: желтый микроавтобус. Всем пока. Едем. Зелено. Полигон: солдаты, по самой жаре — на занятиях. Встречные посигналили фарами, как у нас. Впереди полицейские. Водитель благодарит поднятием руки. Граница провинций, дальше — Гавана. Живописное место. Ажурный огромный мост, называется Васупауаqua — высочайший на Кубе. Ресторан над обрывом. Mirador de Vasupaupaqua — смотровая площадка. Вид на долину и море с другой стороны потрясающий.

До Гаваны осталось немного. Свежий асфальт — еще застывает. Закрыта одна полоса. Минаретами — трубы большого завода. У проходной толпится народ — туда или оттуда? Похоже, в две смены.

Нефтяные качалки вдоль берега и мобильная буровая — тут нефть! У моря — таблички: купаться нельзя, лов рыбы запрещен. Под табличкой — мужик в каске нефтяника. С удочкой, ловит рыбу. Наши люди! В других народах мы любим себя. «Смотрите, какие они пунктуальные» — уважение. «Глядите, они такие же раздолбай!» — симпатия. Потому нам кубинцы и нравятся: очень похожи.

Радарная станция на холме: к обороне готовы! Вместо фортов.

Вот и аэропорт имени Хосе Марти. Терминал номер три, международный. Выгружаемся с чемоданами. Чаевые шоферу.

Прозрачная клетка — зал ожидания. Современный, хороший, удобный. В центре — кафе, по сторонам — самолеты.

Включаются лампы: солнце садится. Мой последний закат над Гаваной. Почти что багровый. Надо будет вернуться! Надо, чтобы мы сюда ехали. Туристами, преподавателями, студентами, строителями, инженерами, атомщиками, нефтяниками — да мало ли кем. Смотрите: со стены отвалились часы, которые раньше показывали московское время. Каракас и Лондон, Рим, Пекин и Мадрид — все на месте. Московского времени — нет. Очень скоро появится вашингтонское. Потом — по накатанной: посольство — некоммерческие организации — культурный обмен — искусство — наука — образование — массовая культура. Просто попробуйте — мы угощаем! И в момент, когда глядя в экран, где наперерез армии зомби выдвигаются американские танки, обычный кубинец подумает — «ура, наши!» — Куба кончится.

Обязательно надо вернуться!

Москва — Гавана — Санта-Клара — Тринидад — Сьенфуэгос — Гавана — Москва — Екатеринбург

Игорь Шкляревский

Как учитель сочинял стихи

Пятнадцать лет назад я познакомился с учителем истории из небольшого города Александрия — Иосифом Григорьевичем Спектором.

О бедности провинциального учителя я знаю с детства, отец — историк, мать — учительница младших классов, родители учеников дарили ей сирень, душистую и несъедобную, и гардероб послевоенного учителя — осниа мэо мэкум порто, всё, что имею, — на себе.

Но в изголовье у меня на самодельных полках стояли Пушкин, Лермонтов, Толстой, Толковый словарь Ушакова. Отец собрал несколько сотен книг, недоедая.

Похожая история произошла с Иосифом Григорьевичем и его женой — Фаиной, на удивление красивой даже в седине учительницей географии, но утонченные черты ее лица за неимением в Александрии Тициана запечатлял фотограф, инвалид Отечественной войны, в ортопедических ботинках, покрытых теплой украинской пылью. В Александрии и Ватуutine в июле было много пыли и подсолнухов, но (опять это «но») даже семечки учителю непозволительны, высокие слова несовместимы с семечками на губах.

Прекрасная Фаина опровергла представление тысячелетней давности о том, что женщине довольно красоты, и написала школьные учебники по географии родного края, заранее не соглашаясь с «лозунгами» новой жизни:

— Купи кусочек родины.

Надо же так сказать. Купи кусочек родины — с могилкой неизвестного солдата на обочине проселка. Вчерашнего десятиклассника...

В Александрии наступало лето. Учительница в пчелах и подсолнухах пешком творила географию родного края. Учитель сочинял стихи, как у Наума Кислика:

— Он сочинял, пока свеча
не дочадит,
пока подойник
в сених не грохнет сгоряча
и не заплачет дверь по-вдовьи.

История фронтовика Наума Кислика, с багровой вмятиной на лбу, оставленной осколком от немецкой мины, учителя из Белоруссии, поэта.

Историк Спектор сочинял нравоучения, морализировал и призывал к

высоким идеалам, но в трещинах его идейных убеждений прорастали подсолнухи и огурцы живой поэзии.

Подарки дождика и неба без призывов. Чистый русский язык, благородная сдержанность формы:

Ночь. И мерный бой часов.
За окном — метель.
Снежный край. Страна лесов.
Вологда. Артель.
.....
Утро. Вьюга унялась.
Солнце над сосной.
Счастье — это каждый раз
приходить домой.

Учитель часто побеждал поэта и снова в трещинах его переживаний появлялись одуванчики, зеленые ростки тополей — осокорей с чудесной рифмой — «осень скоро».

И все-таки они соединились — историк и поэт — в стихотворении трансцендентальной силы.

— Седых веков седые пилигримы,
они прошли песков
синайский зной,
и затворили воды за спиной
но не забыли
куст неопалимый
и верили, что за Стеною плача
нас ждёт и смех,
и счастье, и удача.

Одно короткое стихотворение. А много и не надо, чтобы написать его на камне.

Евгений Абдуллаев

Требуется «негр»

В позапрошлом году мне пришлось прочесть что-то около девяноста романов. Современных, русских, серьезных. С разной, естественно, степенью погружения: что-то просто «продиагоналил», что-то — от корки до корки. И в какой-то момент, пытаясь все это как-то обдумать и переварить, задумался относительно этнического состава действующих лиц. Просто ради интереса. Русские, это понятно. Изредка — украинцы (от русских фактически неотличимые). Евреи. Вот и весь улов.

Плохо это или нет — другой разговор. Для самой литературы, думаю, ничего хорошего в этом нет. Это означает, что она — даже самая либеральная — продолжает жить в стеклянной банке. Достаточно приехать в любой крупный российский город и пройтись по улицам: не заметить этнического разнообразия просто невозможно. Хорошо это или не очень (и для кого) — выношу за скобки.

Но это — реальность.

Авторы абсолютного большинства романов, кстати, — жители городов. Больших и очень больших. Но ощущение такое, что живут они в таинственном мононациональном государстве. Каковым Россия не была даже во времена Алексея Михайловича Тишайшего. Современный романист, перевоплощаясь в главного героя (или нескольких) может — воображаемо — изменить пол, эпоху и местожительство. Но чтобы сделать — пусть не главным, но одним из главных героев татарина или бурята, или осетина... Я уже не говорю о народах бывших союзных республик, которые почти во всех городах постоянно или почти постоянно живут, работают, учатся, торгуют, гастарбайтят.

Разумеется, о татарах могут писать сами татары, о бурятах — буряты, и так далее. И пишут. Не так много, но где-то раз в два-три года что-то печатается. Изредка — привлекает к себе внимание и за пределами литературных кругов. «Салам тебе, Далгат!» Алисы Ганиевой (2009). «Шалинский рейд» Германа Садуллаева (2010). «Зулейха открывает глаза» Гузели Яхиной (2015). Речь не об этом. Речь — об интересе к этническому Другому. Когда писатель вылезает из собственной этнической шкуры и пытается влезть в чужую — или хотя бы примерить ее на себя. Ощутить себя «хоть негром преклонных годов» (варианты: немцем, казахом, армянином...).

В русской классике, кстати, особой сложности с этим не было. Разнообразна «этническая гамма» героев у Пушкина: украинцы, горцы, немцы, цыгане, западные славяне, испанцы... У Лермонтова, у Толстого. Да и в советское время русские довольно охотно писали про не-русских. Особенно в двадцатые-

тридцатые годы. Платонов, Иванов, Фадеев... Потом меньше, это уже стало жестче фильтроваться, становилось более казенным. Как это точно описала Дина Рубина в повести «Камера наезжает!»: «Надо подумать, как верно расставить национальные акценты...»

Теперь «верно расставлять национальные акценты» авторов никто не заставляет: пиши про кого хочешь и как хочешь. Вся этническая палитра пред тобой — на улице, в транспорте, в подъезде.

Почти не пишут.

Почему?

В 2003 году Наталья Игрунова задавала аналогичный вопрос в беседе с Борисом Дубиним: «Что касается опыта переживания распада империи — вспоминаются только два писателя, у кого это вылилось в серьезный разговор: Андрей Волос («Хуррамабад») и Афанасий Мамедов с его бакинским циклом. Как вы думаете, почему? Нет интереса в обществе к тому, что происходит за пределами нынешней России? Рост «закрытости», сосредоточенности на себе, отгороженности? Травматический опыт? Незнание материала?» («Дружба народов», 2003, № 1).

Да, отчасти все названное. И отсутствие интереса, и слабое знание материала. И все же — опыт распада империи за последние лет десять как-то осмыслен. Сегодня вопрос стоит уже не столько о том, «что происходит за пределами нынешней России». А о том, что происходит в ней самой. Андрей Волос прекрасно написал о таджиках в Таджикистане, Мамедов — об азербайджанцах в Баку. А написать о таджике, азербайджанце или киргизе, живущем в российском городе? Не обязательно, кстати, гастарбайтере.

Хотя — почему бы и не о гастарбайтере? В середине 80-х Гюнтер Вальраф целый год прожил под маской турецкого чернорабочего и написал об этом книгу, ставшую бестселлером. Пусть Вальраф — журналист, а не романист; и никто не ожидает от российских инженеров человеческих душ, что они, напялив черный парик, пойдут «в народ», да еще и неместный. И все же — само отсутствие интереса к изображению этнического Другого довольно показательно.

Сошлюсь еще на одну «дружбинскую» беседу, 2005 года (№ 4). «Я уже давно мучаю своих друзей, — признается Борис Дубин, — предложением вспомнить героев русской, а еще лучше — советской литературы, положительных, главных героев, которые были бы нерусского происхождения. Много мы их вспомним? /.../ Конечно, литовцы пишут о литовцах, Анатолий Ким — о корейцах, Айтматов — о своих, Искандер — о своих... Все нормально. Понятно, в каких это границах. А у русских авторов можно кого-то найти? У известных русских писателей?».

За прошедшие десять лет ситуация фактически не изменилась. Отдельные, точечные случаи. «Асан» Маканина. «Перс» Иличевского. Что еще?

Есть, конечно, «Русская премия», которая поддерживает именно эту линию в русской прозе. В 2014 году, например, ею была отмечена книга казахстанца Ильи Одогова «Тимур и его лето», где есть замечательный рассказ «Овца», из жизни казахского села. Или не менее замечательная книга живущего в США Александра Стесина «Вернись и возьми» — две повести об афроамериканцах. В длинном списке премии была даже повесть о жизни тайского селения — Александра Сторча.

Но это все — опять же где-то там, за пределами России. Нет афроамериканцев и мулатов в Москве? Есть, видел, и довольно много. Но в русской прозе со времен «Арапа Петра Великого» чернокожие фактически отсутствуют — даже на вторых ролях. Единственное приходящее на память исключение — интересный и недооцененный роман Хамида Исмаилова «Мбобо», печатавшийся в 2009 году в «Дружбе народов».

Кстати, и сами русские в современной русской прозе даны, как правило, этнически блекло. Говорят на средне-городском или условно-деревенском языке, слегка подкрашенном сленгом. Почти не заметны местные говоры, диалектизмы. Непонятно, что едят, какую пищу. Речь, вера, обычаи, еда — то, чем обычно маркируется этнос — всего этого в современной русской прозе почти нет. Она вообще этнически пресна.

При этом — интерес к другой этничности в российских городах довольно высок. Пусть проявляется он, главным образом, на уровне кафе и ресторанов национальной кухни (чайхан сегодня в Москве, кажется, больше, чем в Ташкенте). Или — пошловатых сериалов про «джамшудов».

Массовая и полумассовая литература, кстати, этот интерес уловила. То прогремит какая-нибудь «танцовщица из Хивы». То — роман Багирова «Гастарбайтер». У Дарьи Донцовой кого среди персонажей только нет (даже какие-то экзотические северные народы). Не говорю уже про Акунина — никогда про «национальные акценты» не забывает.

Расширяя этническую палитру текста, автор не только точнее отражает реальность: он расширяет и круг своих читателей. Повышается вероятность того, что его будут читать и представители тех самых этносов, которых он выводит в своем романе или повести. Пусть, прочитав, не согласятся — главное, прочтут.

«Высокая» литература пока блюдет свою этническую — точнее, вне-этническую — чистоту. Нет, не в силу ксенофобии (как раз квасные патриоты любят изображать всяческих «инородцев»). Скорее, из-за банальной лени, нелюбопытства к Другому. Несколько лет назад критик Сергей Беляков заметил, что из русской прозы исчез «простой человек из народа» («Знамя», 2007, № 10). Действительно — исчез, и по той же самой причине. Из-за отсутствия у прозаиков интереса к тому миру, который их окружает. Что делает — несмотря на редкие исключения — и саму прозу несколько аутичной и не слишком интересной. Доза этнического и языкового разнообразия ей уж точно бы не помешала...

Александр Котюсов

Тринадцать писем читателям

На зарифмованное стоккато «Где-то под Гроссето» рвется в ответ — «и снова Степнова». После романов «Безбожный переулок» и «Женщины Лазаря» — короткая проза. Тринадцать рассказов — словно бусины четок, и каждым можно восхищаться, перебирать-перечитывать.

Открывает свой сборник Марина Степнова простенькой историей «Тудой». «Она говорила — тудой, сюдой... Тут все так говорили». В моем детстве тоже. Бабушка — дивеевские корни, три класса церковно-приходской школы — ходила по утрам в «церкву», молилась, накануне писала записки весь вечер, десять слов — двадцать ошибок, про запятые и не учил никто. Кому писала? Я тогда не понимал, она говорила — Богу. Как ему писать? Он же на небе. Мама, коммунистка, отмахивалась: не обращай внимания, не нужно тебе. Не нужно, так не нужно, вырасту — разберусь. Бабушки нет давно. Так и не разобрался. Если Бог есть, почему в жизни столько несправедливости?.. В рассказе — Кишинев! Город моего детства. Какими бы ни были твои детские годы, все равно вспоминать будешь с умилением. Дед обосновался в Кишиневе после войны, зазывал нас с мамкой в жаркое чрево его каждое лето, в узкую, тесную свою квартиру, двенадцать метров всего, перегораживал шкафом, мы на полу, на матрасе, так прохладнее, дед на диване. Зреют персики на улице, жердели, вишни, падает на кипящий асфальт алыча, взрывается зеленая кожа грецких орехов. «Розы на

улице. Огромные, лохматые, как спросонья. Абрикосы тоже на улице — и никто не рвет».

То ли Степнову читаю, то ли вспомнились те детские мои годы. И магала — «россыпь карточных почти домишек, печное отопление, сваленный как попало человеческий сор». История двух людей. Ее и его. Равных. В детстве все равны. Двенадцать лет, четырнадцать, восемнадцать. Степнова прыгает через годы. «Сайгачит» по рассказу, как мы по магале. Годы меняют людей, любовь упирается в выстроенные обществом стены социальных различий. Не перелезть ту стену, не сломать. Можно лишь сесть рядом с ней и заплакать, вспоминая свое детство. Впрочем, разве это кому-то сегодня нужно. Найти через тридцать лет так и не забытую тобой девочку в другой уже, абсолютно чужой стране, это поступок. Вот только зачем ворошить прошлое... У меня тоже в Кишиневе была подружка. Ей тогда было шесть лет, мне на год больше. Мою звали Аурика. Молдаванка. Тоже жила в магале. В рассказе другая девочка — Валя. Аурику я не нашел. Впрочем, и не искал. Все смешал в моем уже взрослом сердце автор.

«Самое обыкновенное лицо. Надо запомнить, — подумала Ника и тут же забыла». Эта фраза из рассказа «Романс», пожалуй, могла бы стать эпиграфом к сборнику. Степнова удивительным образом подобрала образы. Все герои ее внешне невзрачны, серы и в определенном смысле безлики. «Рядовой толпообразующий элемент». Это Степнова об одном из своих героев, но так же можно сказать и о каждом. Простые люди, которых встречаем мы ежедневно на улице, в метро, в

Марина Степнова. Где-то под Гроссето: Рассказы. — М.: Изд-во АСТ; Редакция Елены Шубиной, 2016.

офисах, в магазинах. Загруженные по самую макушку собственными проблемами. И нет нам дела до таких людей. Потому как ничего нет замечательного в их жизни, не совершают они подвиги, не пишут о них в газетах, ничем люди эти не видны в жизни, существование их обыденно, банально и скучно. Людей таких миллионы. Живут они невидимой жизнью, словно и не желая жить, просто отбывают на земле отведенное им Богом время. И здравствует пусть тот автор, писатель тот, который нашел их, разглядел и показал всем — есть даже в самой банальной жизни красота, достоинство и место для поступка. Не для подвига — для поступка, которым можно гордиться, вспоминая до последних дней своих. Есть то, ради чего стоит брать в руки книгу и читать.

Пожалуй, самый сильный по эмоциональному восприятию рассказ Степновой «Дядя-цирк». Молодой парень, юрист-консульт («ежедневно, с понедельника по пятницу, с десяти до восемнадцати ноль-ноль»). Наезженная колея жизни, ноутбук, «торрент», «фейсбук», «одноклассники». Можно дожить до шестидесяти и выйти на пенсию, сесть у экрана телевизора, включить тысячную серию нестареющего сериала, налить стаканчик дешевого виски и убедиться в том, что ты так ничего и не сделал хорошего в своей жизни. А можно попытаться что-то изменить. Сделать первый маленький шаг и подарить кому-то счастье. Цирк! Помнишь, читатель, цирк? Нет, не когда ты взрослый уже и, зажимая нос от душащих тебя запахов конского навоза, ведешь пятилетнюю дочь на представление. А твой первый поход в цирк, в твоём детстве. Ты маленький, любимый родителями, такой ранимый, доверчивый. Запахи эти манили тебя, околдовывали. Ты ждал это воскресенье и папу. Папу, который всю неделю на работе, но сегодня выходной и вы вместе. Тигры в клетке, к ним входит дрессировщик, и замирает твое сердце... а вдруг... Смешной клоун. Такой нескладный. Ходят на задних лапах собачки в ожидании кусочка сахара. И акробаты. Где-то высоко. И невдомек тебе тогда, в счастливые советское время, что скоро — или нескоро вообще, лет через тридцать, сорок, изменится жизнь, и билет в цирк будет стоить три тысячи рублей, и кто-то,

такой же маленький, как ты тогда, будет мечтать о цирке, жить и мечтать... и хотеть... просто хотеть попасть туда, потому что, может быть, это и есть та последняя мечта, после которой других и не будет вовсе. И может быть, этот рассказ про тебя, никому неизвестного юристконсультанта со скромной своей зарплатой, который покупает билеты. Билеты в цирк. На последние деньги. Маленькой Настеньке. У которой рак мозга. Которой всего пять лет. И которую ты никогда не видел, так же как и ее маму. А еще маме цветы. Ей когда-нибудь дарили цветы? Цветы стоят дорого. А «Настенькина мама — чурка. Ну не чурка, конечно. Просто все так говорят». Не беда, что у Настеньки есть папа. Строитель. То ли узбек, то ли таджик. «Нас с последней работой обманули. Квартира большая, ремонта много, а деньги не заплатили, — разводит руками мама. — Кто знает, что будет завтра? А она в цирке не была ни разу». И возможно, эти подаренные три билета останутся самым ярким поступком человека — твоим поступком — и даже изменят жизнь навсегда. Потому что, если ты делаешь людям добро, оно возвращается тебе. Обязательно.

А помнишь, читатель, того кота? Встреченного тобою у подъезда, не кормленного тысячу лет, брошенного безжалостной рукой в чужой ему мир, в холод, дождь, одиночество затхлого подвала. Ты недоедал приготовленную мамой котлету, вылавливал из супа кусочки дефицитного тогда мяса, собирал в пакет косточки и ждал утро, перед уроками оставлял у забитого дворником оконца в подвал, маялся за партой полдня — не лезли в голову цифры, забывались заученные стихи, путались даты. И наградой для тебя — вечером — вылизанная до неразличимости букв газета и горячие два уголька зеленых глаз в темноте... И вот ты уже взрослый и живешь совсем в другой стране, где не бывает бездомных котов. «Покорми, пожалуйста, Гитлера», — пишет тебе записку любимая девушка перед отъездом. То есть, пишет она, конечно, герою одноименного рассказа — но как бы уже и тебе. А кот этот — «черная челка косо легла на квадратный лоб. Под носом — чернильное пятно усишек» — и не кот вовсе, а может быть, последняя нить между тобой и ею, последняя связь с брошен-

ной тобою страной. И ты, схватив упаковку сухого корма, бежишь среди пряничных ухоженных домиков немецких бюргеров, втаптывая собственную тоску в ровно подстриженную траву и кричишь на весь этот чужой для тебя мир: Гитлер, Гитлер! Разве этот мир может тебя понять?

Ты же не забыл, читатель, ту толстую, нескладную, в очках с заляпанными стеклами девочку из своего класса? Возможно, ее звали Света. Или Оля. Или бедная Антуанетточка, как в рассказе Степновой. Вы смеялись над ней, дразнили. С ней никто не дружил. Мальчики шаркались — некрасивая, девочки замолкали при ее появлении — тебе чего? Она так и просидела одна за своей партой все десять лет. К ней обычно подсаживали новеньких. Новенькие задерживались недолго, отплывали потом, освоившись, на другие парты. И невдомек было никому, как рвется она домой с уроков, чтобы усестись в любимое кресло с книгой в руках и погрузиться в мир, где царят любовь, отвага и доблесть. Степнова разыскала ее, эту девочку, вытащила из промятого за долгие годы кресла и показала тебе. А ты смутился от неожиданности, пробормотал под нос — привет, как дела? И не дождавшись ответа, убежал, бросив через плечо — еще увидимся. Вот только увидеться с ней у тебя больше не получится. Она умерла.

А эта женщина с коляской?.. Ей двадцать два или двадцать восемь, не важно, выглядит она гораздо старше. А вот у ребенка ее нет возраста. У него нет пола. У него нет жизни. Жизни в твоём понимании, читатель. Он там, внутри. «Там, внутри», в рассказе, в себе. Ребенок не умеет говорить, не может ходить. Возможно, что он не умеет слышать и даже видеть. И никогда не научится. Его жизнь стала другой в первый же день рождения. У него «ДЦП, симптоматическая эпилепсия, атрофия зрительного нерва, задержка психомоторного развития, задержка двигательного развития, задержка умственного развития, гидроцефальный синдром... И еще, и еще, и еще» много других болезней. Мы стыдливо отворачиваемся от этой измученной, брошенной мужем женщины, которая толкает вперед свою коляску. «Старт есть, силищи нужно немеряно, только финиша нет». Мы благодарим Бога,

что вся эта история не про нас и наших детей. Ее жизнь еще можно изменить, жизнь ее ребенка — нет. Только кому до этого есть дело?..

Степнова много пишет о детях. О неродившихся в «Романсе», о вымученных и оттого живущих в инвалидном кресле в «Там, внутри», об умерших в «Милой моей Тусе», о любимых в «Боярышнике», о нелюбимых в «Старой Суке». Не бывает плохих детей, грустит Степнова, бывают плохие родители. И вот впервые в жизни своей маленький, брошенный родителями мальчик, стоящий возле окна детского дома с найденным упавшим осенним кленовым листком в руке произносит слово «папа». За тысячу километров ты слышишь, как зовет он тебя, и понимаешь, что ты не одинок и нужен еще кому-то, и мысль эта меняет тебя, меняет твою жизнь, и черт с ним с Диккенсом и с этой никому не нужной, покрытой пылью веков наукой. Если есть дети, то ты должен жить ради них.

«Где-то под Гроссето» — не сборник рассказов. Это тринадцать писем читателям. Если ты счастлив в жизни своей, читатель, наверное, захлопнешь ты эту книгу после пары десятков страниц. Потому как книга не о счастливой «лакшери» жизни вовсе, не об удаче, не о сытости. Книга эта о людях, то ли брошенных судьбой, то ли просто ненужных никому. Одиночество героев Марины Степновой безгранично. У них нет шанса выйти из него. Они люди-невидимки, незаметные для окружающих. Они незаметно родились, незаметно живут, и смерть их тоже будет незаметной. У одного — в онкологическом отделении больницы, у другого под колесами автомобиля на пешеходном переходе, у третьего в твоей памяти, читатель. «Сюда не пройдет гроб, — заявляет агенту по подбору недвижимости клиентка в рассказе «Где-то под Гроссето». — Мой гроб». В свои тридцать с небольшим она ищет дом, в котором будет умирать. «Зонта у меня нет. У меня вообще ничего нет. А скоро и этого не будет», — грустит герой рассказа «Письма Диккенсу». Это он про себя. И про всех других героев сборника рассказов Марины Степновой. Они идут по жизни своей без зонта, одинокие и незащищенные ничем и никем. У них ничего нет. Даже жизни. И скоро и ее не будет.

«Свобода рвется изнутри» — это полная внутреннего содержания строка, отражающая представление поэта о том, как в этой жизни человек обретает свободу. Не только в борьбе с окружающими обстоятельствами, но и в борьбе с самим собой, в преодолении внутренних противоречий, терзающих ум и душу человека! Как писал Леонович в одном из своих стихотворений: «Не видел я, как женщина рождает, но как мужчина правду говорит, я видел...»

И уж если зашла речь о свободе, о ее непростом обретении, то еще один пример встает перед глазами Владимира Леоновича. Это грузинский поэт Галактион Табидзе. В спецвыпуске «Записок из России», посвященном Леоновичу, об этом тоже сказано.

Леонович смолodu стал известен — задолго до выхода первой своей книги и, пожалуй, до журнальных публикаций своих стихов — как переводчик грузинской поэзии. Был период, когда о его переводах много и беспощадно спорили, одни — пламенно восхищаясь, другие — яростно возмущаясь. Спорили так называемые сторонники буквального перевода, для которых идеалом служило полное лексическое совпадение оригинала и переводного текста. В них метали свои инвективы и те, кто настаивал на достаточно свободном текстовом воплощении авторской идеи, ожидая от перевода прежде всего художественного качества, поэзии.

Думается, и сегодня этот спор не завершен, но грузинский контекст в творчестве поэта стал неотъемлемой составной частью поэтического образа Владимира Леоновича.

И в этом грузинском контексте — в переводах, в стихах о Грузии — ясно прочитывается особое отношение Леоновича к поэзии и человеческой личности Галактиона Табидзе.

Чей стыд ты испустил, старик, —
и — в небо?
Семь лет перевожу твой крик:
— Тависуплеба!

Грузинское «тависуплеба» переводится именно так: свобода! Так же переводится

греческое слово «элефтерия», оно тоже прозвучало в стихах Леоновича. Элефтерия, тависуплеба, свобода! Это — словосочетание к пониманию гражданской позиции поэта, к его личности, к его творчеству. Прочитанные строки из стихотворения, посвященного Табидзе, поддерживают версию добровольного ухода грузинского поэта, объяснявшую, почему бросился Галактион в лестничный пролет. Речь об уходе от жизненной скверны, о протесте Галактиона против системы, о его решимости хоть таким образом отстаивать свои честь и достоинство.

По-своему от житейской скверны ушел и Леонович:

...Я жил на задворках, покуда гремели застолья,
где славили — ныне поносят — эпоху застоя.

Поэт быстро почувствовал острую фальшь времени. Желанные перемены запахли всем, что всплыло со дна на поверхность житейского моря. Презрение к человеку, безнравственность анархии, выдающей себя за демократию, пошлость стремительного обогащения — ему это все было противно не меньше, чем фальшь, пошлость и бесчеловечность прежней системы. Приветствовать реванш прежней номенклатуры и ее выкормышей Леонович не желал.

Он стремился жить жизнью народа, как уже было сказано, жить физическим трудом — шел ли разговор о восстановлении старинной часовни, о работе на своем участке, на стройке, везде, где могла понадобиться крепкая мужская рука! Приходилось и учительствовать в отдаленной сельской школе, и вести литературное объединение... Но всюду и всегда Леонович сохранял в себе уважение к тому, кого принято называть простым человеком.

Вспоминаю давний эпизод: в Центральном доме литераторов — заседание секции поэтов с участием группы известных критиков. Один из мэтров, представляя своего молодого и очевидно одаренного ученика, подчеркивает, что он пишет настоящие, являющиеся фактом поэзии — не пустопорожние, халтурные — «производственные стихи», чего, увы, никто из современных поэтов не делает. Одновременно

менно поворачиваемся с сидящим рядом Володей друг к другу и в унисон почти вскрикиваем: «А Леонович?!» Зная характер моего старшего товарища, его скромность, понимаю, что это крик души! Леонович писал стихи, которые можно было отнести к этому жанру, которые отражали его, поэта, искреннее любование человеком труда, и эти стихи не имели никакого отношения к демагогии и спекуляции официозных сочинителей. В таких стихах фактом поэзии становился человек как личность, его характер, поступки, живая речь.

И боль тех, кто, несмотря на честный труд, живет небогато, скромно, с трудом поднимает детей, звучит в поэзии Владимира Леоновича ведущей нотой. Тем более когда речь идет о трагедии инвалидов, о людях, защищавших страну в Отечественной войне:

...Что скажешь, лейтенантик руконогий,
обрубок безнадежно одинокий,
все растерявший, даже самый страх,
митинговавший возле винных стоек,
покуда спал Господь и врал историк,
ты, в одночасье втоптаный во прах?..

И амба! С добрым утром, милый город...
Но шарикоподшипниковый грохот
не глохнет над базарной мостовой,
еще смягченной грязью и навозцем.
Перед калекою-орденоносцем —
мальчишка — я — на площади Сенной.

Это так характерно для Леоновича — нести в себе боль, понимание, сочувствие и щемящую душу, проникновенную любовь:

Я рисовал нехитрую картинку.
День вечерел, был холоден и сер.
Старушку в чёрном, словно паутинку,
пронёс осенний ветер через сквер —

нагую душу в лёгкой оболочке —
и лишь оставил у меня в зрачках
косые ножки, детские чулочки
да туфельки на толстых каблуках.

Леоновича следует характеризовать, как поэта-заступника за народ, поэта, который полон гнева на тех, кто бесчеловечен в отношении народа. Народа, который он любил, которым был сам, народа, кото-

рым мог и просто полюбоваться, порадоваться этой неумности бесшабашного характера. В давнем стихотворении о мужике-сердечнике, идущем из банной раздевалки в парную, откровенно любитесь рискованым ветераном, который хорошо понимает, что может хватить его удар:

Так как это, пожалуй, что близко,
оставляет — в случае чего —
он у банщика ключ и записку,
где фамилия, адрес его.

Проникнуться народным бытом, раствориться в нем — по Леоновичу — значит не умиляться, сидя в уютном кабинете, а жить этой жизнью! Как это было, когда они, в пору его еще московского пребывания, наезжали с другом-поэтом Яном Гольцманом на Пелус-озеро, наезжали на долгие месяцы, бродя по Карелии, чиня перекрытия церквушек, восстанавливая памятники, живя крестьянской жизнью, кормясь рыбалкой, охотой.

Природу Леонович любил, понимал ее как некое живое существо, воспринимал в качестве нравственной основы жизни. Высокогорную Сванетию и Пшавские ущелья истоптал пешком. Но, само собой разумеется, с особенным чувством приближал к русской природе.

Еловый бор неколебимо
стоял и слушал — и одно
я повторял: мне — всё — любимо,
мне всё любимо, всё — равно

любимо... Благорастворенье —
проклятье верное моё...
И в чашу вновь вошёл я тенью
и светом вышел из неё.

Воспринимать живую природу как нравственную основу бытия предлагал немногословно, обращая в свою «веру» посещавших его друзей и коллег.

Не мое это дело — судить, почему разошлись их с Яном пути, но ощущение, что тоска по старой дружбе не оставляла обоих, возникало. И тут Володя остался верен себе — написал стихи, посвященные Яну, озаглавив их так: «Непрочтенные стихи». Возможно, полагал, что Ян

прочтет их как завешание, а судьба распорядилась иначе. Это лишь моя версия, ибо ни с Володей, ни с Яном никогда на эту тему не заговаривал. Но мне кажется, что и в этом обращении к другу Леонович преодолел себя:

...Не сойдутся слово с делом:
то мешает, то претит...
Над прогалом поседелым
мёртвый тетерев летит.

Почернелую дробинку
вынимаешь из груди...
Посади — по мне — рябинку,
лиственницу посади...

Леонович не был святым, не был ангелом, греховностью своей тяготился, стремясь все-таки жить по совести. Самосовершенствование было его повседневным состоянием. Успешно ли, нет ли шел в нем этот процесс, ему же было виднее, чем окружающим. В каком-то смысле и народ — в красоте ли своей, в своем ли безобразии — воспринимался Леоновичем как живая природа со своим нравственным законом. Ему важно было всякому делу — печь сложить, стихи создать... — отдаться без остатка. Он всегда видел цель — достижение истины, полноты смысла и звука.

Дойти до сути, до осуществления высокого замысла:

Всё я хочу написать
стихотворенье без слов,
стихотворенье-мотив,
самой прекрасной ценой оплатив
исчезновение слов.

Стихотворение-лес,
где шелестенье древес,
отдохновение-очес
от опорных стволов.

Кроны — или облака?
Освобождение от линий, углов,
красок мазка...
Без языка
музыка —
стихотворенье без слов.

Слышу его голос, слышу, как он эту густо аллитерированную строку (зка, зка, зка) читает — с паузами — сдвигая ритм и рифму — с полной творческой свободой: красок мазка.../ Без языка/ му-зы-ка...

Голос поэта, знающего цену слова, красоту звука, любящего народное слово, песню.

Вон там, во мгле ночной реки с редкими проблесками света отраженных звезд, в лодке, поет красивым, молодым, громким голосом народную песню! Кто это? Это поэт Владимир Леонович поет в фильме, который снял в качестве режиссера Евгений Евтушенко.

И еще. Личное. Но не про себя же. Леонович умел быть другом. Лет этак сорок назад случился у меня трудный период жизни, на фоне внешне неплохом — вышла первая книжка стихов. А жизнь, тем не менее, повернулась темной стороной. И в эти грустноватые дни в одном из номеров журнала «Литературная Грузия» я вдруг наткнулся на теплую рецензию Леоновича на мою книжку. Это был очень своевременный жест поддержки. А потом он подарил мне свою первую книгу «Во имя» с автографом: «Даня, будем живы!». Думаю, многие из друзей поэта помнят эту его любимую фразу.

Сегодня я хочу сказать: Здравствуй, дорогой! Ты здесь. Живой. Потому что жива твоя поэзия!

Будем живы, Володя!

Мария Бушуева

Счастливое совпадение

О прозе Рады Полищук писать сложно именно потому, что она пишет очень просто. Она вроде бы рассказывает житейские истории, чаще от лица автора, но порой и от лица персонажа, обычно женщины. И эти рассказы почти всегда охватывают не какой-то отдельный эпизод из жизни героини и героя, но всю их жизнь, от рождения до смерти, жизнь мимолетную и одновременно вечную, потому что сквозь ткань показанных автором страстей и событий прорастают родовые корни, просвечивая, если поднести жизнь к лампе и посмотреть на свет, всеми своими переплетениями и обрубленными концами. Рада Полищук, в сущности, этим и занимается: она подносит чью-то жизнь к лампе и смотрит на нее, иногда со слезами на глазах. Ведь это не безжалостный рентген писателя-аналитика, а сочувствующий взгляд человека, равного своим героям по двум главным параметрам: отношению к жизни как к великому нераскрытому подарку и отношению к любви как к главной и, пожалуй, единственной ценности, внутри подарка оказавшейся. Или — что у Рады Полищук чаще — не оказавшейся. И когда открытая коробка, куда с надеждой заглядывали чьи-то сначала детские, а потом взрослые глаза, оказывается пустой — это вполне может послужить поводом для трагедии отсутствия любви или толчком к драме постоянного ее ожидания.

Однако и трагедия отсутствия, и драма ожидания в общем-то вполне традиционные сюжеты в женской прозе, но Рада Полищук, хранящая верность традициям во всех смыслах — то есть и родовым,

и литературным, — вносит в привычные сюжеты свое, и это свое у нее — не новые литературные приемы или неожиданные метафоры (писательница далека от любых формальных изысков), а тот эмоциональный предел, на волне которого рассказы написаны, та проволока обнаженных чувств, по которой проходит писательница, ведя за собой за руку всех своих любимых героев. Но не менее значительной, чем драма ожидания или трагедия отсутствия, оказывается и по-чеховски глубокая неожиданная ретроспекция — запоздалое понимание драмы отсутствия (рассказ «Осенние дожди»), когда вдруг осознается: то, что казалось прекрасным подарком, всего лишь мираж, самовнушение, главного подарка в жизни не было вовсе, а значит, жизнь пуста, она просто не состоялась. Такое возвращение к началу, наверное, одна из самых сильных сторон рассказов Рады Полищук — кинофильм жизни начинает раскручиваться в обратную сторону («Муся, Мусечка»), когда сценарий уже не переписать, фильм давно отснят и главные персонажи его ушли в небытие.

И книга «Житейские истории» с подзаголовком «Из старых тетрадей» на самом деле — та же излюбленная автором ретроспекция, иногда с попыткой что-то привнести в нее из нынешней точки отсчета («Море по колено»), но чаще бережно охраняемая как особая ценность авторского взгляда на мир, который и становится понятен, только если глядеть на него и ценить происходящее ретроспективно. И в этом плане показательными окажутся рассказы «Тайна старой тети Фани», «Сарушка», «Ветер северный, умеренный», «Ах, Одесса...», как бы предваряющие самые известные и, на мой взгляд, самые

Рада Полищук. Житейские истории: Из старых тетрадей. — М.: Изд-во «Текст», 2015.

лучшие книги Рады Полищук: «Одесские рассказы, или Путаная азбука памяти», «Лапсердак из лоскутов» и «Семья, семья, мишпуха. По следам молитвы деда», в которых писательница не просто предстала как «почвенник»-летописец родовой истории, пересказанной по чьим-то воспоминаниям, но как свидетель, озаренный генетической памятью — той тайной лампой, которая достается не каждому, а только избранному, и это избранничество — итог каких-то невидимых, подземных родовых течений. Возможно, причиной того, что выбор пал именно на Раду Полищук, послужило счастливое совпадение (в книге есть и рассказ с таким названием) — соединение писательского дара и человечности, что не так часто случается, смею заверить.

А Рада Полищук именно что очень человечный писатель. Она не возвышается над героями, не рассматривает их в микроскоп, она стоит с ними рядом, обнимая их, жалея их, сочувствуя им — и любя их всех. Они все для нее равно хороши. И если кто-то поступает как подлец, совершает нечто безнравственное, писательница видит в этом не зло, а ущербность души, следствие детской раны, а чаще — именно той трагедии отсутствия любви, которая у многих ее героев — главная пьеса жизни, пусть порой со смятым, торопливым эпилогом, в котором откуда-то все-таки появляется подарок — последняя вспышка любви, никого уже не спасающая. Правда, опять же подчиняясь своей человечности, писательница даже утопающим в пустоте кидает спасательный круг надежды: трогательный, забавный и грустный рассказ «Три крем-брюле» очень характерен для второй линии житейских историй Рады Полищук — рассказов, в которых главным героем оказывается сама любовь. Писательница не ставит задачу проникнуть дальше житейского сюжета — она верит в любовь, как верят ее герои, у которых кощунственная мысль Льва Толстого, что и сама любовь всего лишь вера, вызвала бы яростный протест, потому что читательницы и почитательницы знают: писательница говорит за них их

голосами, она оживляет их жизни, разворачивая их в сторону начала и проживая их вместе с ними вновь. Она превращает обычную жизнь обычного человека в судьбу, то есть одухотворяет ее дыханием вечного — и в этом сила ее простых житейских историй.

Ведь Рада Полищук и сама в судьбу верит, сама не может объяснить странную череду событий или драм ничем иным, кроме воли судьбы или воли самого Творца. То есть, по сути, она сразу выбирает скромную роль — не создателя судеб, а только рассказчика, которому по силам всего лишь описать проекцию этой непостижимой воли Творца, проекцию, которая и есть для Рады Полищук — судьба. В этом плане очень показателен рассказ «Сарушка» о красивой, изящной девушке, которая осталась старой девой, потому что первый ее жених перед свадьбой умер, второй погиб, а третий просто сбежал от страха. Писательница не заглядывает в подсознание, не ищет никаких реальных причин происшедших трагедий. Она становится на точку зрения самой героини, которая раз и навсегда отказалась от попыток выйти замуж, сказав: «Больше никогда, на то, видно, есть воля Божия». Воля Божья существует для Рады Полищук на все: на рождение, на любовь, на продолжение рода, на смерть. И писательница глубоко убеждена: то, что человек получает при рождении, уже изменить не удастся — если суждена любовь без детей, то будет только так, если суждено одиночество в старости — этого не избежать. Тема старости мучает писательницу — ведь это болезни, ведь это потери близких (пожалуй, никто из профессиональных писателей так щемяще и пронзительно как Рада Полищук, не выразил боль от потери любящих родителей), но тема старости ее и очень влечет: ведь это мудрость, ведь это край обрыва, за которым то неизведанное, откуда поступают к писательнице световые сигналы генетической памяти. И третья линия рассказов Рады Полищук — о стариках. Эта линия переплетается с уже отмеченными двумя, и даже порой все три соединяются в один рассказ, но не выде-

лить ее нельзя — она очень важна как с точки зрения выявления писательского мастерства, так и с точки зрения той самой человечности, которой так наделена писательница.

Вот рассказ «Ничья бабушка», в котором девушка, почти девочка, устраивается в больницу нянечкой, чтобы ухаживать за своей любимой бабушкой. Бабушка лежит в палате с одинокой старушкой, начавшей относиться к девушке как к своей внучке, но «внучка» после смерти своей родной бабушки на достаточно долгое время исчезает из ее жизни (хотя потом и винит себя за это), и старушка, попав в дом престарелых, забывает ее — вычеркивая из своей души навсегда. Или добрая, считающаяся блаженной, Фаня («Тайна старой тети Фани»), сохранив-

шая свою великую доброту, несмотря на все удары судьбы. Или старик-отец из рассказа «Прощальная симфония», с которым всю жизнь воевала дочь, не простив ему ухода из семьи, но приняла его в дом обратно уже больным и старым и, внезапно освободившись от вечного негативизма, стала любящей, заботливой и даже счастливой...

Старость последняя, еще видимая станция, за ней — туман. И Рада Полищук, провожая в этот туман каждого своего героя, всегда плачет. И от ее слез расходятся круги жизней по ее книгам, как круги на воде, но не исчезают, не растворяются, а застывают, и писательница собирает бережно и складывает эти круги вместе — один к одному, один к одному...

Екатерина Ратникова

Поэзия паломничества

Этот сборник недаром называется «Время вербы» — он проникнут ощущением вербного праздника, Входа Господня в Иерусалим. В этом чувстве есть все: и радость, и понимание необходимости страдания в мире, и сила это страдание преодолеть. Сразу оговорюсь: не идет речи о проповеди, попытке чему-то научить читателя. Просто книга настолько пропитана духом веры (что, в общем-то, даже в некоторой степени неожиданно, несмотря на православные мотивы в предыдущем сборнике автора), что читатель учится у нее сам — чуткости, умению видеть и понимать мир глубже и чище. В христианскую религиозность вплетаются и языческие, и мифологические мотивы («Пришествие Чура», «Макоши-

нополетье»). Это не отход от основной линии, а столь привычный нам синтез народных поверий с христианством, никогда не ставшим для русского человека догматически устоявшимся и неизменным. И это, кстати, также одна из особенностей творческой манеры Александра Орлова — объединять в своих стихах самые разные явления и темы.

Что описывает поэт? В первой части книги — современную Москву. В которой постоянно происходит слияние времен, единичных чувств и всеобщей жизни, а также, для верующего человека, проживание евангельской истории здесь и сейчас, в прошлом, настоящем и будущем.

Не помня ледящего ущерба,
И как враждует сивая пурга,
Взирая на кармазы снега,
Цветёт у Новодевичьего верба.

Александр Орлов. Время вербы. — М.: Вест-Консалтинг, 2015.

С молитвами торговые старухи
На рынках, у метро, на площадях
Соцветьем белым изгоняют страх,
И от гордыни вымирают духи.

Я видел, стоя от людей в сторонке,
У храма, возле самого крыльца,
Как оживил могучего слепца
Заезжий плотник, сидя на ослёнке.

При этом хорошо видно (впрочем, как и по первым книгам Александра Орлова), что автор и его лирический герой знает, помнит и любит Москву советскую — острое чувство недавнего прошлого роднит его голос с голосами многих поэтов, воспевавших столицу СССР. Но ведь столица эта прочно связана со своей историей всех веков — и мы, путешествуя вместе с героем, чувствуем даже в отдельном стихотворении, например, что Кремль — древний, святой, намоленный, не даром современные елки богомольно зазывают всех «в радостную ширь» многовековых стен. И сквозь XX век протекает чувство религиозное:

И воскресенье вечно не пройдет —
Казалось мне — напротив мавзолея.

Составление книги стихов из двух разных частей — не первый подобный опыт для автора: по такому же принципу составлен первый его сборник «Московский кочевник».

Здесь же, читая вторую часть, погружаешься в атмосферу Поморья, его природы и — как и в первой части-подборке — многовековой истории.

В чёрном камне я вижу незнакомые лица,
В нём томятся ветра обожжённых эпох,
В нём предательство, смерть, и отвага пылится,
Чёрный камень ко всем посетителям строг.

Сотни лет он лежал в ожерелье часовен,
Словно тучей навечно забытый колтун,
Размышляя о мире возле брошенных бревён,
Он для синего неба дикий лебедь-кликун.

Если встретишь в ночи взгляд калеки-поморца,
Не стесняйся, в глаза ему смело смотри,
Ты увидишь в зрачках два бездушных озёрца:
Чёрный камень и крест в багрянице зари.

Настроение этих стихов — паломническое путешествие, разумеется, более обширное, чем по Москве, грустное и восторженное чувство обостренного знания и зрения, проходящего мимо тех мест, которые тоже уже родные, тоже памятные, но никак не могущие стать физической малой Родиной и поэтому понятливо отпускающие путника дальше и дальше — по праву родства и неродства. Так путник оставляет самое главное для себя — внутри, в сердце, а потом дарит его читателю.

Отдельная радость — словарное богатство стиха Александра Орлова, чувство припоминания и узнавания слов (что уже отмечалось в критике в связи с предыдущей книгой поэта «Белоснежная пряжа»). В новой книге много слов старинных, думается, не всегда сразу понятных всем читателям «Времени вербы». Но это сочетание разных по возрасту и тематике пластов языка и той неподражаемой звукописи, которая им присуща, несомненно питает и обогащает его стихи.

Невыразимо жаль, что большинством современных авторов умение пользоваться разными «уровнями» постоянно меняющегося языка напрочь забыто. С другой стороны, расширение словаря поэзии, так же как и узкая его концентрация в какой-то одной области, довольно резко очерчивает круг возможных читателей — ведь для восприятия таких стихов нужно понимать их, то есть особенно всерьёз вдумываться. И это хорошо. Вспоминать знакомое или узнавать незнакомое, чувствовать голос и значение слова, его оттенки. Александр Орлов не новатор в области стихотворной формы. Но стихи его наделены силой памяти всех перипетий русской истории от самого начала до современности, а также умением передавать эту память своим современникам, эти стихи читающим. В этом еще одна особенность, а также большое достоинство его поэзии, в которой каждое слово «работает» на образ (например, образ облачного каптыря над Спасской башней или листьев-крымчаков). В одной книге творческой волей ее автора сплетаются древние поверья и исторические факты, язычество и христианство — и соединяются прошлое и настоящее.

Вадим Дьяковецкий

Не стоит земля без праведника...

Не знаю, был ли Илья Габай (1935—1973) праведником. Но что это был человек беспокойной, «незабронированной» (его слово) совести — тут сомнения нет. Именно люди с таким пониженным болевым порогом, не способные оставаться в стороне от творящейся несправедливости, в какую-то минуту встают на путь подвижничества. Чтобы быть в согласии с собственной совестью, им необходимо жить по душе, а значит, по правде. Неслучайно любимым персонажем Габая, по свидетельству его друга, автора предисловия и составителя этой замечательной книги Марка Харитонova, был Дон Кихот. Потому и не удивительно, что Габай в середине шестидесятых годов прошлого века начинает заниматься правозащитной деятельностью.

В книге опубликовано его яркое и во многом до сих пор не утратившее своей актуальности последнее слово на суде в январе 1970 года. Обвиненный в клевете за то, что «открыто поставил свою подпись под документами», в которых выражался протест против намечающегося оправдания сталинизма и других мракобесных поветрий, в ней он более чем внятно объяснил, почему это сделал. Реабилитацию имени Сталина под видом его объективной оценки Габай справедливо назвал реабилитацией изуверства и несвободы, оправданием человеческих жертвоприношений и душегубства. Близко к сердцу он принимал огульные обвинения в адрес крымских татар, вторжение советских войск в Чехословакию, попираание свободы слова, преследование инакомыслящих.

Илья Габай: Письма из заключения (1970—1972) / Сост., вступ. ст. и комментарии М. Харитонova. — М.: Новое литературное обозрение, 2015.

Он протестовал против этого и не собирался отступать от своих убеждений.

В лагере он много думал о своем выборе. У него была семья, подрастал маленький сын, и то, что он оказался отлученным от родных людей, рождало в нем чувство вины. Объясняя невозможность поступать по-другому, он писал, что не искал Голгофу, а просто пытался оставаться самим собой. Он осознает свой максимализм и «склонность к конечным выводам», но ни от чего не отрекается. В то же время он пишет: «А вот о чем я не жалею, но и не горжусь особенно, — так это что закружился и докружился до нынешнего своего местожительства: такой уж листочек своего времени, круга, житейских побуждений. Жалею только, что действительно в этом кружении упустил многие ценности, но и наоборот было бы, поди, тоже не без потерь. Еще и то, что в этом кружении как-то не хватало иногда места для подлинной сердечности или хотя бы для удержания старых привязанностей...»

Он не только не героизирует своего поведения, но, напротив, говорит об этом с легким оттенком иронии, лишает какого бы то ни было пафоса, акцент же делает совсем на другом — на «простых ценностях», которые теперь, в лагере, представляются ему не менее важными, и сокрушается, что не уделял им должного внимания.

Находясь в лагере, он стремится сохранить, сберечь тот круг общения, который был у него до заключения, один из главных, если не главный лейтмотив его переписки — это культ дружбы, товарищеская близость, разговор по душам, взаимопомощь. Он волнуется, что могут ослабнуть, распасться прежние связи, он упрекает оставшихся на воле друзей, если

чувствует, что тех разносит в разные стороны, что редко видятся и мало что друг про друга знают. Он размышляет об отношениях между людьми, о добросердечности и открытости в противовес «неинтеллигентному фанатизму», максимализму и радикализму.

«Свинство какое-то, что обо всех вас по отдельности я не думаю так часто и настолько глубоко, как вы этого заслуживаете, — пишет Габай. — Обстоятельства меня все-таки как-то оправдывают, а еще я думаю, что в чем-то я, пожалуй, изменился: приеду — и стану ценить простые радости, а о не простых — о дружествах — и говорить нечего ...»

О чем Габай почти не пишет или пишет очень кратко в своих посланиях, так это о лагерном быте, как будто вокруг нет блатных разборок, начальственных окриков и прочих лагерных мерзостей. И не потому только не пишет, что опасается цензуры (хотя наверняка и это тоже), но и потому, что не хочет жалеть себя, опасается распустить и тем самым стать заложником мучительной для его тонкой, нервной натуры жестокой реальности. Разве что туманным намеком прозвучат слова: «Твое письмо пришло очень кстати сегодня, потому что я в последние дни в совершенной подавленности. На это есть причины — юмористические, когда все это станет воспоминанием о прошлом, но очень существенные, совершенно выбивающие из колеи — меня с моими нервишками и нестойкостью особенно». Ему не раз бывает «тошненько», но не это, подчеркнем еще раз, предмет его переписки с друзьями.

Главная тема — культура: литература в первую очередь, кино, живопись... Габай постоянно просит присылать ему произведения, которые волновали в те годы общество. Он получает и прочитывает центральные толстые литературные журналы — «Новый мир», «Иностранную литературу». Список книг, полученных им от друзей в лагере, поражает. Все это — воздух, который насущно необходим ему, без него он начинает задыхаться, ощущает себя потерянным. В письмах разговор идет о литературных событиях тех лет, о произведениях Томаса Манна, Макса Фриша, Генриха Белля, Федора Досто-

евского, Александра Солженицына, Юрия Трифонова, Вениамина Каверина, Александра Твардовского, других писателей... Он обсуждает их с друзьями, высказывает меткие критические замечания.

Его интересует не только художественная словесность, но и отечественная история, особенно в том ее изводе, какой близко касается его лично. «За время нашего — не краткого — перерыва в письмах я был погружен в чтение документов и книг о народовольцах, декабристах, провокаторах, жертвах, палачах, следователях и пр. Это такая пронзительная, такая скорбная и перепутанная вещь — история русской интеллигенции» — точнее, пожалуй, и не скажешь.

Он словно опасается оторваться от современной интеллектуальной жизни, отстать, выпасть. «...Многое я пропустил и пропущу за эти годы; как хочешь, но это обедняет», — делится он и почти лихорадочно наверстывает, наверстывает, наверстывает, урывая часы от сна для чтения, писем и собственного творчества (поэма «Выбранные места» вошла в этот сборник, став его вполне органичной частью).

При чтении писем Габая создается впечатление, что они обращены не только к друзьям, но и к тебе, сегодняшнему их читателю, настолько они искренни, сердечны и по-прежнему современны — как свидетельство неустанной внутренней работы человека над собой. Отдельно нужно отметить высокую культуру этого эпистолярия, как бы перекидывающего мостик из второй половины XX века к веку XIX (вспомним хотя бы переписку Чехова). Даже затрагиваемое в письмах как бы мимоходом, намеком, приправленное юмором или грустью, оставляет ощущение внушительного затекстового пространства, которое присуще только очень качественной прозе.

Вместе с тем не оставляет мысль о трагизме судьбы этого незаурядного, цельного и чистого человека, которому, несмотря на все усилия, не удалось выстоять в поединке с бездушной государственной машиной, так и не выпустившей его из своих тисков (новые допросы, угрозы и т.д.). Илья Габай покончил с собой в 1973 году, вскоре после освобождения. Еще одна жертва, пополнившая и без того гигантский российский мартиролог XX века.

Дружба на вырост

ИЗ ПОЧТЫ «ДН»

«Перелистываю журнал, всё нравится...»

Посвященный детям и детскому чтению специальный номер журнала «Дружба на вырост» (2015, № 11) вызвал особый читательский интерес. Мы публикуем один из многочисленных откликов — от нашей постоянной читательницы из г. Усть-Каменогорск (Казахстан).

Здравствуйте, уважаемая редакция!

Ваш ноябрьский номер до нас дошел в январе. Спасибо за доставленное удовольствие и радость по поводу содержания.

Очень понравился первый раздел — «Только детские книги читать»...

Не согласна с А.Архангельским, оскорбившим «какого-то жалкого Васька Трубачева». (А если ты живешь далеко от Москвы, в селе нет библиотеки, книжного магазина? Своих читателей эта книга испортить не могла, а научиться у героев можно было многому.) И с А.Хургиным, которого не впечатлил «какой-то "Тимур и его команда"».

Очень понравился ответ В.Березина, сначала удивилась, а потом обрадовалась и согласилась.

Замечательный ответ В.Муратханова. На самом деле, у государства было русское лицо. И как же его обрадовал Колобок с лицом молодого киргиза, который катился не по лесу, а по желтой степи. Через многие годы пронес поэт детское чувство радости.

Родители часто не знают, как увлечь ребенка чтением, и ответ А.Снегирёва хорошая подсказка.

Замечательно, что у нас есть Золотой фонд детской литературы — К.Чуковский, Н.Носов, С.Маршак, В.Драгунский.

Так удачно в номер помещен Д.Шеваров со своим книжным мальчиком. Как раз для чтения с детьми.

Перелистываю журнал, все нравится: и стихи, и сказки, и призыв В.Ермакова «Люди! друг без друга нам не быть людьми...»

Удивительную страну открыл А.Цирульников. Что мы знали о Калмыкии? В лучшем случае — Давид Кугультинов. Как хорошо, что есть продолжение!

Уважаемая редакция! Низкий вам поклон, что вы этот проект придумали. Пишете: что у нас получилось? Получилось замечательно. Не знаю, как вы будете подводить итоги эксперимента, но, пожалуйста, всё продолжите в следующем году.

А я, взяв журнал ваш, иду читать внуку (ему уже восемь лет) многое...

С уважением и надеждой,

Галина Фёдоровна МОСКОШЕНКО

P.S. Журнал ваш читаю давно, он мне очень нравится.

Джохар Дудаев: трагедия в трех актах

Рубрику ведет Лев Аннинский

Акт первый — появление на свет. В 1944 году. В том самом проклятом чеченцами году, когда решением Сталина горцев-мусульман выселили с родного Кавказа в Среднюю Азию и Казахстан. В ссылку.

За что?

Советское объяснение: за сочувствие и помощь гитлеровским захватчикам.

Было ли такое сочувствие?

Темный вопрос. Может, и было — в ответ на наши обвинения. Да и помощь немцам — если была, то не вследствие какой-то изначальной к ним приверженности, а потому, что немцы ее провоцировали стратегически — упирая на мусульманскую веру.

Мусульман мы в 1944 году и приговорили. Рассекли народы. Карачаевцев и балкарцев — в ссылку. А черкесов и кабардинцев не тронули — православные! Чеченцев и ингушей — в ссылку, всех, безоговорочно.

Едва успевший родиться в родных горах, Джохар Дудаев вырастает в «павлодарской глуши».

По возвращении в родные места обнаруживаются психологические шрамы.

Вот впечатления диагноста:

«Он никогда не жил в республике, не имел там корней, не знал нашего языка и культуры. Вся его жизнь прошла в гарнизонах. Он даже не умел толком по-чеченски говорить. Никакого отношения не имел к исламу. Типичный советский генерал. Но для кавказского менталитета генерал — это нечто».

Это *нечто* не только не помешало, но даже помогло дослужиться до генерал-лейтенанта Советской Армии. Пришлось, правда в какой-то момент написать в анкете: «национальность — осетин», иначе не взяли бы в Академию Генштаба. Сошло — взяли.

Насчет ислама тоже не без казусов: уже став вождем независимой Ичкерии, напомнил соотчикам, чтобы не забывали молиться три раза в день. Кто-то шепотом поправил: не три, а пять раз в день. Нашелся мгновенно: «Молитесь пять раз, хоть чем-нибудь будете заняты».

Так кто же он? Чеченец? Мусульманин? Ни в том, ни в другом — ни следа мелочности или крохоборства.

Чеченец, которого лишили родины, — вот кто он, Джохар Дудаев. Это и определило окончательный выбор пути. Вернуть родину! Душа потребовала возмездия!

С чем это разительно перекликается — так с признанием российского генерала Лебеда, что тот воюет против Ичкерии «не столько за целостность территории, сколько за целостность российской души».

Вот это точнее всего: и с той, и с этой стороны — *боль души*, уязвленной развалом страны, унижением народа. Чеченского с одной стороны, российского — с другой. Такая война для обеих душ священна. Какое тут может быть примирение?!

Джохар Дудаев, генерал-лейтенант Советской Армии, меняет фронт и возглавляет отделившуюся от Советского Союза Ичкерия.

Он воюет против России из принципа — без надежды на победу. На все пять лет войны оскорбленному сердцу хватает ярости. Вплоть до финала. То есть до гибели. От наших рук.

Финал — это окончательный отказ России от договора с отделившейся Чечней. И приговор Дудаеву, вынесенный в Москве.

Найти его оказалось непросто. Города были потеряны: ставку он дислоцировал в малонаселенных местах. Выследили, вычислили по номеру мобильного телефона. О нависшей атаке Дудаев не подозревал. Жену Аллу отослал в близкий овраг — чтобы содержание телефонного разговора не действовало ей на нервы. Отослал — и тем спас от гибели.

В жизни ее мужа, обреченного Джохара Дудаева, это финальная точка.

Сопрягая начало и конец его трагедии, обращаюсь теперь ко второй, поворотной точке его судьбы — к тому моменту 1991 года, когда он повернул эту судьбу на 180 градусов и — фактически — объявил от имени своей новообретенной Чечни войну России.

— Да здравствует развал империи! — прозвучал призыв.

Той самой империи, в армии которой он стал генералом и даже успел отбомбиться по вражескому Афганистану.

И вот сменил фронт.

Что это: измена присяге?

Нет, все тоньше и острее.

Я опираюсь в этих заметках на повесть, которую опубликовала «Нева», один из самых интересных литературных журналов нынешней России.

Автор — Евгений Лукин — поэт, прозаик, эссеист и переводчик, тоже успевший послужить в армии и — что важно — повоевать на Кавказе...

Чего можно было ожидать от биографа чеченского лидера? Если оставаться во власти идеологических стереотипов — в зависимости от ортодоксального или либерального прицела, — то отнести к нему или как к предателю России, или как к герою, выступившему за свободу от такого государства.

Так вот: ни к тому, ни к этому заушанию Евгений Лукин не причастен. Биографию своего героя он пишет с подчеркнутой, выверенной, безупречной объективностью. Перед нами не предатель (предвидя свой выбор, генерал Дудаев загодя уволился из армии, чтобы вопрос о верности присяге не вставал). Перед нами индивид, отвечающий за свои индивидуальные решения. И это более соответствует кавказской специфике, где спокон веку объектом интереса был не столько солдат (генерал) сплоченного воинства, сколько вольный воин, абрек, ищущий успеха в непредсказуемом волчьем чреполорье.

А если находит, то *что* находит?

Что обнаруживает новоиспеченный вождь отделившейся независимой

Чечни? Что надо срочно заключать двусторонние соглашения с соседними северо-казкаскими республиками. Ибо в одиночку не выжить — при всей своей нефти. А в идеале — прихватить земли от Ставрополя, от Ростовской области, и столицу перенести в Краснодар...

И что же, мировая политическая система сможет стерпеть такие новации? Да уж скорей присобачит чеченского волка если не к Российской упряжке, то к Всеевропейской, а то и ко Всеамериканской. Свобода дорого стоит, тут не деньгами — жизнью надо расплачиваться.

Да и в самой новоиспеченной Чечне не вдруг с ней управишься.

Почему?

«Народ у нас неоднородный, огородился в тейповых ячейках. Его трудно объединить... Большинство хочет жить с Россией. Но это — пассивные люди. Они заняты своими делами — им не до политики! Только малое меньшинство мечтает о суверенном государстве Ичкерия. Но это меньшинство — молодые люди, более активные и более организованные. Они способны увлечь за собой пассивную часть вайнахов — у многих из них большой зуб на Москву. Ситуацию можно качнуть в любую сторону: сбить волну абреческой самостоятельности или раздуть огонь...»

Это рассуждение хочется откомментировать.

Оставим в стороне чеченцев, огородившихся в покойных тейповых ячейках. При старой власти этот покой звался обывательским и пребывал у интеллектуалов в презрении. Так вы хотите вырвать из этого презрения молодые силы и раздуть огонь, в них дремлющий? И это будет та революционная армия, ради которой нужен переворот к независимости?

Что же за армия возникает на этой волне абречества?

И что вы именуете в этой ситуации свободой?

Свобода предпринимательства? Свобода воровства, грабежа, именуемого бизнесом? Свобода независимости, в которой нет ни благоденствия, ни покоя?

И если бы только это... Куда страшнее ватаги юнцов, вырвавшихся из тейповых ячеек, а заодно и из школьных классов.

«Ко мне ворвались четыре старшеклассника, — рассказывает тридцатилетняя беженка из Грозного (не исключено, что учительница). — Они потребовали вступить с ними в половую связь. Я возмутилась. Они ударили меня пистолетом по голове и, пользуясь моей беспомощностью, вчетвером изнасиловали. Затем под угрозой убийства принудили меня совершить половой акт с моей собакой».

Вот так легендарные волки побратались с собаками.

«Выросло целое поколение, живущее отныне по закону: у кого больше патронов, тот и хозяин жизни».

Вы этого хотели, раскачивая Российскую Империю и добиваясь ее распада?

А участь русских в этой независимой Чечне?

«Русские пытались продать свои квартиры, но даже за бесценок их перестали покупать. На улицах повсюду появились надписи: "Не покупайте квартиры у Саши и Маши, они все равно будут ваши". А на выезде из Грозного начертан такой призыв: "Русские, не уезжайте — нам нужны рабы"».

Не оценив юмора, «русские в страхе побежали из Чечни — десятками, сотнями тысяч. А тех, кто остался, ждала страшная участь...»

Лучше всего об этой безысходности сказала в стихах Алла Дудаева:

Но доброта не побеждает;
Кровавым войнам нет конца.
Путь на Голгофу освещают
Мундиры в рясах без лица.
И неизвестно, чей приказ
— Убить! — звучит на этот раз.

Алла Дудаева — верная жена чеченского лидера. До встречи с ним (молодым советским офицером) в 1969 году — выпускница художественно-графического факультета Смоленского педагогического института. Алевтина Куликова. Художница. Поэт.

Если в окружении Дудаева был самый верный, самый неподкупный человек, то это его русская жена.

Та самая, которая отошла к недалекому оврагу, чтобы дать мужу возможность поговорить по телефону. Вспышка пламени и грохот взрыва вернули ее. Прибежав, она увидела горящие остатки разнесенной ракетой легковушки и распростертого Джохара с развороченным черепом.

Из всех действующих лиц этой трагедии наибольшее сочувствие вызывает у меня эта женщина.

А как же те тихие чеченцы, которые хоронились в тейповых ячейках, пока их не выбило на площади взрывом независимости? Может, было бы лучше оставаться народу в этой нетронутой тишине?

Нет! Не получилось бы! Потому что в этой тишине всегда дремлет энергия, ждущая выхода.

Удержать эту энергию — немыслимо. Она — в природе. Вырываясь, сметает все скрепы и запреты. В том числе имперские.

Храбрость и мужество чеченцев после таких взрывов входит в легенды.

Входит. Что дальше?

«Тяга к бесшабашному абречеству сильнее тяги к станку или плугу...»

Дальше, дальше!

«...Что с этим делать?»

В эпилоге повести — ответ на этот вопрос:

«Это было на заре чеченской свободы. Каждое утро к Президентскому дворцу в Грозном подходил стройный юноша. Он жадно вглядывался в лица тех, кто выходил из священного чертога. Он очень надеялся встретить своего кумира — первого чеченского президента Джохара Дудаева. Увы, знаменательная встреча не состоялась. Джохар Дудаев так никогда и не увидел своего преемника — будущего президента Чеченской Республики Рамзана Кадырова».

Войну, распад и разгул — попробовали?

Попробуем — мир, труд и сплочение?

Summary

Victoria LEBEDEVA. With No Trumpets and Drums

Giving this title to her novel the author is cunning a bit. The drums of the fate do drum and the trumpets do trumpet in the novel. And how could it be otherways if we follow the long — from the middle of the last century till nowadays — life story of a whole family. There is enough time and place in the novel both for trumpets and drums and for many other musical instruments.

Poetry

This issue presents some new poems by Marina KUDIMOVA, Vladimir PUCHKOV, Alexander KLIMOV-YUZIN and Olga SULCHINSKAJA. The poems vary in the styles, intonations and the authors' temperaments but all the authors are accord in the risky desire to be themselves.

Olga BREININGER. There Was No Adderol in the Soviet Union

A young woman born in Central Asia, German by nationality, with Russian as her native language, citizen of Germany, living in the USA is a perfect subject for the experiment. Which one? And why does she, being physically healthy and not being a sportswoman, regularly need a dope? You'll know it after having read the novel.

Alexander LISACHENKO. Some Cuba Last Spring

They say that the main thing in a travel is comfortable shoes. Nonsense! Not in Cuba. The main things here are unruffled calm and lightness of being. Of course the author's travel notes do not come to funny observations like this and the reader will know many quite serious things about today's Cuba but the intonation of the narrative will be light and ironical nevertheless — like Cubans themselves who seem never to lose their courage.

Vadim ZIZIN. "In the Cherished Disappearing Silence..."

Selected fragments of the correspondence between the author, paediatrist Vadim Zizin, and his friend, writer Dmitrij Shevarov, the content of which could be described as the story of a soul and the life of the country in letters.

Opening the new rubric. Literary Barometer

The author of this rubric Evgenij ABDULLAEV is a well-known poet, literary critic, prosaist (his pseudonym is Suhbat Aflatuni) living in Tashkent. The subject of his first talk: «A "negro" wanted. Ethnic cast of today's Russian prose».

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Журнал «Дружба народов»

можно выписывать с любого месяца во всех отделениях Почты России.

Подписной индекс в каталоге «ГАЗЕТЫ. ЖУРНАЛЫ» — **70250**

Подписной индекс в зеленом каталоге «ПРЕССА РОССИИ» — **91826**

Также можно оформить подписку *online* на сайте журнала

druzbanarodov.com

на его странице в Живом журнале

<http://druzba-narodov.livejournal.com/>

и в Журнальном зале

<http://magazines.russ.ru/druzhba/site/podp/>

Мобильная версия «ДН» для устройств на iOS доступна в App Store и на

<https://itunes.apple.com/ru/app/druzba-narodov/id893172883?mt=8>

Технический редактор Наталья Кузнецова

Верстка Елены Жирновой



ИЗДАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНО ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ПЕЧАТИ
И МАССОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ
И ФОНДА «РУССКИЙ МИР»